

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:

М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)

А. Г. Байбородин (Иркутск)

П. В. Басинский (Москва)

А. В. Кирилин (Барнаул)

В. М. Костин (Томск)

А. К. Лаптев (Иркутск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Р. В. Сенчин (Екатеринбург)

М. А. Тарковский (Красноярск)

А. Н. Тимофеев (Москва)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Михаил Косарев

начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова

редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова

редактор отдела художественной литературы

Михаил Хлебников

начальник отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова

редактор отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Карасёв

редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая

Верстка: О. Н. Вялкова

1/2023

Содержание

ПРОЗА

Янга АКУЛОВА. Преступная гардеробщица. Роман.	3
Ирина ВИНОГРАДОВА. Осень. Мужской род. Рассказ.	70
Ирина РОДИОНОВА. Рядомжитель. Рассказ.	78
Сергей КОРЯКИН. Говорящие отражения. Миниатюры.	88
Игорь КОРНИЕНКО. Юмба, или Разбуженные сны. Рассказ.	97

ПОЭЗИЯ

Екатерина ЯКОВЛЕВА. Лимонница в листопаде. Стихи.	65
Дарья КНЯЗЕВА, Анна КОВАЛЁВА, Павел ПОНОМАРЁВ, Павел СИДЕЛЬНИКОВ, Надежда ТРЕТЬЯКОВА, Сергей РЫБКИН, Антон ШАМРАЕВ, Василий НАЦЕНТОВ. На своем языке. Стихи.	117

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь ЛАДЫГИН, Юрий ГОНЧАРОВ. Зигзаги генеральской судьбы.	128
<i>Народные мемуары</i>	
Ирина ЛЕВИТ. Англия по-сибирски, или Воспоминания об Англии, когда там почти не было русских, тем более сибиряков.	133

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Валерий ИВАНЧЕНКО. В поисках увлекательности. <i>Записки читателя.</i>	161
---	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ. Школа штучности. <i>О книге Т. Самойо «Ролан Барт. Биография».</i>	180
---	-----

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Назар ШОХИН. Круги евразийской культуры Михаила Курзина.	185
--	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала “Сибирские огни”» М. Н. Щукин.

Янга АКУЛОВА

ПРЕСТУПНАЯ ГАРДЕРОБЩИЦА

Р о м а н

1.

Полосатая Зебра сказала:

— Выпить водки, что ли, — не вопросом даже. — Ага. Пьсят грамм. Прихватив и закуску, не спеша удалилась с добычей.

Мартышка — была ее очередь, — помявшись, перегнулась через прилавок к буфетчице и тихонько, чуть не в самое ухо, что-то проговорила.

— Шоколадку? — тоже негромко переспросила буфетчица.

— Ну да. Вон ту, фиолетовую, с орешками и изюмом, — с досадой повторила Мартышка, оглядываясь по сторонам.

— Шикуюешь?! До зарплаты-то еще и-го-го! — Голос у Зебры как у судьи.

Мартышка чуть дрогнула, но лакомства не выпустила.

— Я сыну. И потом... В долг, — бросила она буфетчице, обернувшись.

Но Зебру явно не устраивало сидеть тихо и мирно. Не сбавляя громкости, она переключилась уже на всех присутствующих:

— Вчера, представляете, сняла дома колготки. И что, думаете?

Никто и не думал ничего думать.

— Ну просто все ноги полосатые! Черно-белые в полоску, снизу доверху!

Тишина.

— Ну с какого, спрашиваю, такого дуба?.. За-по-ло-са-ти-ли мне ноженьки мои белые за здорово живешь! — сменив тон, запричитала Зебра былинной Ярославной, выставив в проход свои весьма стройные и действительно полосатые ножки. — Вот вам бы — как? Понравился бы такой... боди-арт?

Отклика так и не последовало.

«Однако... Разве им можно водку на работе, да еще в гриме?» Только что вошедшая посетительница ничего подобного и представить не могла. Не зря, прежде чем впервые отважиться заглянуть сюда, всякий

раз робела перед дверью — массивной и элегантной одновременно. Но диковинная дверная ручка, похожая на органную трубку, поблескивала прямо магнетически — и пальцы сами потянулись к ней.

То оказалась дверь в сияющий, открывающийся лишь избранным мир. Просторные стеклянные поверхности столов сверкали, как глыбы льда под солнцем; спинки стульев, вытянутые в высоту и изогнутые, тоже испускали сияние — полированной стали. Картины на стенах щедростью красок соревновались с буйной пестротой витрины.

А ароматы... Журчание негромкой музычки и то казалось вкусно пахнущим — и определенно недешевым.

«Мартышка что-то там говорила про долг... Ох, я ведь здесь всего ничего!»

Не женщина и не девушка — некое существо, облаченное во что-то линяло-синее, замороженно, как дитя к Деду Морозу, приближалось к сказочному прилавку.

— Слушаю вас.

«Носом в стекло!»

— Я... еще не выбрала...

Выбери-ка тут! По очереди попробовала глазами: сделанные детской песочной формочкой заливные с застывшими в них, как в янтаре, кубиками мясного ассорти, заверенными печатью лимона и росчерком петрушки, дивные овалы бисквитных рулетов с бежево-кремовой начинкой и шоколадной глазурью, целый цветник канапе с прозрачно-розовыми ломтиками рыбы, светло-желтыми кубиками сыра, зелеными огурчиками и черными маслинами.

Н-да, существа любят глазами. В недрах их пыльных карманов могут залегать — как сейчас, например, — целых десять рублей. Как сделать правильный выбор? Чай безо всего? Ну не блокада же, в самом деле! Если только пирожок — куда с ним? Так бы хотелось по-настоящему, не торопясь, посидеть за прозрачным столом на диковинном стуле с тонкой ажурной спинкой...

Буфетчица, сущий ангел, и не думала торопить.

— Мне, пожалуйста, пирожок с этим... с капустой... один... Кхм-кхм... А еще чаю... в долг. Можно?

«Будь что будет!»

— Почему же нельзя? Можно, конечно, — запросто, по-домашнему откликнулась просторная телом буфетчица, улыбаясь настоящей улыбкой, как своей родственнице. — Я запишу, в получку отдадите.

И — пирожок на тарелочку, чашку на блюдечко. И любезность улыбки через край.

Надя, или Евфимкина Надежда Владиславовна, как значилось на ее нагрудной визитке (без нее нельзя), так неожиданно для себя самой проникнув на эту территорию сплошного благополучия, почувствовала себя чудесным образом спасшейся от всего нескладного, неразрешимого, что осталось за уютными стенами.

И музыка журчала, и немногочисленные гости переговаривались негромко, даже Зебра присмирела, и никто не обращал на Надю ни малейшего внимания — сиди хоть до утра.

Хорошо бы! Только... Как ни ювелирны были надкусывания, замедленное поглощение пирожка подошло к концу. Значит, и пребыванию в этом славном убежище — конец.

— У вас тут так хорошо! И тепло... — вырвалось на прощанье.

Понимающая буфетчица разулыбалась вновь, без тени наигранности:

— Приходите еще!

Покинув лучезарный буфет, Надежда вернулась к себе, на свой капитанский мостик, для несения службы. Крошечный, не бог весть какой надежный мостик посреди огромного пустого пространства воздуха. Уже было пора. Скоро, скоро побегут сверху юнги, посыплются, как спелые горошины. «Маугли» — недлинный спектакль.

Ничего не попишешь: каким бы захватывающим ни было представление, стоит занавесу упасть — тут-то силе искусства и конец! Измена! Зрителей срывает с мест — не зря сиденья железно прикручивают к полу, — несет прочь, назад, в обычный мир. И чего они там забыли? А тормозит кто-нибудь из маленьких — тут же кто-нибудь большой, взрослый силой вытащит наружу. Неужели все из-за одежды, оставленной в гардеробе? Чтобы побыстрее, чтобы в очереди не стоять?

Этот неотвратимый кричащий поток накатывался, окружал с двух сторон и смыкал кольцо напротив выхода на улицу, у Надеждиного барьера.

И всякий раз подступало волнение! Ведь требовалась невероятная, поистине *сверх*расторопность, проворность челнока. Да и сила. Евфимкина Надежда Владиславовна не только не обладала ни тем ни другим, но как раз отличалась полным и непоправимым отсутствием и того и другого. Можно сказать, она была на редкость выдающейся по замедленности реакции, речи, движения. Не только бодрствовала не спеша, но и сну умудрялась предаваться неторопливо. А по силам ей были — с ее невеликим ростом и чахлыми ручками, смахивающими на лапки некрупной птицы, — ну альбом там с открытками, ну книжка или журнал...

А когда-то давно один мальчик, сам немного похожий на кого-то сказочного из-за своих льняных кудрявых волос, не захотел уходить из зала, когда закрылся занавес. Мальчику не понравился конец спектакля, и он решил его исправить. Он знал как.

Был он уже школьник и пришел в театр без папы и мамы. Билетерши не заметили, что он остался в зале.

Свет потух, но страшно не было. На сцене слышался шум — передвигали декорации, доносились грубые несказочные голоса. Когда и они стихли, мальчик встал со своего места в пятом ряду и направился к кулисе. С бьющимся сердцем он поднялся по деревянным ступенькам и отодвинул — какой же тяжелый! — бархатный занавес. Сделал шаг на сцену...

Чья-то рука тяжело легла ему на плечо.



Надежда все еще не переставала изумляться, обнаруживая себя стоящей у широкого то ли барьера, то ли прилавка в готовности номер один справиться со стихией. Раньше ведь и мечтать не смела приблизиться к этой невероятной бутафорщине — притворной снизу доверху! — из-за которой то и дело проливаются совсем не бутафорские слезы. Стать соучастником тонкого вдохновенного обмана под названием «театр».

Самый первый раз театр ошеломил ее еще в нежном детсадовском возрасте, когда она ходила туда с мамой. Позже, уже школьницами, они с подружкой во время антракта выскочили из зала в порыве отчаянного любопытства — что там у него внутри, у этого театра, кто там еще остался в домиках с янтарно-леденцовыми окошками и что он там делает? — и ринулись исследовать театральные просторы, желая познать их полностью, без остатка, чтобы впредь никаких белых пятен. Откуда оно все бралось там, в спектаклях? Как?

Что-то сидело в незрелых головах, толкало на авантюру, подсказывало: театр — не только сцена. Носились со свистом вверх-вниз по лестницам, по коридорам мимо прогуливающейся вразвалочку публики, опять по лестницам — и вот через одну дверь, сами не зная как, проникли в другой коридор, где уже никто не прогуливался. Только тишина и десятки других дверей, которые они со страхом — а еще больше с озорством — приоткрывали. Рюши, перья, мерцание блесков, гирлянды пуантов, гроздь пачек — настоящих балетных пачек, висящих пачками! И полумрак примерных, и их запах — запах тайны и волшебства...

Фея, обернутая газовым облаком, небрежно дымящая длинной-предлинной сигаретой в мундштуке, смотрит телевизор. Настоящий сказочный принц в черном бархатном камзоле и блузе с бантом — за журнальным столиком с телефонной трубкой в руке.

Увидев двух очумелых девочек, принц, так же не на шутку очумев, прижал трубку к бархатной груди и испуганно прошептал:

— Девочки, вам кого?

Кого-кого! Да им же никого, да им просто... Попятились и бросились бежать, не сговариваясь, отпихивая друг друга, будто кто-то гнался за ними. Скатились с лестницы, чуть не переломав ноги и повизгивая от восторга: ведь каким-то чудом занесло их в самое потайное место в театре, в запретное место — в закулисье! В конце лестницы чуть не сшибли с ног какого-то мальчишку. А он-то что здесь позабыл?..

Надежда пыталась отыскать ту заветную дверь позже — не тут-то было! Может, та и оставалась на месте. Только все портила табличка: «Посторонним вход воспрещен!» Возможно, ее повесили после набега двух восьмилетних девочек, а возможно, была она всегда, но они с подругой ее не заметили в тот раз из-за малого роста.

«И вот теперь я здесь, тоже в особенном месте — в том самом, с которого, страшно сказать... начинается театр».

Русскую неблагозвучную «вешалку» переделали в иностранный «гардероб», но суть-то осталась. И в том, куда в конце концов занесла Надежду судьба, даже не спросив, она, помимо удивления и некоторой неловкости, ощущала и другое: определенно, что-то начинается

и происходить это «что-то» будет — даже немного холодело внутри — без ее участия.

...Кто бы мог подумать, что такая чисто теоретическая и безобидная, в общем, вещь, как заседание театральных критиков, закончится вдруг, на Надину голову, самым что ни на есть практическим результатом. К тому, что она свой человек на таких посиделках, все давно привыкли. Никто уже не помнил, что никаким критиком она в жизни не была — только зрителем. Но зрителем, в том-то и дело, не простым, а выдающимся — с таким чутьем, что иному критику подзанять не грех. Где подлинник, а где подделка — тут ее было не провести.

Так с самого детства и не смогла отделаться от чар этой тайны: что же все-таки там, за янтарными окошками? По всему выходило, что за ними должно жить счастье. Пришлось смотреть самые разные постановки, чтобы убедиться, почувствовать это счастье — пусть на расстоянии, — непонятно как летающее с деревянных подмостков, *сделанное кем-то*, но так, что подчас его нельзя было отличить от самого настоящего.

При всей своей образцовой никчемности в житейских делах, Надежда перевоплощалась в настоящую ловкачку, а то и авантюристку, если надо было попасть на спектакль. Особенно когда отчаянно не хватало денег. «Перехват» спектакля на стадии сдачи или прогона — верх везения. А если и покупались билеты, то исключительно входные.

Бывало, после очередных посиделок в кругу профессионалов Надежда вдруг натыкалась в прессе на высказывания — такие, что ее прямо оторопь брала: «Ба! Да я это уже где-то слышала!» А в следующую минуту: «Ба! Да это ж я сама и говорила! В прошлый понедельник, на обсуждении...» Ну так и что? Ведь она не специалист. Что же плохого в том, что ее мнение совпадало с мнением специалистов?

На последнем-то заседании в гостиной Дома актера все истряслось. Увлечлись разговором «за искусство» со Светой Петровой, завлитом одного уважаемого театра, до того, что не заметили, как на улице стемнело и никого, кроме них, уже не осталось во всем здании. Со Светланой они были знакомы еще в школе и в те годы частенько вместе проворачивали операции по попаданию на премьеры. Но позднее их развело по разным вузам.

— Ты бы показала при случае что-нибудь из того, что пишешь. Никогда не видела, — попросила Светлана уже в раздевалке.

Просьба застала Надю врасплох. Ей и в голову не приходило писать что-то, кроме научных статей и отчетов по работе.

— А что я пишу? Ты о чем?

— Здрате, о чем! Рецензии свои, соображения — они, может, поценнее иногда, чем у этих наших замшелых профи. Которые, кстати, не стесняются тырить твои мысли, не комплексуют.

— Да ладно... Какие рецензии? Я же просто... как зритель...

— Странно. Что, в самом деле никогда не думала стать не просто зрителем? Да ты ведь театром пропитана насквозь!

Надя задумалась, засмушалась:

— Как тебе сказать... Для меня моя работа тоже значит много... Да вообще все! И не просто значит — я ее люблю. Любила... — И опустила глаза. — Сейчас просто такое настало... торричеллиева пустота вместо института. Преподавать думала, да голос слабоват...

— Надо же, а я считала, ты прирожденный театрал.

Света, видно, совсем не помнила, в какой институт поступала подруга.

— Ну да, если честно, бывает... — призналась Надя. — Закружит: вот бы слиться с театром совсем! Но потом, знаешь, думаю: это что же получается? Если я буду находиться в театре, служить ему с утра до вечера, то когда же я буду служить зрителем? Тут, видишь ли, одно из двух.

Озадаченная Светлана, помолчав, нехотя изрекла:

— Ну да, профессия — зритель?

И, застегивая свой уютный меховой жакетик, вдруг без перехода выстрелила собеседнице прямо в лоб вопросом:

— Кстати, а как у тебя сейчас с работой? — проявляя повышенный интерес к Надиной курточке: похожие носили лет сто назад, еще в их студенчестве.

Поглубже засунув руки в карманы — последние перчатки были потеряны еще осенью, — Надежда попыталась отделаться:

— Обещали в одном месте...

Но Светлане дай точные факты, цифры, как следователю. Добившись чистосердечного Надиного признания, что серьезные варианты отсутствуют, завлит нахмурилась, но тут же неожиданно расцвела:

— А знаешь что? А пойдём-ка к нам в театр!

Надя уставилась на подругу. Шутит?

— К вам? В теа-а-атр? Ну я же только что тебе...

— Платят, правда, немного... Но зато вовремя.

— Нет, послушай! Да у меня ведь и образование неподходящее, ты же знаешь... Ты меня слышишь? — недоумевала Надя.

Светлана слышала только себя и видела перед собой только свое — не Надю, а уже готового театрального деятеля. Даже ее светлые кудряшки возликовали и запрыгали — в таком восторге она была от себя и от своей затеи.

— В наше время гинекологи руководят угольными шахтами, не то что...

Надин протест против Светланиной угрозы поговорить с начальством скомкался да так и не прозвучал — из-за жутковатой мысли: «Господи, если в шахтах эти... то в женских консультациях тогда кто?!»

«Забудет. Не она первая», — успокоила себя Надежда, распрощавшись наконец с подругой-завлитом.

Не тут-то было! Трезвые убеждения не выдержали напора нахлынувших глупых надежд: «Неужели театр?» В лицо немилосердно хлестнула метель, ну и пусть! И вихрь закружил, уже не снежный... Внутренне обмирая, Надежда теперь не понимала, от чего она больше дрожит — от избытка чувств или от холода.

«Все же курточку надо бы поменять. Стыд какой! Безденежье — безодежье...»

Дома она, не раздеваясь, набросилась на старый книжный шкаф и откопала в самой его глубине груды старых конспектов. Посреди физик и алгебр затесалась еще одна общая тетрадь, сорок восемь листов, на вид обычная — с физиком Майклом Фарадеичем, как она его ласково именвала, на обложке.

«Тетрадь по умственному труду ученицы 21-го кл. средней школы №... Евфимкиной Надежды».

Полистав успевшие немного обветшать странички, Надя с удивлением поймала себя на том, что... зачиталась. Так много открылось нового! Кто это все писал?

Об одном из самых известных спектаклей всех времен и народов: «...Да и сам Антон Павлович в свое время очень бывал недоволен артистами, которые “не делают решительно ничего из того, что у меня написано”. Актеры либо свято чтят традицию, либо сговорились и, как и сто лет назад, продолжают изо всех сил делать не то. “Вышла у меня комедия, местами даже фарс... Вся пьеса веселая, легкомысленная...” Глас вопиющего в пустыне! Что? Ломать комедию?! Никто ничего и не думал ломать, ее просто опять, в сто пятьдесят первый раз, не заметили».

«Ох! Я, что ли, и впрямь критик?»

— Вот! Я вам привела замечательного человечка. Может, найдется что-нибудь?

Светлана сдержала слово — прямо на следующий же день, сияя от собственной предприимчивости. Надежда не то что собраться с мыслями, мало-мальски привести себя в порядок не успела. Ни наряда, ни прически (впрочем, слово «прическа» давно уже стало не более чем условностью: темно-пепельные волосы были не настолько коротки, чтобы называться стрижкой, и недостаточно длинны, чтобы носить их распущенными, — в результате невнятный пучочек). Только и сообразила, что тетрадку свою прихватить на всякий случай — вдруг пригодится.

«Ну и что так волноваться-то! Раз привела Света к администратору, то что? Что они могут предложить? Вакансию какого-нибудь агента по распространению билетов? Ну какой из меня агент!»

Каждая папка с делом, каждая скрепка и даже дырокол выглядели так, будто регулярно посещали дорогого косметолога. Главный администратор, украшенная изящно висящими серьгами, ухоженная, как выставочный экземпляр гончей, не на шутку прониклась Надиной проблемой. Красивое лицо стало еще красивее, когда в знак сопереживания расцвело улыбкой, голос сделался мягким, как шоколад, с благотворительным привкусом.

— Вот если бы двумя деньками раньше — только двумя! — у нас было местечко в администрации. А сейчас осталось только... в гардеробе, — взволнованно произнесла начальница из своего высокого кожаного кресла, подавшись корпусом навстречу двум посетительницам, вяло замершим по обе стороны стола.

«Тогда уж “в гардеробчике”, — “человечку” вдруг странно занемоглось, он безнадежно тонул в широкой и бездонной реке чужой доброты. — И при чем тут вообще гардеробчик-то этот?»

— Чисто случайно. Мы держали его для племянницы нашего главбуха, но она в последний момент... передумала, по семейным обстоятельствам. Можно приступить хоть завтра. С испытательным сроком.

Казалось, еще чуть-чуть — и главный администратор не справится с избытком сочувствия и любезности. И тихой гордости за себя: ведь сильный человек всегда может поддержать слабого, если захочет. От шоколада стало совсем липко, Надеждина реакция, и так обычно замедленная, беспомощно завязла в нем.

«Это она серьезно?!»

Надя бросила взгляд на спасительную дверь, мечтая о вежливом, но решительном отходе, но, не успев сделать и шага, услышала, как Светлана произносит слова благодарности главному администратору — торопливо, будто боясь, что та передумает, взволнованно и искренне.

— Поработаешь какое-то время... ну пока не подвернется что-нибудь еще. Платят и правда без задержек, — подытожила подруга, когда они уже были по другую сторону двери в нарядный кабинет.

Голос ее звучал торжественно, и вид был вполне довольный.

Надежде почему-то трудно стало переставлять ноги — как будто удивление поразило и их. Захотелось прилечь... Но там и присесть-то было некуда. Через окно в коридоре виднелся служебный вход в театр. «Каких-нибудь пять минут назад я вошла через него. Вошла какой ни есть, но собой. А выйду теперь... кем?»

Светлана, закутив с чувством выполненного долга, продолжала что-то горячо внушать и разъяснять:

— Расширение штатов... не стоим на месте... У нас в литчасти — может, уже через месяц. Да, вполне может быть!.. А чего мы тут стоим?

«Нет, как же это? Да не смогу я! Надо же знать как... Там ведь люди работают, которые, наверное, живого Станиславского видели... и Немировича с Данченко в придачу», — вместо того чтобы отвечать вслух, беззвучно беседовала сама с собой Надежда.

...На автобусной остановке пропустила свой автобус — все еще не распростившись с желанием броситься бегом назад, в кабинет главного администратора, как можно вежливее поблагодарить и извиниться, что напрасно побеспокоила.

«А Светлана? Ей-то я что скажу? Ведь она первая, кто действительно похлопотал. И с другой стороны, сколько еще ждать? Чего ждать? Новой лаборатории, которую открывают уже третий год? Все этот госзаказ! Непознанный лютый зверь, который никому не дается. А на переводе статей много ли заработаешь... До дому не успеваешь донести: килограмм-другой еды — вот и весь гонорар. А книжки... Ну на что же покупать нужные книги?!»

Поначалу не знала, как встать, что сделать с руками, с выражением лица. Шутка ли: впервые оказаться по ту сторону барьера! Все там, а она здесь. Одна — против всей армии зрителей! Еще только вчера сама зритель с головы до ног. А теперь маячь тут — будто в одежде, вывернутой наизнанку. Что-то надо было придумать для стойкости самостоятельно. Ни одного учебника по теории гардеробного дела ей не попадалось.

Вдруг возникло чувство: она на капитанском мостике и этот огромный корабль подвластен ее воле. Если она захочет... Но чего от него хотеть, она понятия не имела. Знала только, что в этом что-то есть новое для нее: стоять вот так прямо, чуть приподняв подбородок, наискосок простреленной сильным лучом солнца, вглядываясь вдаль, и плыть печально и гордо. Если получится — гордо. Несмотря ни на что.

Удивительно, до чего здание театра напоминало корабль — наверху даже окна-иллюминаторы. Это был стеклянный корабль. Или хрустальный.

*A crystal ship is being filled
A thousand girls, a thousand thrills...¹*

Весь из сияющих прозрачных панелей. Огромный, снизу доверху — сплошной кристалл, обрамленный снаружи окружающим миром. Миром невзрачных коробок для массового проживания, предельно статичных к тому же. Из-за этой-то статичности казалось, что прозрачный (или призрачный) красавец во всем своем великолепии давно и прочно сел на мель.

Лжегардеробщица поняла, что на нее одну ложится ответственность за спасение. Надо было подольше, понастырнее всматриваться во все, что вокруг капитанского мостика, — и картинка, послушная взгляду, менялась. На какую угодно — из собрания собственного Надеждиного подтайного кинотеатра. И тогда — синусоиды волн под днищем, брызги и соль на губах...

В союзниках еще были сады, целых два. Один — перед стеклянной стеной, на границе между внутренним и внешним миром, — с тропическими пальмами, гигантскими фикусами, олеандрами. Изнеженность и экзотичность растений еще усиливались на фоне белых безжизненных просторов по другую сторону гигантского сплошного окна. В этом вызове декабрьской стуже было что-то дерзкое, греющее и вселяющее надежду.

Второй сад размещался в пространстве под широкой лестницей, ведущей в зрительный зал. Он был еще более знойный, из-за того, может, что располагался за глухим толстым стеклом со специальной подсветкой. Искусственное солнце — то ли из-за какой-то неисправности, то ли согласно изощренному замыслу — испускало зеленоватое излучение. Зелень, освещенная зеленым, настораживала. Чрезмерная пышность, тяжесть была не совсем растительная даже, а скорее подводная, осьминожья какая-то — медлительная и хищная. И совершенно безмолвная. Отравленный сад глубоководной Спящей красавицы. Никакому принцу ни в жизнь туда не прорваться.

Изумруд стеклянной стены притягивал, Надя припадала к нему, замирая, забывая о времени. Будто не было непроницаемой преграды — и от влажно-терпкого дыхания джунглей перехватывало собственное. Раз как-то под мясистыми листьями монстеры вроде что-то шевельнулось...

¹ Тысячи девушек, тысячи трепетов и тревог
Заполняют хрустальный корабль...
The Doors. The Crystal Ship

Уф! Всего лишь проглянул ствол бурой лианы, выгнувшей спину. В этом пейзаже явно не хватало громадной ленивой анаконды или питона.

Кусок неподдельных тропиков, бронированный стеклом такой толщины, что завопи изнутри хоть сам Оззи Осборн — кто его услышит? Как же проходят внутрь? Где дверь? Ведь это растительное буйство нуждается в непрерывном уходе. И кто же этот мастер-садовник?

На первых порах недосуг было расспросить об этом. Хватало и других вопросов.

Новенькую неслучайно поставили посередине, в самой выпуклой точке кривой гардероба. Очень скоро стало ясно почему. Маститые гардеробщицы, не ведающие законов физики, отлично между тем знали, какво на этом бойком местечке. Людской поток, стекающий с двух широких лестниц с одной и с другой стороны зрительного зала, чуть не целиком прибывало именно сюда.

Чтобы скрыть волнение, Надежда бросалась навстречу каждому новому посетителю с радостной улыбкой и словами «Здравствуйте, добрый вечер!» раньше, чем он успевал открыть рот.

Улыбаться — это самое легкое из всего. Так все и горько, и забавно, и не совсем реально на новом месте. И неизбежно. Ведь нельзя же было подвести Свету и отвергнуть ее хлопоты от чистого сердца. А тетрадку Надежда забыла ей тогда показать, да Света и не спросила... С того памятного дня «поступления в театр» Надя больше не видела приятельницу. Ну какие у завлита могут быть дела в зрительском гардеробе?

Не работа, а отработка чужих чистосердечных хлопот. Будто так и надо — стоять за этим барьером-прилавком. И с тем, что она из-за него едва видна, ничего не поделаешь — не вставать же на табурет!

Редкое для такого места, как вешалка, радушие мини-гардеробщицы заставляло разоблачающихся врасплох, и даже если возникал затор, из него не вылетало ни искорки возмущения. Бывали одежды с такого плеча! И надо было достойно исполнить гардеробное танго, не размыкая тесного объятия с полупудовой дубленкой или тулупом — до самой последней точки, до повешения их на крюк. Не споткнуться, не рухнуть при этом вместе с ними на пол. Ох, как не хватало если не еще одной пары рук, то хотя бы силы и цепкости в имеющихся...

Раньше никаких претензий к собственным рукам у Надежды не было. Прежней ее работе они не вредили — наоборот, вполне помогали: листали книги, журналы; держали авторучку, чтобы строчить конспекты, статьи, заполнять формуляры в библиотеках, отвечать на письма научных оппонентов.

Со школьных лет Надя, с виду девочка как девочка, когда дело доходило до физики, химии, алгебры, становилась на голову выше сверстников. Ястребиный Глаз, брутальнейший из отряда учителей, возвращался в человеческое состояние только в одном случае — когда у доски отвечала Надя Евфимкина. Ни глумления, ни убийственного сверкания и впрямь точь-в-точь ястребиных очей. «А кто знает? Скажите! Я его спрошу!» — от каждого из этих восклицаний, предвещающих кару небесную, обмирали, теряя дар речи, и двоечники, и хорошисты, и даже отличники. Все,

кроме одной учащейся. Ястребиный Глаз даже не просил Евфимкину говорить погромче, хотя голос у нее был самый тихий в классе.

По всем другим предметам Наде успевать было совсем нетрудно и даже немножко неинтересно. Физика — другое. Почти спорт, азарт, состязание... С кем? А с кем и ради чего состязались суровые люди, задумчиво смотревшие со страниц учебников? Истории их жизней казались Наде интереснее всяких там приключений или детективов.

Вот Майкл Фарадей, к примеру. Сначала она просто влюбилась в его лицо в учебнике физики — благородное, одухотворенное и мужественное. Потом только узнала, что он даже не смог окончить школу из-за бедности. Но неизвестно, где была бы сегодняшняя наука без его открытий! Сам Эйнштейн так считал.

Эта увлеченность с самого начала порождала кое-какие неполадки в личной жизни. Мальчишки, которые были ни бум-бум по физике, для Нади вроде как оказывались лишены лиц. Или все на одно лицо, как игроки футбольной команды на общем групповом снимке. Хотя все же был случай, уже после школы. Затесался однажды в ее жизнь один не физик, не химик... Музыкант. На Надю обрушился новый мир — с новыми именами, названиями групп, композиций. Новый знакомый делился с ней текстами песен, дисками. Она же со всем жаром рассказывала ему о частицах, о полях — все самое лучшее, что о них знала. И один раз казалось, что он прямо заслушался, — такой у него был вид, слегка обалдевший. А потом он посадил ее в троллейбус... И больше не позвонил. Никогда.

Окончив сверхзаумный факультет, Надя плавно пошла дальше — в аспирантуру. И надо ли говорить, что из аспирантуры она вышла стопроцентным, без подделки, кандидатом физико-математических наук.

Это странное, почти стыдное слово — «диссертация», диссер, короче, — сделалось таким с того момента, когда все внезапно забурлило, задвигалось резко и неуклюже в общем житейском море. Течение понесло неуправляемо, как при ледоходе. Ученые с их бумажными диссертациями стали никому не нужны в этой ледовитой, ледоходной стране — до смешного.

Спасение было одно — уехать «за бугор». Надю тоже приглашали. Она тоже могла. Но... не смогла. Из-за родителей в том числе. Кроме нее, у них никого не было.

Бестолковое барахтанье затягивалось. Что там один исчезнувший институт, когда целая страна — самая большая в мире — получила по лицу, наотмашь! Многих нокаутировало так, что больше они и не встали.

Самое обидное, что всего-то чуть-чуть, каких-то месяцев не хватило, чтобы обставить зарубежных коллег-конкурентов в серии исследований. Да, собственно, уже и обставили, надо было только оформить все бумаги как положено. Завлаб — молодец: не мешкая перемахнул к тем самым конкурентам. Позднее переманил еще нескольких сотрудников. Уехали все лучшие.

Ну вот и Надежда — тоже перемахнула. Это ж надо! Через Большой Барьерный риф! Этот широкий, покрытый прохладным пластиком, непонятный и чуждый барьер... Лишний раз не хотелось к нему и прикасаться. Только со временем открылось Наде почему. Дело было в нежелании



мириться с реальностью этой границы, отделяющей не только от других, но, что намного страшнее, отрезающей напрочь от прежней жизни, от нее самой прежней. Надолго? Навсегда?!

На дневных, детских, спектаклях по выходным все было еще более пестро, суетливо, чем на вечерних. Напротив Надиного рабочего места повисало подвижное разноцветное облако: продавали воздушные шары, наполненные легким газом. Они потом плыли в воздухе, таща за собой на веревочках детей. Если ребенок ненароком выпускал веревочку, шарик отправлялся в самостоятельный полет, и, как правило, безвозвратно — в потолочную высь. Надо ли говорить, как эти невозвращенцы огорчали неосторожных покупателей!

Из-за шариков-то и произошел первый прокол на новой работе. Выговор — за то, что Надежда покинула свой пост на целых пять минут, чтобы достать ребенку зацепившийся за фикус шар.

За наставничество Надежды взялась Анна Федоренко, казалось, родившаяся в этом гардеробе. Все у нее было обустроено здесь по-домашнему, с претензией на комфорт. В подсобной тумбочке хранились чашка без ручки, небольшая миска, ложка, нож, детка-кипяtilьник, заварной чайничек и даже салфетка с вышитыми гладью васильками, чтобы этот чайничек накрывать. Ну чего ради?! Еще и васильки! Если холодало, тут же выныривали на свет теплый свитер и толстые носки вдобавок к уютным домашним тапкам. Не тумбочка, а цилиндр иллюзиониста: если надо — являлись небольшая подушка и одеяло, мыло и зубная паста, плоскогубцы и все для рукоделия. Еще бы аквариум с рыбками...

Но все-таки нет, не родилась Анна в окружении чужих пальто — до наступления гардеробного периода работала на заводе-гиганте, которому в новых условиях хватило года, чтобы успешно загнуться. Смирная милостивая женщина, совсем не старая, кстати. Гладкие светлые волосы и северные серо-голубые глаза — не Анна Федоренко, а Лив Ульман, если дать выспаться и причесать как следует. И фигура еще вполне, вот только узловатые вены даже под плотными чулками заметны. Должно быть, не знает, что работа на ногах ей вредна.

Дома у Анны-Лив обитает призрак, не столько страшный, сколько неотвязный и надоевший, — законный, но очень бывший супруг. По причине «некуда деваться» да из-за беспримерных лени, инерции и раздолбайства продолжает как ни в чем не бывало проживать под одной крышей с бывшей супругой, сутки напролет проводя в области продавленного топчана. Счастье, если тихо. Если нарушает — большой, восемнадцатилетний сын встает с другого топчана и объясняет родителю, что к чему.

Аня работает еще в одном месте: в больнице нянечкой, или попросту уборщицей. Удобно — прямо через дорогу от театра. Она и Надю сманивала туда на полставки.

— Думаешь, на много тебе хватит гардеробных-то? А там еще «молочные» дают — положено, — говорила, подливая в чай молока из полулитровой баночки.

И сманила-таки, совсем скоро. А что, действительно удобно — через дорогу. И «молочные»...



Не такая уж страшная работа — помыть коридор, иногда посуду в столовой. Результат труда опять же вот он: было грязное, стало чистое. Не то что в науке — жди десятилетиями. Да и лучше, чем в гардеробе. Не требуется ключики ни к кому подбирать, даже общаться ни с кем не надо. Сделал свое дело — никакой грязи — и никому ничего больше не должен.

О богатстве Театра для детей и молодежи ходили легенды. Гибкая его дирекция была вхожа в нужные кабинеты, а кроме того, водила шашни с заграницей — и, получается, помогало. Другим городским театрам такое и не снилось. Роскошные декорации, как в старину, костюмы, выплата жалования, наконец. Понятно, что бонанза² питала далеко не всех и далеко не в равных пропорциях.

— У них тут свое ККЗ — Королевство кривых зеркал, со своими придворными и рабами, — шепотом комментирует Анна.

— Да ладно, рабами... — подсмеивается Надежда. — Скажи лучше, а кто за садами ухаживает?

— Как кто? Садовник. На ставке.

— Что-то я его ни разу не видела.

Администрация не жалела сил, стараясь, чтобы работа не тяготила подчиненных однообразием. Стоило только потоку сдающих одежду иссякнуть, как тут же гардеробному персоналу являлась главный администратор с несмываемой улыбкой и, будто одаривая ценными призами, оставляла на барьере возле Ани и Нади по довольно высокой горке.

Ветеран Анна все знала про эти горки. Это билеты, на которых надо было четко написать места и проштамповать дату пружинной гильотиной, такой тугой, что всем туловищем приходилось налегать. Готовую стопку сдать и получить следующую. После некоторой тренировки Надежда научилась делать эту работу механически, во сне. Но как-то Аня обмолвилась, что за билеты получает доплату... административный отдел.

— И ты знала?!

Она знала еще и не то. Например, о существовании в гардеробе ставки-фантома, пятой по счету. На ней числились еще две гардеробщицы-подружки — по совместительству, сверх своих законных ставок. Девушками их назвать язык не поворачивался — так, молодые особы. Несмотря на то, что одна из них была пергидрольно-белая, а другая — иссиня-черная, что-то роднило их, как сестер. Судя по густо подведенным линиям их губ, бровей и век, они были не в курсе древней теории Гераклита о том, что скрытая гармония лучше явной, а мера — важнейшая категория эстетики. И еще в одном их лица были чрезвычайно похожи: челюсти у них находились в бесконечном движении, таком энергичном, будто соревновались на скорость. Но победить ни одной из подруг было не суждено — резинка у них была какого-то особого сорта, марки «Перпетуум».

Двойняшки дружно исчезали из гардероба после звонков, небрежно бросив Наде или Ане:

— Посмотрите?

² Бонанза (от исп. *bonanza* — процветание) — здесь: богатство, золотая жила.

Позволительно им было и опаздывать на смену, и смываться раньше — чтобы успеть на электричку.

— Так они доплату свою главному отдают, — шепотом пояснила Анна.

То еще ККЗ!

— Да, в общем, нам-то до них... Ихние дела — не наши. Платят пока вовремя...

А вскоре работниц гардероба и вовсе бросили на участок, весьма далекий от их родного, — в сердце корабля, на его главную дощатую палубу — сцену. Пора, мол, уже во всей полноте ощутить себя истинными ее служителями. Им было доверено отдраить священные доски до блеска — к ответственному вечеру в честь особо важных персон.

...Что-то случилось с Надеждой в разгар акции. Внезапная слабость. Нет, она, конечно, не против служения сцене... Но такая вдруг невыносимая тяжесть навалилась, не сбросить ее, да еще какофония взбесившегося оркестра... Словно тяжеленный занавес рухнул, плотно накрыв Надю собой. «На сцене... Надо же!»

Оркестр стих.

— *О! Дите! А ты что тут позабыл? Тут нельзя, давай-ка бежи к маме.*

Мужчина в комбинезоне легонько подтолкнул ребенка назад, в зал.

— *Мама в командировке. А мне надо к... удаву Каа!*

— *Какой удав? Говорят тебе, техника безопасности...*

Щас на гардеробе пальтишко твое запрячут — и останешься тут ночевать.

Мальчик спустился в зал, но, выйдя из него, не побежал в раздевалку. Побрел по опустевшему уже коридору, сам не зная куда.

В конце коридора была лестница. Только он к ней подошел, его чуть не сбили с ног катящиеся сверху девчонки. От кого они убежали? От удава?!

Он не испугался и пошел дальше. И на самом верху лестницы увидел сияние, а внутри него — фею с волшебной палочкой в руке. Она стала спускаться ему навстречу, длинный шлейф полупрозрачного платья скользил по ступенькам лесным ручьем.

— *Ну вот, еще один! У вас что — экскурсия сегодня? А где учитель?*

Фея поднесла волшебную палочку к губам и выдохнула облако дыма поверх головы мальчика.

— *Нет, я сам. Мне надо удава... Каа...*

— *Удава тебе? — Фея разулыбалась накрашенными губами, отставив палочку подальше от своей полупрозрачной юбки...*

...Чей-то голос пробивался сквозь толщу плотного бархата:

— Ты чего? Думаю, во как старается Надюха! На коленках аж драит. Глядь, а ты лежишь, не шевелишься даже... Ты чего, уснула, что ль, опять?

Тяжесть понемногу отступила. Появилось Анино лицо — брови подняты вопросительно.

«На сцене... Вот бы весело получилось: на сцене оборвалась жизнь начинающей гардеробщицы...»

Надежда шевельнула губами, думая, что улыбается:

— Да просто... Выскочила сегодня... Без чая даже.

Валяться посреди сцены становилось неприлично, да и холодно до озноба. Над Надей склонилось еще два лица, незнакомых: принца и девушки. Натуральный принц, хоть и без бархатной блузы, а даже наоборот — в джинсах и сером свитере. А его девушка...

— Лежите спокойно. Я щас валокординчику...

Голос этот Надя где-то слышала.

«В буфете. Мартышка? Симпатичная какая без грима! Пепельные волосы до плеч, пронизательные глаза...»

Но Мартышка уже умчалась куда-то за кулисы.

Принцу не хотелось отставать по части заботы:

— Может, скорую?

Надежда, прикрыв глаза, предалась было невинному путешествию в страну фантазии. Вот она, в чем-то пенно-бело-кружевном до пят, почти неземная, околдована сном, разрушить который пришел, приехал, прискакал... ну и что, что в джинсах и кроссовках, все равно...

— Может, действительно скорую?..

Глаза открылись сами собой. Правда жизни была беспощадна: во круг уже образовалась небольшая кучка зрителей этой бездарной пьесы. Пришлось поспешно встать. Тут и Мартышка подроспела — с пластиковой стопкой воды и лекарством.

Послушно проглотив отраву, морщась от горечи, пострадавшая проворботала благодарность и потянулась за своим скребком...

— Да вы что! Вам жить надоело? Вить, давай помогай! Доведем до примерки, там хоть тепло, не то что здесь.

«Вот так Мартышка! И голос совсем другой. Прямо комдив Чапаев. Артисты!»

Спорить, однако, совсем не хотелось. При мысли о тепле — на сцене и правда сквозило, как на Северном полюсе, — Наде захотелось послать всю администрацию в самые отдаленные уголки мироздания.

— Если что, прикрою! — крикнула Анна вдогонку. — Только ты недолго.

Ее усадили в единственное кресло — из реквизита, должно быть, — очень похожее на электрическое, даже с очень убедительными ремешками на подлокотниках, но при этом на удивление удобное. Кресло приняло Надежду как родную. И сразу все прошло, никакой слабости: не до глупостей с этими ремешками. Волнение и... нет, не страх — любопытство. Второй раз в жизни за кулисами. Как в детстве. И что? Как будто ничего особенного. Театр относительно новый — оттого, наверно,

без признаков... призраков... Без каких-то наносов времени, без тяжелых драпировок, за которыми прячется невесть что. Ну зеркало, ну столтумба с ящичками, а вон там в углу на крючке — почему-то боксерские перчатки...

«Театр сей слишком юн для привидений...»

— Что вы сказали?

Мартышка, приподняв брови, с интересом смотрела на гостью. Вблизи ее лицо уже не казалось Наде таким молодым.

«Ох! Видела ведь ее портрет в вестибюле! Как же, как же ее имя?..»

— Да я... Знаете, в гримерных... Они ведь всегда закрыты для обыкновенных людей. А вы...

— Галина меня зовут. И Витя Моренов — мой муж. — Это было сказано с ноткой гордости. — А вас как зовут? Ах да! У вас же написано. Как придумают...

— Так вот я про... Мне всегда было интересно. Вот вы в своей гримерке... Что она для вас?

— А почему вы спрашиваете? — Мартышка распахнула и без того огромные серые глаза и снова стала моложе.

— Ну это ведь не просто комната. По-моему, для артиста она... как пещера Аладдина. Такое здесь поле. И если артист захочет, ему откроются сокровища...

Галина приоткрыла рот, как будто даже испуганно:

— Сокровища?! — и переглянулась с мужем. — Так. Слушай, Вить! Для начала, принеси нам всем по кофе, будь другом. Сгоняй в буфет — у нас кончился.

— Может, чего покрепче? — уточнил Виктор, сжав кулак так, что под шерстяным свитером обозначились убедительные бицепсы.

Да и вся его фигура, в добавление к мужественному лицу, была слепком — нет, не с принца. С кого-то из киношных супергероев — смесь Тарзана с Лимонадным Джо.

— Нет, что вы! Я на работе. Да и, знаете, уже все прошло...

Но Виктор все же ушел, а бывшая Мартышка, теперь Галина, оседлала стул, обняла его спинку и обратилась к гостье:

— А теперь скажите, Надежда Владиславовна, с какой это сосенки вы рухнули, что выбрали себе работенку в нашем милом театре? — Она скорчила приторную гримаску, копируя главного администратора.

Надя в свою очередь тоже удивилась:

— Ну как же... Подождите... Почему сразу — с сосенки?

— Потому что, судя по всему, человек вы... Ну, в общем, я еще тогда, в буфете, посмотрела на вас и удивилась. Не отсюда, думаю, персонаж. Судя по всему, мало вы знаете об этом театре.

— Что же такого мне надо о нем знать? Для моей работы, собственно, достаточно помнить, во сколько начинается и заканчивается спектакль. Ну, может, еще цифры до тысячи...

Галина глянула на собеседницу с легким недоверием и ничего не ответила. Появился Виктор с подносом, вполне убедительный в роли официанта. Пришел как раз вовремя — чтобы заполнить паузу тремя чашечками настоящего, судя по аромату, кофе.

— Правильно, конечно, — весело заявила Галина, протягивая чашечку Наде. — Каждому достаточно заниматься своим делом. Только вот непохоже, что ваша теперешняя работа — это ваше призвание и мечта всей вашей жизни.

Из чашки с кофе выплеснулась капля на рабочий халат. Уставившись на эту бурую каплю, не поднимая глаз, Надя сказала:

— Нет. Не призвание это, конечно. Вообще, работа по призванию — очень редкое...

«Редкая вещь и редчайшее потому счастье», — подумала она про себя, но не произнесла вслух.

Отвернулась к окну. И смутно увидела просторную комнату, заставленную столами с компьютерами, со стеллажами до потолка, с приборами, слегка запыленными... Научная лаборатория, она же дом родной добрый десяток лет, встречала таким неповторимым запахом сухих бумажных листов, хранящих бездну сведений — тайных сведений, известных лишь горстке людей, работающих в одной комнате. И он, запах этот, смешивался с ароматами озона и настоящего кофе. С растворимым открытия не получались ни в какую.

Добывать золото — золото идей и решений — вот зачем они ходили на работу. Где все это теперь? Предательски растворилось без осадка. Без борьбы, стыдливо и необратимо. Надежда искала, куда поставить чашку, чтобы достать салфетку и помешать потоку, хлынувшему из глаз с таким напором, будто давно собирался... Не успела.

Галина забрала чашку из ее рук, Виктор сдернул со спинки стула вафельное полотенце и сунул его ей, с укором глядя на жену.

— Ох! Да я не хотела... Видно же, что вы, Надя, здесь не от хорошей жизни. Что-то тут не то...

— Ну хватит тебе! — возмутился Виктор.

— Да нет. Это даже хорошо. Правильно, — сквозь слезы гундосила Надежда. — Правильно и честно. Я, наоборот, благодарна... Вы первый человек здесь, который хоть как-то... напомнил...

Кое-как высморкавшись, она твердо проговорила:

— Не стоит забывать, кто ты, даже если нечем платить за квартиру. Вот. А то платить придется по другим, гораздо большим счетам, как говорил Роберт Гук, — и слабо улыбнулась.

— Ну, девчонки, вы чего-то... Я бы еще с вами посидел, но надо бежать, — сказал Виктор, торопливо дохлебывая свой кофе. — А по утрам надо завтракать! А то видите, что делается...

И был таков.

— Занят безумно, — сказала Галя. — Это просто невозможно, сколько он работает, иногда и по ночам. Ну а вы-то! И зверье же наше начальство! С какой стати вас заставили скрестить сцену? Что — доплатят? Сейчас! Зачем вы соглашались?

— Сказали, надо. Ждут каких-то персон. Все пошли... Немножко параноидально, конечно. Да ладно. Здесь еще и не такое... Аня рассказывала, весной их газон вскапывать заставили...

— Нет, только представьте! А деньги *эти* получают! И все молчат!

— Ну ответ-то известен: не нравится — никто не держит.

Заметив на подоконнике семейку кактусов в кашпо, Надя вдруг вспомнила:

— Там у нас, в фойе, тоже заросли... Все думаю, что за человек ухаживает за всем этим? Поговорить бы с ним. Кто он?

— Не знаю. Вроде на директорском этаже есть садовник. А здесь, внизу, уборщицы поливают.

— Сад без садовника, значит. Как и в «Вишневом саду». Кто угодно, только не садовник, — пробормотала Надя.

Хозяйка гримерки поймала взгляд гостя, он был прикован к боксерским перчаткам — великолепным, ярко-красным, из натуральной кожи.

— Витька чемпионом области был. Талант во всем, — пояснила Галина и вдруг стремительно поднялась с места и начала переодеваться в театральные костюмы. — Это он у нас прима. А я так, при нем.

— А вот тогда в буфете была еще Зебра, помните? И с какого... э-э-э... баобаба?..

Галя, не понимая, пожала плечами.

— В первоисточнике ведь нет, да и не может быть никакой зебры в помине!

— Как это?

— Действие где происходит? Маугли-то — индийский мальчик. В Индии. А зебры где живут?

— Зебры? В Африке, кажется... — неуверенно протянула Галя.

— То-то и оно! В саванне, ну или в степях, но никак не в джунглях.

Галина, перестав переодеваться, разразилась вдруг бурным, преувеличенно злорадным смехом:

— Ну ты даешь! Никому и в голову не пришло. Это что ж получается? Специально для нее накатали? Представь! Чтоб она могла в полосатых колготках покрасоваться?

Теперь Надя помалкивала, не понимая.

— Ну и Марго! Нет, такое только у нас может быть — зебра в джунглях! Крокодилы на Аляске! И все из-за...

Галину сразил новый приступ смеха, в котором, впрочем, слышалось больше горечи.

— Из-за чего? — спросила Надя.

Галя перестала смеяться и проронила уже без смеха:

— Из-за любви. К искусству.

— Ну, вообще, заметно, что Зебра ваша ведет себя как-то... не как все. И почему-то все молчат. Не хотят связываться?

— Так это у нее, у самой Зебры, и надо спросить, чего это она на себя так много берет, — вдруг отрезала Галина.

Надя тут же вспомнила, что ей пора, и торопливо поднялась.

— А в гримерках... Страшновато порой, как на войне. — Галина смотрела без тени улыбки. — Одно спасение, что мы здесь вдвоем — с Витькой. А так бы...

Уже в дверях Надя, сама себе удивляясь, осмелилась попросить:

— Галь! У меня, знаешь, руки слабоваты для этой работы. Иногда такие шубы... Мне бы потренироваться. Можно?.. — Она кивнула на боксерские перчатки.

— Ого! Вот это я понимаю! Они все равно просто так висят. — Галина быстро сдернула с крючка две пухлые, настоящие перчатки, записала их в небольшой рюкзак и протянула гостье. — Скажу Витьке, чтобы дал тебе урок. В этом заведении никому не лишнее.

Надя скользнула прощальным взглядом по этой необычной комнате. Ничего-то она не рассмотрела. Какие-то спортивные кубки, парики на безглазых болванках. Множество фотографий на стенах: Галя в сценах из разных спектаклей, Виктор на фоне символов европейских столиц. И вдруг взгляд споткнулся о фото — две девушки на пляже в обнимку, темленькая и светленькая. Галя и... как же ее?... Марго-Зебра!

— Ну да. Школьные подружки не разлей вода, — ответила Галина на вопрос в удивленных глазах гостьи. — Да. Вода... Ох и много же ее утекло с тех пор! И все мутной какой-то водицы... Теперь у нее другие подружки — директриса там и все больше из начальства...

— Мы ждем *только* вас! Поторопитесь, пожалуйста! Третий звонок. — Всякие серьги на слове «только» всякий раз вздрагивали с особой силой и, растревоженные, потом долго не могли остановиться.

Первый раз Наде даже понравилось. Вот ведь, сам главный администратор запросто нисходит в фойе к народу и лично оповещает от всей души. На третий день вкрались сомнения: «Под фанеру?» Невозможно ведь произносить — нет, пропевать дважды в день, каждое утро и каждый вечер, одну и ту же фразу, с одними и теми же интонациями, одинаково дребезжащим меццо-сопрано.

«Точно, из бывших актрис или певиц».

Тут мастерство без халтуры. И без осечки: ни разу воззвание не оставалось гласом вопиющего в пустыне. Опаздывающие — и взрослые, и дети, — слышав его, на бегу срывали одежду, как нетерпеливые влюбленные, и наперегонки мчались в зрительный зал.

Надино отсутствие замечено не было. А если бы и было? Права Мартышка — да и пусть! После ее прямых вопросов поневоле задумаешься: похоронил свою профессию — и все проблемы решены?

— С меня теперь начинается театр! — научилась с вызовом отвечать Надежда тем, кто спрашивал, чем она сейчас занимается.

Жуть как остроумно! Да и, получалось, больше самой себе говорила. Со старичком Станиславским, как выяснилось, далеко не все театралы были в ладах.

...Контрольный, ставший ритуальным звонок — примерно раз в месяц. Хотя очередной месяц еще не прошел, сил больше нет ждать. Глубокий вдох. Телефонный номер, который помнила даже во сне. Знала и ответ, тоже ставший ритуальным: пока без изменений, смету не подписали.

— Да вы просто... Вы, что ли, совсем ничего не понимаете?! Ну хоть бы маленькую какую-нибудь сметку, на маленькую лабораторийку! — впервые за много месяцев не выдержала она.

И бурный соленый поток, по обыкновению, не замедлил хлынуть из глаз.

Значит, надо продолжать делать ту работу, что есть, и выполнять ее хорошо. Благо рядом такой специалист, как Анна.

Надежда добросовестно впитывала инструкции. Номерки принимала, изо всех сил впиваясь в них глазами, переворачивая и одной, и другой стороной, чуть не пробуя на зуб: не поддельные ли?

— А ты как думала? Были случаи сразу в нескольких театрах — по поддельным номеркам утащили норковые шубы. Представляешь, сколько лет за них рассчитывать!

Дорогие вещи новенькая вешала подальше, поглубже, стараясь запоминать их владельцев в лицо. Без бдительности гардеробщица, как и разведчик, пропадет. Заметив среди сотен номерков один надтреснутый, положила его в карман халата, чтобы поменять.

Полна благоразумия, она готовилась к предстоящей смене. Как вдруг все ее благоразумие было опрокинуто вверх дном и потонуло в оглушительных криках и шуме, какими, должно быть, обычно сопровождается кораблекрушение.

Очаги чего-то бедственного возникли, кажется, сразу со всех сторон. Справа бежала главная, чуть не теряя свои серьги, слева — гладильщицы из костюмерной вперемешку с монтировщиками. Сначала слышались лишь неясные истеричные выкрики, потом явственно:

— Уйдет! Скорей! Да где же?! Хватайте! Вор!!!

Гардеробщицы, перестав развешивать номерки (по инструкции их вечером снимали и развешивали вновь перед каждой сменой), готовы были уже отправиться в коллективный обморок: раз «вор» — значит, конечно, из гардероба что-то сперли, а откуда же еще?

Но пылающая багряными пятнами главная, задыхаясь, успела только выкрикнуть на бегу:

— В кабинете директора был застигнут вор!

— Уф!.. В кабинете директора, слава тебе... — коллективно выдохнули гардеробщицы.

Однако расслабиться никому не пришлось: драматическим меццо-сопрано в гардеробе было объявлено чрезвычайное положение — на случай пробегания преступника. Надо было не пропустить момент вторжения и громко звать на помощь. Хотели выдать свистки, да не хватило на всех. Двойняшки, не желая отсиживаться в тылу, рвались на передовую — на второй этаж, в расположение администрации.

Анна, стреляный воробей, выглядела скорее удивленной, чем испуганной.

— Ну да, щас он тут побежит! Что он, совсем, что ли, — бежать туда, где больше всего народу? — здраво рассудила она, когда главная умчалась куда-то с гладильщицами и прочими активистами.

Надя, глядя на коллегу, тоже недоумевала, как это вора занесло в театр среди бела дня, да еще и в кабинет к директору? Но они честно выполняли свой долг — находились в дозоре на своих рабочих местах.

Надо было видеть, какое небывалое оживление охватило работников остальных специальностей, всех возрастных категорий и полов. Это было похоже на грандиозное развлекательное состязание. Каждому хотелось поймать опасного злодея. Ну или хоть кого-нибудь.



Ловили своими силами, так как рассудили, что, пока приедет милиция, вора и след простынет. Потом ее все равно, конечно, вызвали — чтобы сдать его тепленьким, пойманного. Да, его схватили и арестовали — все как положено. Подробности этого подвига наверняка передавались потом из уст в уста другим поколениям гардеробщиц.

Вор был то ли совсем уж нерадивый, то ли новичок. Оказывается, сама директриса лично и застукала его в своем кабинете! Говорили, он грубо отпихнул ее с дороги и бросился бежать. За ним гонялись по коридорам, пока бедолага не заперся в одной из комнат. Затравили его, как травят какого-нибудь косога, чтобы за ужином слопать под белым соусом. Наде, вопреки всеобщему воинственному настрою, было его чуть ли не жаль. Вообще, во всей этой истории ей чудилось что-то такое... то ли гротеск, то ли неувязка.

Но остальных не проведешь! Один безрассудно храбрый электрик возглавил группу захвата, в которую вошли две билетерши с большим стажем и одна гладильщица из самых активных. Задержание электрик проводил собственноручно, не дожидаясь милиции, — не иначе как с самой большой отверткой наперевес. Может, его даже наградили потом.

Надя только видела, как уже связанного вора волокли из здания театра к машине с синей мигалкой. И вроде по-настоящему волокли, к настоящей машине, но все равно — лживая какая-то сцена выходила, из-за своей неубедительности еще более отталкивающая. Уж не постановка ли вся эта история? Ведь театр... И за вора было страшно неловко — что он так позорно попался и покорился.

Вор был растерзанный и потный, как какой-нибудь молодой подпольщик, с бунтарскими комсомольскими вихрами, в выбившейся из брюк, почему-то белой рубашке — в одной рубашке зимой! — с багрово-красным лицом, низко опущенным... от стыда? И рост преступника, на самом деле нешуточный, как-то потерялся, когда милиционеры тащили его скрученного.

Вроде какой-то безработный оказался. На чье имущество вздумал покуситься! Уважаемого в городе человека, приближенного к сильным мира сего! Да и сунулся-то не туда: у директрисы, сказывали, то ли во Флориде домик, то ли на Кипре.

Умора, а не вор.

Чуть было не обворованную директрису Надя видела всего раз: когда оформлялась на работу, столкнулась с ней неожиданно в коридоре. Вся в шкурках мертвых зверьков с головы до пят, та смерила новенькую равнодушным взглядом, не ответив на «здрассте». Упала перед ней замертво, побелев или позеленев, с индейской стрелой в спине — перешагнет не глядя, лишь подобрав полы необъятного мехового мантио, и дальше пойдет.

Хороший организатор, говорят, и хозяйственник. Только вот с главрежами все чего-то не поделит, скольких уж поменяла.

Вот и с теперешним тоже. Надя слышала от Светланы, еще до поступления в театр, какие баталии происходили у режиссера с директором, когда та влезала в репетиции, в работу сценографа: «Что за облезлость! Сиротский приют. Все позолотить!» Это у Чехова-то, в погибающей

усадьбе! Забраковала костюмы. Выписала самолично художника из столицы. И главреж, как ни восставал, ничего не смог доказать.

На стороне директора весь цвет городской администрации и видные представители деловых кругов. Они ничего против позолоты не имеют. Эта «гармония», этот созвучный подход к искусству вознесли директрису на недостижимую ни для одного другого руководителя высоту. Она могла все и за любые средства. Другим не давали, ей — давали. Впрочем, она любила повторять, что умеет зарабатывать денежки сама. То бишь ее театр.

Анна уточнила: не так театр, как молодежная хореографическая студия при нем. Да, есть такая студия, многие знали — из газет или теленовостей. Слышали про ее успехи где-то за рубежом: кажется, в Таиланде или в Турции. На родной город, видно, не хватало времени.

Судя по одежке — гастрологи действительно проходили успешно. Своим довольно претенциозным гардеробом главная была обязана родной дочке — и красивой, и талантливой. Лет в тринадцать девочка стала солисткой того самого танцевального ансамбля при театре — настоящая звезда.

Один раз Наде даже посчастливилось случайно узреть эту звезду, заноса в кабинет начальницы проштампованные билеты. В высоком кожаном кресле расположился такой же ухоженный, как мать, экземпляр, только моложе раза в два. Сама мать, правда, в тот момент явно была не в себе и, что самое невероятное, не в голосе даже. Не она, а с ней разговаривали покровительственным тоном. А она лишь смотрела на тонкую стильную девушку робко и влюбленно:

— Ирочка, ласточка!

В Ирочке и правда было что-то от ласточки. Темная головка с гладко зачесанными волосами, изящные руки, талия... Тонкие нервные пальцы вертели что-то блестящее — большущий степлер.

После очередной реплики матери «ласточка» взвилась в воздух, отшвырнув тяжелую железяку так, что та, проехав по гладкому столу, угодила в зеркальную дверцу шкафа, чудом не разбив ее.

— С тобой вообще бес-по-лез-но!.. — Выпалив это, дочка обставила Надежду на линии отхода и успела выскочить из кабинета первой.

...Как на войне, сказала Мартышка, где ни дня, ни ночи, точнее, они сливаются в одно, в такое, что не дает думать о себе, о том, что от разноцветной мозаики жизни осталось. Рожки да ножки от нее остались. Как огорчалась маленькая Надя, когда в любимой детской игре терялись мелкие детальки, из которых складывались картинки! А тут — что там детальки, сам составитель не знал, где же он теперь: ни среди дня, ни среди ночи ни с каким радаром не обнаружить подлинник Надежды Евфимкиной. Где он? Неужели вот — за барьером, в халате когда-то синего цвета?

И столько уже растеряно... Еще до гибели лаборатории — видно, молодая ученая действительно была больше замужем за своей работой, чем за любимым мужчиной. И он не захотел конкурировать: не произнося монологов, постепенно перестал появляться на территории их совместного проживания. Не смог смириться с тем, что порядок вещей там был одним

вопиющим беспорядком. Потом рассказывали, кто знал, что на новую кухню, где его теперь потчуют, страшно заходить без бахил, как в операционную, — такая чистота.

После был человек, тоже из их научной компании, отчаянный, признанный экспериментатор. Образец деятеля науки, до которого хотелось дотянуться. С ним у них было столько общего, и не только в науке, что все кому не лень спрашивали: «Вы брат и сестра?» Да только и он уехал тоже.

Одно обнищание накладывалось на другое. А подруги? Ну что подруги... У них у каждой свое: мужья, дети, житейские заботы...

Дневной отрезок суток — в театре, ночной — в больнице. Дом Надежды, то бишь подернутая завесой пыли однокомнатная, в прошлом жилая, клеть, существовал где-то сам по себе, почти не видя ее.

На утренних спектаклях особенно мучительно заключал в свои оковы сон — не скинешь. Анюта посвятила коллегу в тайнство сна буквально на ходу, так, чтобы ни один ястреб из администрации не просек. Пока идет спектакль, разрешается сидеть. Нацепи на нос очки — и спи себе.

Этот сон во время смены подло валил с ног. Раньше Надя никогда не отключалась на все сто. Скорее, сон был для нее переходом, погружением. Если повезет, в нем чудесно всплывала подсказка к решению, которое не давалось наяву. Теперь же хотелось отключиться так отключиться. Напрочь выпасть из действительности, в которой было так мало интересных задач...

Поначалу фокус с очками удавался. Пока не заложили двойняшки, приближенные к административной элите.

Наставница, как выяснилось, не всегда была на высоте по части приспособленности к жизни. Иногда настолько, что подопечная терялась.

Приходит как-то Анна на работу совсем больная, явно с температурой.

— Вчера днем вырвалась в кои-то веки домой на часок, кх-кх-кхе...

— Садись, я как раз собиралась чайку поставить. Ну и?..

— Что «ну и»? Нет там никого, вот тебе и «ну»...

«Домой? Она?.. Тьфу, мне по-прежнему кажется, что нет у нее никакого дома. Есть только этот кусок гардероба с чужими шубами да обшарпанная списанная тумбочка со старым барахлом».

— Так и что, что нет никого?

— Что-что... Так и не попала. Ключа-то у меня нет.

— Как это — нет?

— Да ведь всегда кто-то торчит дома, куда им ходить-то? Один потерял работу, другой еще не нашел. А тут — как сговорились. Ни раньше, ни позже. И холод, как нарочно!

— Забыла ты, что ли, ключ?

— Да нету у меня его, ключа этого, я ж говорю! Вообще! — Будто бы ключ — это «мерседес», которого у таких, как она, быть не может. — Когда мне его заказывать и на что? Ни времени, ни денег лишних...

Надежда забыла, что собиралась пойти включить чайник, и стояла, слегка прижав его к себе, слушая и силясь понять.

— Вот и просидела целый час перед подъездом на скамейке. Застыла вся — в снегурку.

Надя будто воочию увидела покрытую инеем скамейку с такой же заиндевелой, поблескивающей в холодном лунном свете Анной на ней.

«Господи! Думала, я тихая. А сколько же в ней этой тишины!» — чуть не вскрикнула она, желая, чтобы от этого крика встрепенулась и пришла в себя ледяная фигурка.

Надежда не поняла, как ее рука вдруг взмахнула тем, что в ней было, и с размаху бросила этот дурацкий железный чайник на каменный пол гардероба. Пригнулась, зажав уши, как от взрыва снаряда.

— Ты чего? — еле слышно спросила Анна.

— Извини... Вырвалось. То есть... выскользнуло.

Нет, не очнется. В голосе наставницы и сейчас не было ни раздражения, ни потрясения. Прозрачные голубые глаза излучали обычное ровное сияние.

Как же ненаблюдательны мы в массе своей! Город наш, оказывается, и правда портовый и стоит на берегу моря. А иначе откуда же такое?..

Детям, собравшимся в тот день в театр, вернули билеты. Подумаешь, кто-то поплакал! Дети ведь. А мельпоменовский корабль был отдан на откуп вполне взрослым дядям и тетям из таможни. Из самой что ни на есть местной таможни, преспокойно народившейся в типичном сердцевинном пункте, от которого до ближайшей границы тысяча верст, не меньше. Теперь таможне границы не нужны, она повсюду, и народу в ней трудится чуть ли не больше, чем в былые времена в разных НИИ. И вот она целиком откупила огромный театр — «чисто погулять».

Таможенники в одинаковых мундирах — синих с приторным, сладким голубеньким оттенком, напоминающим детсадовский, — абсолютная реальность. Видеть сотни взрослых дядек и теток в форме такого цвета было испытанием. С бодрым гомоном и режущим нюх престижным запахом дорогого парфюма они в тот вечер так густо засинили все фойе, заслонив даже зимние сады, что казалось, будто те взяли и засохли на корню от внезапной печали. За корабль становилось страшно: как бы он из-за этих нагруженных не по-детски пассажиров не дал крен и не зачерпнул бортом. Банкет — что шторм.

От пьяной гульбы качка становилась угрожающей.

Так вот для кого драили палубу-сцену! Да еще, навстречу событию, служащим гардероба выдали новенькие костюмчики, достойные банковских работников: строгие жакеты и прямые юбки благородного мышинового цвета. Аня так стала просто сногшибательна в своей родной нордической гамме. И как так получается? Две женщины одинаково одарены безупречными чертами лица, но одной восхищается мир, а у другой изо дня в день — вот этот угол с чужими пальто... Впрочем, много ли мы знаем о личной жизни Лив Ульман?

Надежда слегка утонула в своем пиджаке, но даже с подогнутыми рукавами он смотрелся если не «от кутюр», то «под кутюр».

Необычные, взрослые гвалт и суматоха действовали на нее хуже некуда, и в знак протеста она напрочь отключилась от происходящего, сидя за своим прилавком, нацепив очки. Очки были почти волшебными, сквозь

них не было видно никого и ничего, в том числе и нетрезвый синий мундир, застрявший напротив нее по другую сторону прилавка. Не видно было и нацеленную на нее видеокамеру. Преподнесенная Наде изрядно помятая, будто отнятая у кого-то силой, розочка также осталась незамеченной.

— Да что цветок! Вот... Берите! Мне не жалко!

Мундир попытался сунуть в Надины сонные руки видеокамеру. Но та, не зацепившись, соскользнула и с грохотом рухнула на пол. Надя, очнувшись, с ужасом уставилась на непонятно откуда взявшуюся вещь.

— Да не переживайте! У нас этих камер... Пойдемте к нам, потанцуем! Чего вы тут? Тут у вас дует, как на льдине...

Надя подняла с пола упавшую вещь и молча протянула мундиру.

— Ну я же на память...

Она не успела даже удивиться такой благорасположенности, как к доброму таможеннику с двух сторон подошли два других синих мундира и попытались забрать его с собой. Тот успел вцепиться обеими руками в барьер, так что от этого усилия рубаха выпросталась из штанов, и мямлил:

— Я приглашаю... На танец... девушку... Танцы — это разрешено, это всем...

Но двое шутя отцепили его от барьера, взяли под руки и, весело поругивая, унесли прочь.

Можно было еще подремать. Устраиваясь поудобнее, насколько возможно, в отжившем свой век кресле, Надя вдруг задела ногой что-то на полу. Сняв чудо-очки, поднесла это что-то к носу. Видеокассета. Вывалилась из камеры.

По окончании таможенной вакханалии видеооператор не появился. Кассету Надя засунула под прилавок: может, хозяин проветрится да придет за ней как-нибудь.

Когда высокие гости разъехались, был приказ всем гардеробщицам сдать новую форму. Ему почему-то не подчинились только две подружки-двойняшки.

2.

Каких радостей можно ждать от повседневности? Никто и не ждал. Впрочем, она не была такой уж вконец беспросветной. Театр уже несколько месяцев жил особенной жизнью в ожидании премьеры «Вишневого сада». Кроме большого зала, где шли детские спектакли, был еще и камерный, для взрослых. Он нравился Надежде гораздо больше — именно своей камерностью, какой-то внутренней глубиной, отсутствием всякой помпы.

Но если на детские пьесы зрители валили гурьбой — билеты там подешевле, спектакли повеселее, — то второй зал в смысле сборов был каким-то почти бесполезным довеском к первому. Как знать, быть может, как раз с этим новым спектаклем все изменится...

Надежда верила в этот зал. И ничего не могла с собой поделать — тоже ждала «Вишневый сад» с волнением, тихо отчаиваясь при мысли, что, пока состоит здесь на службе, у нее не получится не только побывать на премьере, но и вообще посмотреть хоть один спектакль.

В день прогона — посетителей было меньше обычного, значит, и работы поменьше — она не выдержала. Заручившись поддержкой Анны («Конечно! *Этим* так можно каждый день!»), покинула свой пост и примерно после пятого звонка — если бы такой был — вошла в темный уже зал...

Выдержала в муках недоумения и почему-то смущения, как будто в чем-то была и ее вина, минут десять. Ну как же можно?! Ну зачем?! Весь тонкий и сложный театральный механизм был запущен только ради того, чтобы несколько мужчин и женщин в окружении пышных декораций продемонстрировали пышные, до нелепости навороченные наряды? Взгляд утопал в шелковых воланах и рюшах, в них же насмерть вязли эмоции и мысли. Разве что одна, малоутешительная, посетила напоследок: «Какое счастье, что Антон Павлович не дожил!»

— Надька-то наша — театралка, оказывается! Чё ты сразу на классику? Поглядела бы «Конька-Горбунка» сперва, — пожеывая свое непережевываемое, похихикивая, встретили коллегу двойняшки.

Мы-ждем-только-вас чуточку истеричнее обычного подкатила к Надиному сектору и оставила на барьере рядом с ней, как бы между прочим, горку билетов.

Надя без особой поспешности поднялась во весь свой небольшой рост и произнесла без выражения:

— У меня с прошлого раза мозоль, — и протянула в доказательство свою тощенькую ладошку.

— Прямо белая кость, голубая кровь, — совсем не желеино процедили артистичные губы. — А это что? Что это у вас за книжечка?

Администраторша вцепилась в книгу, которую Надя по недосмотру не успела сунуть под прилавок. Там уже успела собраться целая библиотечка.

— Да это... одно произведение. Очень старое, вряд ли вам будет интересно.

Но начальница не захотела выпускать добычу из рук и, с некоторым недоверием смерив Надежду взглядом, спросила:

— Это ваша?

— Да. Если хотите, можете взять почитать, — сказала Надя и, неприкрыто веселясь, добавила: — Только потом верните!

Начальница широко распахнула глаза, а рот закрыла. Лишь серьги не выдержали и в возмущении качнулись. Сделав над собой усилие, она все же смогла пропеть, правда чуть тише обычного и заметно фальшивя:

— Стремление к самообразованию — это, конечно, похвально. Но зарплату вы получаете за другое. Зарплата — это плата, которую вы *работали* в ваше *рабочее* время. Пока вы работаете на нас, это *наше* время, и мы не позволим красть его для ваших личных нужд! А ваше личное время начинается за пределами этих стен...

В это время кипа книг в тайнике — от возмущения, должно быть, — пришла вдруг в произвольное движение и камнепадом обрушилась на пол. Надежда обмерла. И напрасно. Истинному артисту такие явления

нипочем. Никакой грохот не мог выбить администратора из образа. Она сейчас слышала только себя.

— ...и впредь постарайтесь не путать эти два времени!

Но книгу-то между тем взяла! А может, просто изъяла? Хорошо еще, не попался ей под руку УФН — «Успехи физических наук», премильный такой и претолстенский специальный журнальчик. Говорила ли Светлана что-нибудь администраторше про ее, Надеждино, прошлое? Вряд ли. Надину трудовую книжку та, скорее всего, не видела. И все же чуял опытный управленец в этой новенькой несоответствие занимаемой должности. Может, начальница не понимала ясно, в чем дело, но это лишь дополнительно ее бесило и побуждало применять самые рискованные способы руководства.

На прощание главная задумчиво провела по стойке наманикюренным пальчиком:

— Вот лучше бы протирали как следует! Это ведь наше лицо. Знаете, что... э-э-э... Станиславскэй говорил?

У Надежды даже коленки подогнулись, и она опять стала почти не видна из-за барьера.

— Что-о?! — только и смогла выдать она.

Вот именно — не «Станиславский», а «Станиславскэй», сложная модуляция одновременно из «о», «ы» и «э» в окончании. Откуда же Наде знать, что этот «эй» говорил про лицо?!

Так и не узнала. Главный администратор, исполнив соло, царственно, с видом удовлетворенного превосходства отплыла в свой кабинет.

«Вот ведь, за всю свою жизнь не была в отстающих, — печалилась Надя, — а тут что ни день, то пара. Что делать? Знаний физики явно недостаточно, чтобы справляться с гардеробными обязанностями. Не путать два времени — это же переворот! Эйнштейн не потянул, лопухнулся. Времени-то, оказывается, два — абсолютно разных по составу... Это уже не четыре, а целых пять измерений!»

А тут как раз Анна оказалась на границе между их участками и зашелестела своим фирменным паническим шепотом первой степени:

— Не видишь, она и так сегодня не в себе! Охота нарываться, да?

— А если она от рождения не в себе, так что теперь? — таким же шепотом парировала Надя.

Она присела было на барьер, так как ноги по-прежнему не слишком надежно ее держали. Однако тут же в страхе прыгнула с него — ведь лицо!

— У нее, кажется, с директрисой караул... Разругались, говорят, — с предельным драматизмом продолжала Аня.

— Неужели? Подали на развод? И все должны теперь ходить опустив голову долу, в неброских одеждах?

— Шути-шуты. Мало ты чего понимаешь. С актрисами этими ходишь... Чего ей от тебя надо? Что-то вызнать хочет?

— Ну ты насмешила! Да, наверно, вызнать хочет — что-нибудь про номерки. Про тайную личную жизнь пластмассовых театральных номерков и их стражей, стальных крючков.

Аня нахмурилась: без толку этой дурехе втолковывать простые вещи.

— Ну как ты не понимаешь? Я не хочу исчезнуть совсем, — пояснила Надежда.

— Как это? — не поняла товарка.

— Слышала про аннигиляцию? Что, не проходили в школе? При столкновении частицы с античастицей происходит аннигиляция, или исчезновение.

— Не знаю я про частицы. А у нас, чтобы выжить, надо просто не высовываться, и все, — не очень-то дружелюбно заключила Анна и направилась в свой угол.

Драма в отношениях администратора и директора странным образом развеселила Надежду, и она с легким сердцем отправилась в загул — второй по счету. Чтобы не обходить весь гардероб, она четко и не без грациозности выполнила успешную полюбиться «вертушку»: встав спиной к барьеру (лицу!), оперлась на руки, чуть подпрыгнула и перемахнула на другую сторону — на ту, где кончался гардероб и открывалась светлая дорога в любезное её кафе.

Двойняшки, замедлив процесс жевания, изумленно наблюдали этот цирковой номер. Небрежно оглянувшись, Надя бросила им через плечо:

— Посмотрите!

На секунду у тех отшибло жевательный рефлекс.

«Может, мы с ней даже подружимся. С главной. Вот прочитает мою книжку. Если прочитает. Будет что обсудить. И чего она ее съапала? Незаметный серенький томик из серии “Литературные памятники”. “Исэ моногатари”, лирические японские страдания десятого века. Не знаю, можно ли такое переварить без тренировки...» Надежде становилось все веселее.

В дверях столкнулась со Светланой и... О, с ней была здешняя прима — Надежда Гречанинова. Тезка. Как в насмешку. Внешне — полная противоположность Надежде Евфимкиной: высокая, классически величавая — что-то от греческой статуи в осанке и даже в чертах лица.

Света явно смешалась и от неловкости второпях стала громоздить первое, что приходило на ум:

— Вот только сегодня, представляешь... Как раз хотела разыскать тебя... Расширение штатов, как я и говорила, вот-вот... По связям с общественностью или... Ой, Надежда Петровна, это Надя — чудесный человек, очень талантливый! Пока с работой не так чтобы... временная пока... Ну ничего, вот будет расширение...

«Если бы хоть не этот халат, Светлане, может, было бы легче».

Чтобы не смущать подругу, Надежда поспешила попрощаться.

...И всегда-то она входит в свой любимый буфет вот так — в приподнято-изумленном состоянии. И еще — чувство *раскрепощения*, драгоценнее любого здешнего деликатеса.

Все было на месте: запахи, звуки, улыбка буфетчицы, как поощрительный приз, но никаких животных — спектакль сегодня не тот. Хотя... Голосок за спиной, мурлычуще-пренебрежительный, мог принадлежать только одному зверю — Зебре. Но, обернувшись, Надя обнаружила

один из многих тысяч где только ни обитающих слепков с Мэрилин: та же интенсивная, избитая цветовая гамма волос, губ, век, те же декольте и поза, соблазняющие без разбору всех и вся, независимо от молекулярного состава и удельного веса. Без глупого парика ей, натуральной блондинке, это сходство давалось очень легко. Надя знала эту актрису — Маргариту Янову — по нескольким спектаклям, в каждом из которых она была легкой, ненадрывной и запоминающейся.

Кто-то еще сидел с ней за столиком, разглядывать было неудобно.

Надежда, усевшись за свободный стол, целиком сосредоточилась на пирожном: дела идут в гору! А голосок за спиной сразу вроде как осекся.

И вдруг другой голос, мужской, — глуховатый, почти интимный и в то же время с нотой безапелляционности:

— Вы позволите?

Надежда не успела даже рта закрыть, нацеленного на пирожное. За ее столик, сильно качнув его, уже сел, не дожидаясь никакого позволения, внушительных размеров человек в толстом шерстяном свитере.

«Боже!» И свитер, и, главное, его носителя она тотчас же узнала — с ужасом. А с чем же еще! Так вот, значит... Вот чью премьеру она не удостоила своего благосклонного внимания! Как же она могла не поинтересоваться, кто режиссер! Настолько была поглощена своей новой карьерой...

Он за ее столом! Автор новой и уже нашумевшей постановки и почетный гость... Для «критических» посиделок было праздником, когда на них удавалось зазвать этот скатанный свитер с исландским узором. Ох!..

И рот пришлось закрыть.

— Я не сразу понял, что вы у нас работаете, — немного угрожающе поерывая на стуле, сообщил режиссер.

«А я так и тем более...» Только раз скользнув взглядом по его лицу, затаилась. И что они в нем находят, поклонницы его? Стопроцентный богемный типаж. Ей, богеме, недосуг брить лицо, укрощать лохматость, тем более наглаживать брюки и рубашки. Вот и ходят зимой и летом в свитерах...

— В зале было темно, и вы меня не заметили. Хотя и остановились как раз возле моего кресла. Я еще удивился: «А чего в халате-то? Последний писк?» Уставился, как дурак, и посему очень хорошо — да да, в подробностях — рассмотрел и ваше лицо, и всю, так сказать, игру чувств на нем. Получил удовольствие. — Он ехидно усмехнулся. — Как вы приложили ладонь к груди и чуть повели головой, самую малость, будто: «Ну зачем так?.. Ну что за!..» Кх-кхм... И, не задерживаясь, повернулись на сто восемьдесят и демонстративно пошли прочь.

Он вскинул на Надежду выжидательный взгляд. Та не в состоянии была поднять на него свой.

— Я даже не успел предложить вам место. Прямо совсем некрасиво получилось, не перфект...

Надежда замерла безнадежно, будто ее застукали за воровством или изменой какому-нибудь партизанскому подполью, настолько достоверно он изобразил разочарование — ее, Надеждино, разочарование его, погодинской, постановкой. Если начал он почти громоподобно, то «пошли прочь» в конце произнес совсем тихо, с полной безысходностью! Откуда



же ей было знать? Не только она сама, но, ей казалось, даже ее синий халат сделались красного цвета.

— Такое сдержанное и одновременно бьющее в глаза выражение досады — это прямо надо использовать где-нибудь, — терзая одноразовый стаканчик, с которым подсел за ее стол, продолжал режиссер. Обращался он, похоже, уже к самому себе. — Непременно использую! — Он допил то, что было в стакане.

Немного помолчав, вновь глянул на собеседницу, которая явно была «в ударе» по части включения в диалог.

— Ой, да вы меня простите, бога ради! Вы думаете, я что — задет, обижен? — Режиссер снова качнул стол. — Ну пусть даже так. Но штука-то в том, что вы абсолютно правы!

Нестарый, высокого роста мужчина с растрепанными светлыми волосами — крайняя их растрепанность казалась следствием или продолжением того, что клокотало у него внутри, — сидел ссутулившись и скрестив руки на груди. Рукава свитера были коротковаты, да и весь свитер явно маловат для его могучей фигуры. И всем своим весом режиссер навалился на стол, перестав ерзать и погрузившись в прямо-таки японское созерцание мягкого стаканчика. Хрупкая женщина, сидевшая напротив, тоже молчала, столь же по-японски сосредоточив взгляд на другом предмете — надкушенном пирожном. Влюбленные, между которыми пролегла тень непонимания.

— Нам просто не разрешают во время смены...

— Что-что?! Не слышу! — прогремел свитер, совсем как Ястребиный Глаз на двоечника.

— Я говорю, нам нельзя надолго покидать рабочее место... — еще тише и безысходнее пролепетала Надя, послав прощальное «прости» пирожному, которое еще можно было есть и есть.

— Кому это «нам»? Неграм на плантации, что ли? Бог ты мой, прямо местный театр абсурда, и только! Вы хоть себя слышите... Надежда Владиславовна? — прочитав бейдж на ее груди. — Что с вами такое? Очнитесь, наконец!

Надя, вздрогнув, оторвалась от пирожного, невольно глянув собеседнику прямо в глаза. И тут все поняла про себя. Все эти пирожные — это только жалкие, нелепые уловки. Чтобы не смотреть вот именно в эти глаза. Потому что еще тогда, на прошлых их заседаниях, она как-то встретилась с ними, с глазами этими самыми, и ее прошел электрический разряд — насквозь. Несмертельный, но для потери равновесия вполне достаточный. Наверно, зарядов в этих серо-стальных глазах таились неисчерпаемые запасы и прошивали они всех подряд направо и налево, и потому их хозяин не мог держать в памяти всех прошитых...

Она вспомнила об этом сейчас, не могла не вспомнить — потому что разряд поразил ее вновь. И о физической природе этого феномена, скорее всего, размышлять было бессмысленно.

— Я просто хочу вам сказать, — начал режиссер мягче, не опуская при этом стального прицела. — Когда вы ушли... Спасибо вам, кстати! Да, так вот, когда вы ушли, мне все вдруг стало ясно. В момент! Все встало на свои места! — Стаканчиком с размаху хрясь по столу! — Перед

этим была какая-то каша, месиво какое-то из недовольства, смутных подозрений, догадок. Но все как сговорились — и пресса, и все хором, вы же знаете: «Находка! Прорыв!» Куда только?.. Признаться-то не так просто, для начала — самому себе. Ну и потом, вы, конечно, не знаете, как тут вообще... В этом пекле рабочем — как в цеху: глохнешь в какой-то момент, перестаешь слышать. Остановиться — представить невозможно. Столько горбатиться, заводить других!.. Дурачить, в итоге. Н-да...

Он склонился как-то совсем близко лицом к Наде, и пахло любимым напитком Зебры. Вдруг с силой откинулся на спинку стула, не сокрушив тот лишь по причине его железности, расправил плечи, разулыбался широко, самодовольно и даже немного разнеженно, как на залитом солнцем пляже:

— А знаете что? Хотите — честно скажите: «А не пошел бы ваш “Сад” в такой-то зад!» Правда, ну туда ж ему дорога? А?! — и заржал, как какой-нибудь слетевший с катушек поручик из анекдотов, колотя кулаком по столу.

«Сад — не знаю, но столику точно конец!»

— А рифма-то, рифма! Не всякому поэту... Ну спорим, я пошлю его!.. На что?

Надя смотрела на веселого режиссера вопросительно-недоверчиво. И молчала — кабачком на грядке.

— Вы себя слышали? Нет? Я уж думал, я оглох — человеческой речи не слышу. Не хотите — не надо. И без вас пошлю. Сказал, не будет его — и все! — отрезал режиссер, перестав веселиться.

— Да нет... Да вам же все равно никто не позволит!

— А я и спрашивать ни у кого не стану. Я снимаю спектакль до тех пор, пока не переделаю! — повысив голос, заявил он, слегка даже подпрыгнув, и при этом наступил под столом Надежде на ногу, даже не заметив этого.

«Псих какой-то...» И ноги поглубже под стул.

— Нет, я не поняла! Что он там опять собрался переделывать? — капризный Зебрин голос и нетерпеливое постукивание копытцев.

Если она и не встряла раньше в эту беседу, то, видно, только от поразившего ее ступора: что же это за дискуссия у дамы в синем халате с главным режиссером? Очнулась — и вот усаживается третьей за столик на двоих.

— Тебя хочу переделать. В кроткое чеховское существо. — И в сильных мужских руках окончил наконец существование безобидный пластмассовый стаканчик.

— Да меня от них тошнит, если хочешь знать, от этих ваших... Раневских и от этого их скулежа беспонтового. Ну сколько можно? Человек писал комедии. В здравом уме и твердой памяти так и писал: «Комедия»! Реформаторов этих ваших любимых разносил, как пацанов, за то, что на афише ставили: «Драма». Так они еще и на сцене раздували черт-те что — ну такую, блин, драму из драм! Так с тех пор и морочат зрителю голову все кому не лень. Ну не надоело?

Режиссер вскочил, снова чуть не перевернув стол:

— Ну все знают, как ставить пьесы! Любая... зебра! Извините.

Сделал шаг к выходу, передумал, склонился опять к Надежде, решительно сгреб ее ручонку своими ручищами, поднес к губам... Потом схватил Зебрину...

— Да, кстати, спорим на... Эдинбург! — И был таков.

— Бредит, что ли? Чеховское существо, — злорадно хихикнула Зебра. — Столом двинул прямо по ноге, аспид натуральный! — Она задрала ногу и потеряла коленку. — Нет чтобы дамам выпить предложить...

— А знаете, ведь вы правы! — вдруг услышала свой голос Надя, не отрывая изумленного взора от своей будто только что появившейся на свет руки.

— Насчет выпить?

— Нет, насчет комедии. Чехов жене писал про «Вишневым сад»: «Наконец-то я напишу настоящую комедию — такую, чтобы черт ходил коромыслом!»

— Во! Вот это я понимаю! Коромыслом! — Зебра схватила смятый стаканчик и зачем-то хлопнула по нему кулаком. — И чего меня тогда не было? Я бы такое отчебучила... Они б вообще у меня позабыли, что такое драма, — навсегда. Нет, хоть кол на голове теши! Ну что, читать не умеют? «Ко-ме-ди-я» — русским языком.

Надежда, застигнутая неожиданным чувством солидарности, сразу вспомнила десятки моментов, которые и ей казались до невозможности затертыми и нелепыми в современных постановках хрестоматийной пьесы. У них обеих нашлась куча поправок для ее трансформации в законное состояние комедии. Какие-то сцены тут же оживали в их глазах, и они не могли удержаться от прямо-таки сумасшедшего хохота — такого, что из-за других столиков на них стали оглядываться. Как будто они пили вино, а не обсуждали прочтение пьесы. Вот это творческий союз! И с кем? С Зеброй!

Устав смеяться — давно так не смеялась, — Надя внезапно погрузилась в себя.

— Он очень хотел, чтобы весело вышло... Писал ведь совсем большой, это последняя его пьеса. Через боль, через кровь писал. Если б не обещание мхатовским да жене, наверно, и не дописал бы.

— Ты про Чехонте? Во кто чумовой мужик был! И к себе самому, главное, всю дорогу шутейно относился. Иначе не был бы Антоном Пальчем. И мы что, так и будем идти на поводу? «Любая зебра!» Да вот, зебра, а не овца! Ох и хочется ему устроить! Показать, кто кому режиссер. И что надо-то? Покрикивать да старый свитер со штанами жеваными таскать? Так я в ближайший секунд-хенд сгоняю, делов-то!

Вдохновение захватило их головокружительным серфингом, подняло на гребень волны и понесло дальше. Сцена за сценой они вновь стали проходить известную-преизвестную пьесу — по-своему.

— Все! Иду за коромыслом? — вконец распоясалась Зебра. — Я еще и Гречу подговорю. Она нормальная тетка, ей понравится. А ты? Ты, случайно, раньше нигде не играла? Чего смеешься? Лицо у тебя не-банальное...

Надя продолжала улыбаться.

«Как же, играла. В секретики, в мозаику, в “Вы поедете на бал?”».

— Небанальное — это как?

— Ну оно такое, знаешь, будто ты немножко дремлешь, но так эмоционально дремлешь, как будто ждешь, что вот-вот тебя разбудят и дадут... Ну что тебе там надо?

— Мне? Книжку одну... Название длинное.

— Ну вот, книжку с длинным названием. В общем, не маска твое лицо, точно! Только... что это за ремок на тебе, все смотрю... Совсем не к лицу — ни цвет, ни вообще. Я тебя вижу в чем-нибудь темно-красном, к твоим темным волосам и глазам пойдет. Не носи больше это! — Зебра скорчила гримаску, махнула пренебрежительно рукой. Затем расправила многострадальный стаканчик. — Пусто... А это что, пирожное, да? — И жалобно проскулила: — Давай хоть его доедим!

И они за милую душу умяли одну порцию «Вдохновения» на двоих.

— Да все он врет... Ничего он не переделает. Расхрабрился. Разве что через труп директрисы, — немного приуныла Зебра. — Да, еще местная легенда номер два — что мы с ней подружки. Давно уже — нет. И тут даже не бабские дела...

— Можешь не рассказывать, — поспешила упредить Надя.

Ни к чему ей столько информации для работы в гардеробе.

— Ай, да ты все равно узнаешь! Все знают. Привыкай. Из-за любимчика ее — местного нашего супермена, заслуженного Тарзана. Она ведь его и привела, и вывела. Примерку даже персональную вырешила. Это притом, что занят он — в каком-нибудь кружке и то люди больше играют. Да и актер-то он, между нами... Только мордаха да стать молодецкая — ими и берет. Но беда-то в том, что запретить ему смотреть на других она не может. Ну а он не только смотрит...

— Тарзан? — припоминая что-то, повторила Надя. — Но ведь он же... муж Гали!

— Да и с Галькой, кстати, мы из-за этого раздружились. Та тоже хороша... Ей тогда со всем театром, включая костюмерную, надо враждовать.

Самое время было вспомнить про существование часов. Но Зебру Марго было не остановить. Видно, накипело.

— Да это-то все чепуха по сравнению... Ну ладно, это в следующей серии. А хотя пусть все думают, что мы подружки с директором. Мне так даже лучше. Спокойнее. Но если меня когда-нибудь найдут очень неподвижной и сильно похолодевшей, то не самая последняя роль в этом будет ее, нашего Томика. Так и знай! Потому что когда-нибудь мне надоест молчать! — Марго с вызовом тряхнула головой.

Направляясь в свой рабочий угол, Надежда, несмотря на, казалось бы, устрашающую информацию, только посмеивалась про себя: «Ну ладно, образцовых семей сейчас и вне театра днем с огнем... Но Тарзаны, похолодевшие трупы, тайны, угрозы... Как придумают эти артистичные натуры! Только и знают, что твердить про чьи-то секреты. Театр с двойным дном?..»

Что делается! Страха не было — никакого! Надя чувствовала себя живой. Не тенью и не угнетенной прослойкой. Несла в себе улыбку.



Отчего? Там было кое-что поважнее Зебриных откровений. Сама не ожидала, что можно ожить от одного взгляда. Не простого, впрочем, а электрического. Да еще немислимое это припадание к руке... У него что, поляки в роду? Она вновь уставилась на свою руку, желая убедиться, что это действительно ее рука, рассматривая ее с самой глупой улыбкой.

Вот тебе и просто буфет! «Люди просто обедают — даже не обедают, а едят занюханную пироженку за двадцать пять рэ, — а в это время... Что, правда слагается их счастье?» Такой сверхзаряд свободы вынести из простого буфета! Надя вдруг отчетливо поняла, что больше не быть ей безмолвным синим халатом. Да еще эта пластмассовая этикетка на нем!

«Я не какая-нибудь ходячая спецодежда или замороженный бройлер!»

Застежка не хотела отстегиваться, Надя рванула ее вместе с кусочком ветхого халата и, чтобы не мусорить, положила в карман.

«Ох, не завидую я тому, кто сунется ко мне первым. Могу и нагрубить!»

Запала хватило, чтобы довольно шумно ворваться на территорию, забитую чужой одеждой. Распахнув дверь, Надя, однако, сделала всего один шаг... И окаменела. В ее, Надином, секторе происходило неладное: пергидрольная двойняшка, двумя руками обнимая блестящую норковую шубку, двигалась с ней куда-то. От звука распахнувшейся двери она застыла, но, обернувшись и увидев Надю, с места в карьер бросилась в атаку:

— Ну щас начнется! Что, уж и примерить нельзя? Будто ты не примеряла! Да мы с Веркой видели! — И челюстями энергично взад-вперед, взад-вперед — по вживленной навек резине.

Надя смотрела на девушку, с которой работала бок о бок, будто видела ее впервые. Наконец подошла, забрала у нее шубу и повесила на прежнее место. Молча.

«Разве мне ее перенаглет?»

В фундаментальных науках не было ни строчки о том, что надо делать, когда кулак хамства бьет под дых. Для содержания внутренних войск у Нади в душе попросту не было места рядом с красотами физики и математики, поисками ответов, которых еще никто не знал. В результате ее реакции на хамство были однообразны до идиотизма: слова и мысли улетучивались с космической скоростью прочь, на звезду Альдебаран, не позволяя родиться даже мало-мальски связной фразе. Немога часто осложнялась нарушением кинематики — в смысле, та пропадала вовсе.

Об этом случае Надя рассказала только Ане. Та в ужасе покачала головой:

— Я ж тебе про *этих* говорила! Но чтоб до такого!.. Она ж эту шубу могла утащить. И я, как назло, в туалет отлучилась... Что, теперь из-за *этих* и в туалет не сходить?

— И никогда в жизни я их не примеряла, эти шкуры. Все равно что быть соучастником массового убийства.

Человечество, можно сказать, всюю занято укладкой чемоданов на Марс, а сохранность одежды театралов, как и в эпоху мезозоя, обеспечивают

костяные номерки и присутствие живой приставки с материальной ответственностью — Надежды Евфимкиной, вот, извольте познакомиться.

«И чем только они заняты, мои бывшие коллеги: пустяковейшими протонами-нейтронами, которых никто и не видит. А у людей тут шубы под угрозой исчезновения — и не из каких-нибудь протонов, а из самого натурального ценного меха!»

...В сон навязчиво и неуклюже вторгались сначала электронные щупальца для считывания штрихкодов... с гардеробных номерков. Потом и вовсе нечто чудовищное: с лязгом вращающиеся огромные металлические барабаны со множеством стоек с крючками...

Очнувшись от кошмара, еще ощущая в голове лязг и вращение, Надя решила, что барабаны — это, пожалуй, лишнее. Какое-то время еще всерьез прикидывала: можно просто ячейки, как в физкультурной раздевалке, или детском саду, или бане. С электронным считывающим устройством... Открыв глаза, увидела в сером полумраке угрюмые ряды массивных вешалок.

Нет, не галлюцинация. Реальные вешалки — ведь проснулась она на своем рабочем месте. По совету Ани, чтобы лишней раз не мучиться и не ездить далеко, осталась ночевать в гардеробе на двух сдвинутых креслах. К шести утра надо было в больницу: та же Аня попросила отдать ей ночную санитарную смену. Если добираться из дома, это час с лишним, как с куста, а из театра — пять минут. Опять же экономия средств.

И кто только это придумал, что зрители обязаны сидеть отдельно от пальто? Не иначе, Константин Сергеич удружил, спасибо ему. Хорошенькое «начало» — на вешалке! Надо же было такое ляпнуть! Наверно, специально сочинил для таких, как она, — чтобы подбодрить. Поработал бы сам хоть с неделю...

Все! Пора уже всколыхнуть старый научный мир, вот тема для диссертации: «Особенности компьютеризации процесса сбора и хранения верхней одежды посетителей зрелищных заведений (в условиях повышенной ледовитости)».

Как же надо не любить себя, чтобы остаться здесь на ночь! Холод такой, будто корабль врезался в айсберг. «Титаник»? Свитер, джинсы, спецхалат не спасают. Уши отмерзают. Надя, с головой обернувшись Аниным не бог весть каким теплым одеялом — из какого поезда та его стянула? — приподнялась на своем неуютном ложе. Что-то еще в бок впилось... Связка ключей в кармане халата. Тьфу, забыла отдать этой Анне-недотепе... Жить без ключа от собственной квартиры, куда уж дальше! Может, какой и подошел бы: столько всяких разных — из коллекции, Надин муж когда-то собирал.

Не только бок, но и все тело ломило от лежания на псевдокровати. «Хуже, чем на самом последнем вокзале!» Досада и злость на себя враз перечеркнули весь сон.

«Неужели я здесь совсем одна?» С мучительным чувством брошенности Надя огляделась по сторонам. Огромное темное и пустое пространство за бортом... Таящее угрозу? Надежде ли не знать, что нет ничего



по-настоящему пустого на свете. Даже репутация вакуума как пустейшего из пустых давно изменилась: то, что в нем нет ничего такого, что можно потрогать, не мешает ему жить своей жизнью, успешно флуктуировать без участия всяких там материй. И кто знает, к каким последствиям может привести эта тайная жизнь пустоты?

В темном океане фойе светился лишь застекленный остров зимних джунглей — мертвенно-зеленым. Таким же жутковатым станет лицо, если подойти к стеклу. Холод пронзил с новой силой, но оторвать глаз от фосфоресцирующего островка Надя не могла. Что-то там поделывают сейчас анаконды и питоны? Спят или охотятся? Вот в таком же очаровании, наверное, одуревшие от усталости и жажды путники смотрят на видения в колеблющемся воздухе пустыни. Смотрят долго, напрягая глаза... прежде чем закрыть их и не открывать уже больше никогда.

Надя тряхнула головой: так нельзя! Припасть хоть к какому-то теплу, хоть к крану с горячей водой. Накануне она взяла напрокат у Анны чудо-тапочки — считай, ботиночки: сверху тряпочные, веселенькой расцветки в мелкий цветочек, с белой опушкой искусственного меха. Сейчас с трудом засунула в них ноги в толстенных вязаных носках и, прихватив зубную щетку, потопала в туалет.

Потолочные лампы замигали с оглушительным треском. Вспыхнул грубый режущий свет... А как же конспирация? Соучастница Анна даже согласилась на средней руки мошенничество: должна была расписаться за Надю на проходной при уходе.

«Скоро стану совсем как Аня. Служебной зубной щеткой уже обзавелась», — думала Надежда, приступая к раннему туалету во втором часу ночи. Открыв горячую воду, с наслаждением грела в ней посиневшие руки. Нехотя глянула в зеркало и ужаснулась: руки что — вся она была синеватого оттенка. «А ведь где-то здесь у них есть душ. Вот бы куда!»

Вернувшись в свою «спальню», взяла взаймы у Ани мыло и полотенце. Вечером наставница жутковатым шепотом умоляла Надю:

— Только не вздумай ночью шататься по театру!

Перестраховщица. Кого бояться? Здесь только и есть, что посиневший труженик раздевалки да мертвенно-зеленые джунгли.

«И потом, я же не пьяная, чтобы шататься. Буду ходить осторожно, даже бесшумно в таких тапках — как охотник в самых глубоких джунглях».

Где ж его искать, этот душ? Надя глянула в сторону коридора, ведущего в глубины здания, — он хоть и тускло, но был освещен. Не страшно. Установка: привидения — они из ничего, элементарные частицы под их балахонами и не ночевали. Значит, носителей энергии — ноль. Значит, ничегошеньки они сделать не могут. Да и что плохого, если какое-нибудь из них появится? Не все же в кино на них смотреть.

Запеленатая в байковое одеяло, Надя начала движение вглубь покинутого и матросами, и пассажирами корабля. Огромного, неподвижного, может и не хрустального уже, затерявшегося в глубинах ледяной ночи. И он весь сейчас в ее, Надиной, власти.

«Прекратить дрожание!»

В конце коридора дверь. Закрыта. «Повернуть назад? Ну нет!» В тихом раздумье Надя сунула руки в карманы. Правая рука ткнулась в целую связку самых разных ключей! Один, другой, третий — не то... Но Надя почему-то уже знала, что, даже если не найдется ни одного нужного, она все равно пройдет.

...Дверь открылась, когда, казалось, Надя перебирала связку по третьему кругу.

Лампы дневного освещения в этом коридоре — одно название. Лучше бы они светили с таким усердием, как гудели. Двери здесь все одинаковые, без опознавательных знаков, и все закрыты.

Последняя дверь вела на лестницу, еще более темную. Хорошо бы, когдаходишь, знать еще — а как ты отсюда выйдешь. Стрелки на полу чертить? Надя опять полезла в карман. Чертить, увы, нечем. Есть только ключи. Самые ржавые — чем не стрелки?

Надежда бесшумно водрузила экипированную тапочкой ногу на ступеньку... И что-то услышала — издалека, с другого этажа, что ли. Слабенький, пропадающий ритм, как сердцебиение умирающего... Ее же собственное сердце пустилось вскачь спугнутым кенгуру и загромыhalо так, что мешало вслушиваться. Музыка?... Или нет?

Надя сделала еще два шага вверх и, вытянув шею, прислушалась. Ничего...

Что?! Что это?! Затылок уловил нечто вроде дуновения, прохладного и... неживого. Чуть повернув голову, она хотела посмотреть — и не смогла, не успела. Там, сзади, где ничего не видно, нечто до ужаса неопознанное, лишенное плотности и массы, коснулось ее затылка.

Лестница запрыгала истеричным галопом. Услышав собственный вопль, Надя испугалась уже его и затихла. Проскакав пролет, почувствовала, что *это* осталось позади.

«Да оглянись же!»

Там, откуда она вознеслась, в воздухе, взбаламученном, видно, ее прыжками, нервно подрагивал воздушный шарик. Аляповато расписанный, глупый, как пробка, воздушный шарик — не иначе один из отряда невозвращенцев.

На другом этаже было вроде все то же: двери, двери... Зато освещение почти праздничное. Так это не простой этаж — резиденция руководящего состава. Зеркала, кожановелюровые кресла под сенью растений... Стоп! Что-то приоткрыто. Туалет — и только-то. Но какой! Пятизвездочный! Позолоченно-перламутровый. Такая красота — и не под замком. И в глубине — заветная дверка со значком душа!

Войдя, Надя повернула шаровидную ручку замка. И еще зачем-то закрыла щеколду. По инерции, должно быть. Как врач, проверила ладонью температуру труб — у них был жар — и немедленно принялась стаскивать с себя надоевший халат. Отвинтив на полную позолоченные вентили, вошла в поток...

Оно того стоило! Даже слово «душ» здесь было мелкогато — скорее массивный, плотный водяной столб, невероятно объемный. Так бы

до утра в нем и простоять, да только... Что за наваждение? Сквозь шум водных струй снова послышалась — теперь точно — музыка. Руки невольно потянулись к вентилям, убавляя шум водного потока. Отчетливо стала слышна та еще музыка — уголовно-лирическая, с «бымс-бымс». «Откуда такая-то?»

Надя торопливо обтерлась Аниным полотенцем. Пришлось вновь натягивать свои неуютные, не слишком и утепляющие шмотки. Музыка тем временем кончилась, или ее выключили. Или ее не было?

Голову пора просушить, да как следует. Палец на кнопке фена. И снова послышалось извне... Теперь не музыка. Шаги. Шажочки даже, осторожные, специально сделанные осторожными. У двери в душ остановились.

Отражение в стенном зеркале было с глазами в пол-лица, со спутанными мокрыми волосами, стоящими дыбом. «Да что такого-то! Ну и застукают. Подумаешь, преступление». Но вдруг на Надиных глазах шаровидная ручка двери пришла в движение. Повернулась вокруг оси и плавненько вернулась на место. Беззвучно. Шажочки — два-три — послышались опять и пропали.

Пригладив торчащие волосы полотенцем, Надежда повесила его себе на плечи, сунула одеяло под мышку, ухом припала к двери. Тишина. Отодвинула задвижку. Как за тонкостеклянную вещь, взялась за ручку, осторожно стала поворачивать... Потом сильнее... Ручка не поворачивалась. Ни в какую! «Закрыли! Замуrowали!!!» Немного побившись рыбой об лед светлого дерева, Надя затихла.

Опустилась на деревянную скамью. «Все это не просто так. Это цепь...» Ошибки новейшей истории навалились кучей-малой. Предельная мягкотелость — позволять обращаться с собой как с послушным цикорием начальнице, подружкам-двойняшкам. Давно надо было разработать методику противостояния сверхплотной массе наглости. По пунктам...

Нет. Там... там снова шаги... Совсем другие: быстрые, нервные и очень *высококаблучные*. Прут прямо на дверь в душевую: цок-цок — металлом по камню, кажется даже высекая искры. И не только шаги. Надежда вскочила со скамейки, прижав к себе одеяло, как щит. Голоса. По крайней мере два голоса, женские. В охране театра есть женщины?

— ...При посторонних! Врываешься среди ночи... С охранниками еще отдельный разговор... У меня «Житан»³, — сердитый голос, печатающий слова в такт цоканью каблучков.

— Да я просто уже не знаю, куда бежать, где искать... Не думала, что у тебя и по ночам не продохнуть от посетителей. И посетители-то все непростые! — не уступающий в сердитости и... знакомый голос.

Если бы не непривычные интонации, Надя, конечно, узнала бы его тотчас же. Главный администратор! И ни грамма шоколада. И ни капли желе. Вместе с табачным дымом через дверь просочилась вибрация вражды.

— Ох, прости, пожалуйста, не согласовала с тобой состав посетителей! Для которых, к слову, это норма, когда государственным делам отводится не только день, но и ночь. Особенно во время выборов.

³ *Gitanes* — марка дорогих французских сигарет.

— Думаешь, я совсем уж? Кому ты зубы заговариваешь! Знаю я эти «государственные дела»! Говори, где моя дочь!

— Я — что? Я заговариваю? Может, не стоит все-таки забываться? Что бы нас ни связывало...

— Да будь ты хоть министром! Да я за Ирочку любому...

«Так, вторая, выходит, — директриса».

Содержание невидуманной театральной радиопостановки захватило нечаянную слушательницу не на шутку. Этот новый, такой непохожий на начальственный, голос, полный отчаянной горечи и незаслуженной обиды...

— Ну чего ты еще от меня хочешь?.. Слушай, что за пар? Видишь? Там кто-то моется, что ли?

Цок-цок — и ка-а-ак рванут дверь! Но та не поддалась. Так еще и ручку попытались вырвать с потрохами, тряся изо всех сил.

— Здесь есть кто?! — И будто молотом в самую сердцевину двери ба-бах!

«Это у нее кулачки такие?» У Надежды временно отшибло привычку к вежливости, требующей отвечать на обращенный вопрос. Герасим с Муму, вместе взятые, не были немее притихшей ночной гардеробщицы.

— Что за бардак! Кому ни вздумается — закрывают, открывают! Слесаря надо прислать, чтобы замок заменил.

Хищное цоканье туда-сюда... Не каблуки, а ноги, отлитые из стали.

— Пар, говоришь? Это ты умеешь! Что угодно приплетешь, лишь бы уйти от разговора!

— Разговора хочется? Ради бога! Ирочка твоя — взрослый человек, а я не воспитатель старшей группы детсада. Ты же умная женщина, Зоенька! Ты что, в семнадцать лет дома сиднем сидела? Расскажи кому-нибудь...

— Речь, во-первых, не обо мне. А во-вторых, я все делала по собственной воле!

— Тебе не стыдно? Нет, про благодарность за все сделанное добро я вообще молчу. Но все же, ты что, меня первый день знаешь?

Возникла пауза, даже цоканье прекратилось.

— Забыла, как я вас с Ирочкой встречала из роддома? На такси пришлось занимать. Холод такой был... Она в двух одеялках шерстяных, один носик видно... — тихим таким голоском.

«Вот артистка! Вселенская мать Тереза. Так по-доброму, заботливо... Выпуская дым изо рта. Администраторша у нее, наверно, научилась заботливости».

Ну конечно — всхлипывания, сморкание...

— Я все равно тебе не верю. Я не узнаю свою дочь. Ты думаешь, это легко?

— У тебя нормальная и очень неглупая дочь. По крайней мере, нищета — это точно не ее идеал. Она многое стала понимать. Например, что при ее красоте и таланте ей совсем не помешает такая вещь, как хорошие связи, доброе отношение людей, которые...

— Которые в ночное время занимаются государственными делами?

В ответ — с силой выдохнутый дым, который тут же просочился сквозь щель в душевую.

Дверь легко качнулась. Стальные ноги вновь пустились в путь.

— А скажи-ка, что тебе так нелегко переносить? Что твоя дочь с малых лет солистка известного коллектива? Заграница, заработки... Да, способная девочка, но таких способных и даже способнее... Тебе ли не знать! К тому же теперь есть и помоложе, которые ничем не уступают.

— Да ты...

— Не надо меня перебивать! — И в голосе сталь, не только в шагах. — Или, может, невыносимо терпеть *твой* рост, *твою* карьеру?

— Ах ты!..

Другие шаги наперерез цоканью, злобная возня и мощный удар в дверь. Та содрогнулась, прогнувшись, будто в нее бросили с размаху тук с песком.

— Да я работала, как проклятая! Дрянь! Сколько я выручала тебя...

— Отцепись, ненормальная! Да что ты умеешь-то, кроме как штамповать билеты?

«Да и того-то не умеет...» Визгливые вопли повергли Надежду в уныние, в котором она опять присела на скамью, печально ожидая прилета пуха и перьев... Выдержит ли дверь?

Та еще немного посододрогалась и после сильного толчка успокоилась.

Слезливый от обиды, но странно твердый при этом голос раздавался теперь откуда-то со стороны:

— Знай, Тамара... Роман, если он узнает... Да что Роман! Я и без него... своими руками... Меня ничто не остановит!

Шаги отделились было от двери, но тут же притормозили.

— И не забывай, мне ведь кое-что известно. Побольше, чем другим... И про Тарзана, и про его дела...

— Да ну? Я так рада! Только на твоём месте я бы не очень афишировала такую осведомленность. — И, резко сменив перец на сахар: — Хватит о работе. Идем лучше посидим в ресторане. Приглашали хорошие люди.

Ответа не было.

— Зря. Ну, я побежала. А ты умойся, что ли... А то вылитый Пьеро, и гримировать не надо.

Шаги удалились, на ходу набирая сталь.

Покашливание, как перед распевкой, но вместо пения — всхлипывания.

— Побежала... Думает, убежит.

Шум воды. Шаги, сначала медленные, потом внезапно перешедшие на бег. Тишина...

Надежда хищно набросилась на дверную ручку. После услышанного почему-то окончательно расхотелось сидеть под замком. Из всех сил налегала на дверь плечом. Та не поддавалась. Выносливая, однако: со всех сторон достается, а ей хоть бы что!

Посидев бесцельно на скамье, снова взялась за ручку. Сама не зная зачем, надавила на ее сердцевину... Язычок замка мягко отъехал в сторону, и дверь отворилась — легко.

Коридор по-прежнему был хорошо освещен, что в одну, что в другую сторону. А в какую же идти? Да не идти, а бежать! Повернув голову направо, Надежда в ту же секунду засекала в конце коридора фигуру — мужчины, кажется. И фигура эта вела себя странно: с большой осторожностью сделав шаг, вдруг резко отшатнулась назад и прижалась к стене.

Значит, Наде в другую сторону. В конце тоже была лестница, с которой она кубарем и скатилась. Чуть отдышавшись, осмотрелась на местности. Местность была незнакомой. До такой степени, что ни в какой другой посещенной ранее точке земного пространства Надя ничего подобного не встречала.

Огромных размеров квадратное помещение с очень низким потолком — высокому человеку не пройти не пригнувшись. Да и ей самой пришлось это сделать, вступив в коридор из мрачных приземистых колонн. Не колонны, а широкие прямоугольные бетонные шкафы на странно близком расстоянии друг от друга. Тяжелые гирлянды кабелей разной толщины вдоль стен, как в метро. Редкие и тусклые светильники, декорированные решетками.

«Проскочила свой этаж? Подвал какой-то...»

Внутри прямоугольника, образованного колоннадой, громоздкие черные механизмы, крученые металлические канаты, шпильки для швейной машинки величиной с паровоз, колеса от него же. Еще глубже — что там светится? Стены дворца Снежной королевы? А где же домики с леденцово-янтарными окошками?

Мрачные скалы — и цветы высотой со скалы. И это все деткам?! Какие-то пни, коряги... Ступа — спасибо, без пассажирки. А это что еще за гора?

Обогнув нечто остrokонечное, заглянула с другой стороны: из горы, из-под тяжелого шлема, свирепо зыркнули два огненных ока, в диких зарослях бороды злобно кривился рот. Ох! У него же по сюжету вроде закрытые глаза должны быть? То есть у нее — у Мертвой головы.

Так вот оно что — это же сцена! Вернее, подсцена.

Тишина была как в подземелье...

Только что была тишина. Но стоило лишь Наде зафиксировать факт ее существования, как она тут же рухнула, как плохо прибитая вешалка. Нет, грохота не было: только очень тихое, очень осторожное покашливание. Где-то метрах в двух, не дальше.

Надежда просто остановилась, смотря и слушая. Без малейшего звука из-за следующей по ходу ее движения колонны, как тогда, в коридоре, осторожно шагнула фигура, да еще с успокаивающе поднятой рукой. Поблизости висел зарешеченный фонарь, и Надя рассмотрела не только фигуру, но и лицо. И она тотчас узнала его. Что за... Это же вор! Он! Не галлюцинация и не призрак. Вихры эти комсомольские, ни у какого призрака таких не сыщешь... Но его же поймали! Схватили у всех на глазах. Значит, это не вор?!

В следующее мгновение она бежала не чуя ног, временами забывая вовремя наклонить голову.

— Да подождите вы! Не бойтесь... Дайте сказать... Ой-й-ей!

«Йес! Не пригнулся, раззява!» Снова замелькали ступеньки, теперь навверх. «Подумать только! Рецидивист!» И он не хотел отставать — несся, да еще с позвякиванием. «Отмычки. А может, еще и мои ключи! Он шел за мной по следу!»

Взлетев непонятно на какой этаж, она ринулась вдоль по коридору. Почти пустое пространство: пыльные тумбы, металлические шкафы, никаких дверей, никаких углублений.

«Под самую крышу занесло?»

— Пожалуйста, подождите! — вслед.

«Вежливый! Что ему от меня надо?.. Труба какая здоровенная! Какая-нибудь вытяжка?» Надя, обогнув ее, исчезла из поля зрения преследователя. «А что толку, если через минуту он будет здесь!» По бокам у трубы были вырезаны оконца. «Я бы пролезла в такое». Решетки. Дернула одну — лохматая от пыли решетка легко открылась.

Надя заглянула внутрь — не видно ни зги. Что бы там ни было, в одеяле, может, и не больно будет.

Просунув ноги в оконце, Надя, не веря в такую удачу, почувствовала, что они во что-то уперлись — по-видимому, тоже в решетку. Протиснувшись не без труда, но не расставаясь с одеялом и собрав на него не меньше пуда густой пыли, она присела на корточки и затаилась, зажав нос, чтобы не расчихаться. Уже слыша топот ног, с ужасом поняла, что оставила лаз открытым. Взметнулась молнией и рванула на себя решетку.

Преследователь сначала промчался мимо, затем притормозил, в несколько прыжков вернулся, нерешительно потоптался вокруг трубы. Надя увидела в окошке силуэт, руки на решетке, клочки оседающей пыли, услышала короткое ругательство...

Тоненькое блеяние — мобильник!

— Да! — раздраженный голос. — Нет еще! Ну просили же тебя! Позже. Все!

Мелькнувшая в другом окошке тень, ругательство — и топот, с новым напором устремившийся прочь.

Даже то, что Надежда оказалась в окружении вековых наростов пыли, ничуть не испортило ее ликования: она тоже может быть находчивой, когда надо спастись от опасного рецидивиста...

— У-у-у... А-а-ай! — В полете, наверное, именно так и кричат.

Надя летела. Вниз.

Решетка, на которой она устроилась, вообще-то не была рассчитана на то, чтобы кто-нибудь на ней сидел.

Полет оказался недолгим. В самом начале Надя зацепилась халатом за что-то острое, ткань затрещала, и клочок, видимо, остался где-то там, наверху. Приземление было вполне щадящим: одеяло выручило. Да и помимо одеяла — какие-то тряпки, одежды... Надежда с лету вонзилась в гору самого разного тряпья.

Платья, юбки, колготки — десятки их, сотни или тысячи? Повозив рукой под слоями ткани, Надя нащупала злосчастную решетку, а под ней и нечто совсем уж металлическое. И не только внизу, но и вокруг. Ба,



да это же красильный котел! Тот самый, в котором красились Зебрины колготки, а теперь, если что, может поменять свою окраску служащая гардероба. Приходят утром сотрудники красильного цеха, внутрь котла не заглядывают — и заливают кипяток... Грустно все же сгинуть в этом огромном казане высотой в ее рост. Девушка, пожираемая театром. На дне чугунной посуды Надя вдруг снова ощутила всю громадность театра, его мощь, жесткость и... ненасытность. Прочь отсюда!

Красильня — просторное помещение. Свет проникал только из окна, но очертания обстановки были хорошо видны: зеркала, громоздкие сундуки для бутафории, столы, похожие на верстаки с лампами-«костылями», как в конструкторских бюро...

«Администрация доверила вам форменную одежду, полагая, что вы ответственно относитесь к ее эксплуатации!» — «Так я и отнеслась. Только, как показала эксплуатация, эта рухлядь давно плакала по хорошему гвоздю».

Сняв изодранный халат, Надя переложила то, что было в его карманах — треснутый номерок, который собиралась поменять, носовой платок, мелочь, — в джинсы.

Из котла свешивался край ткани лососевого цвета. Надежда потянула за него. Шелковое платье с немисливо расклешенной юбкой, расшитой гирляндами рюшей. «Вишневый сад!» Это платье что же, решили выкрасить в черный?

Она благоговейно приложила шуршащий шелк к груди. Свитер и джинсы из-за холода решила не снимать. Напялив шелка поверх них, Надежда включила один из «костылей» и подошла к зеркалу. Платье с плеча Гречаниновой было не только широким, но и слишком длинным для нынешней модели. Надя подпоясалась каким-то куском ткани. На одном из столов заметила что-то странно волосатое. Впереди стоящий ежиком, сзади переходящий в гривку диковатый парик черного цвета. Явно из другой оперы. Из какой же? «Маугли!» Конечно, это Зебра, ее гривка! Как она сюда попала?

Снова глянув в зеркало, уже с веселенькой гривой на голове, не поверила глазам. Там был кто-то другой. Кто-то неведомый, незнакомый, или сразу много неведомых... Руки сами взметывались, будто крылья чаек, волны фантастической юбки подгоняли кружение все быстрее, быстрее... Все перемешалось в этом вращении: сцены из жизни обреченного сада и картины в незнакомых знойных джунглях. Странно, они совсем не враждовали друг с другом, в них было что-то общее: весь мир — сад... И взгляд, посылающий электричество.

«Костыли» — переливающиеся сотнями радуг хрустальные люстры и горящие во тьме глаза хищников. Закопченного потолка нет вообще — его унесло вихрем, — и из простора наверху сыплются фонтаны звезд вперемешку с вишневыми лепестками.

«И не страшны мне ни пожирание театра, ни администратор, ни вор...»

— Гх-гх-гхы... — Голос как из трубы. Кашель и чихание.

Звезды и лепестки улетучились вмиг.

Голос и был из трубы.

— Я знаю, что вы там. — Отчаянное чихание. — Только не убегайте, прошу... Вы же не знаете, кто я, вы ошибаетесь...

Остановив кружение, Чайка-Золушка-Зебра задрала голову к вернувшемуся на место потолку, прилипнув взглядом к вытяжной трубе. «Нет-нет, ему не пролезть! Он же раза в два больше меня».

Но она уже снова была в длинном темном коридоре. Успев хорошо разбежаться, вспомнила, что одеяло осталось в котле. Дороги назад не было.

Одна из дверей оказалась открыта и вела в другой коридор. Лесенка небольшая, совсем узкий проход — для каких-нибудь уплощенных кукол на веревочках или карликов, — еле протиснулась. Опять коридор...

Запах! Такого еще не было. Или Наде это чудится от голода? «Когда же я ела последний раз?» Дверь, обитая оцинкованной жестью — это из-за нее струится совершенно сногсшибательный запах вкусной, здоровой жареной и пареной пищи. Буфет для персонала совсем в другой стороне. Дверь была зазывно приоткрыта — для проветривания, должно быть, — никаких отмычек не надо.

«Скажу, что я из санэпидстанции... В два часа ночи? А, чего не бывает в жизни эпидемиологов!»

И так было понятно, что это кухня. Надя прошла мимо огромной плиты, не наблюдая возле нее поваров. Это же здорово! Овощи всякие нарезаны горками. Колечко сладкого перца попробовала — м-м-м! Кухня — а за ней?..

Почти у самой двери, ведущей, по всей видимости, в зал, на Надю налетел юноша в белом халате и колпаке — да так, что с него слетел колпак, но он успел поймать его на лету, а у нее чудом удержался на голове парик.

— Ох! Извините, ради бога! — сказал поваренок, придерживая Надежду за локти. — Вы заблудились, да?

— Д-да.

— Со всеми бывает. Пойдемте, я вам покажу.

В поваренке не было ничего угрожающего: еще совсем мальчишка, румянощекий, не наглый, — и Надя бездумно покорилась.

— Туалет вон там: по ступенькам и направо, — махнул он рукой в полутемный зал.

— Спасибо, — сказала Надежда и, убедившись в исчезновении юноши, пошла к другим ступенькам, ведущим, как ей казалось, к выходу.

«Ну и зал! Весь перегороженный пошлыми плюшевыми ширмами. Что за ними и кто эти люди, добровольно заключившие себя в плюшевые камеры? Музыка под стать — тюремная попса... Она слышалась тогда, в душевой! Но пахнет... так вкусно! Никто не говорил, что тут, в здании театра, еще и ночное заведение».

Беспрепятственно попав в небольшой коридор, увешанный претендующими на экзотику бамбуковыми шторами, авантюристка приостановилась у зеркала в вычурной раме. Жгуче-черный парик-грива, нежно-лососевое платье в рюшах. Жуть!

Вдруг она услышала голос — кто-то рядом говорил по телефону — и только теперь заметила, что за спиной у нее дверь — дуб или под дуб. Слов было не разобрать, но тембр мужского голоса казался знакомым. И будто она совсем недавно его слышала... Но нет, не вора.

«Господи! Да нельзя же мне здесь быть ни секунды больше!» Почему-то этот голос представился угрозой еще большей, чем десяток воров-неумех, которые даже пригнуться вовремя не могут. Вперед и только вперед! Вон она видна — дверь на улицу. В каких-то восьми шагах. Если бы еще было лето! Или хотя бы осень... Но за дверью зима в апогее.

Покосившись на гардероб, Надя с удивлением увидела знакомые до боли массивные вешалки — точь-в-точь такие, как у них, с такими же крючками, значит... и с номерками такими же! Подобные совпадения, по теории вероятностей, происходят раз в сотни тысяч лет. И происходят они не просто так.

Мысль заработала на удивление подвижно: очень не хотелось встретиться с говорящим по телефону. Так... Цифра на номерке, лежащем в кармане, попадала в диапазон этого маленького гардероба. Маленький, да удаленький! Шубейки там виднеются явно не кроличьи. Гардеробщица наверняка помнит в лицо владельцев. Где же она? За барьером никого не наблюдалось. Зато у дверей честно стоял швейцар в форме, похожей почему-то на милицейскую. Возле него топтался непонятный тип, уже побывавший не на одном банкете, судя по тому, как витиевато он переставлял ноги.

— Ты мне надоел! — злобно рявкнул швейцар. — Не понимаешь? Я предупреждал! Все, иду к шефу! — И, с силой оттолкнув типа в сторону гардероба, шагнул куда-то в боковую дверь.

Надя, лихорадочно просунув руку под избылиющую рюшами юбку, извлекла из кармана джинсов номерок. Не такой уж он и треснутый. Бабочкой порхнула к барьеру. «А если будет мужское?!» В смятении она уже пожалела о задуманном. Злосчастный номерок, видно, тоже занервничал и звучно брякнулся на цементный пол.

Нетрезвый гражданин, оказавшийся повелителем номерков, с необычайной ловкостью подхватил его и утонченно поинтересовался:

— Сударыня одна?

— Да, я... Мне позвонили...

— Понимаю, — громко объявил неменяемый гардеробщик и с резким хлопком распластал перед Надиным носом что-то невообразимое, торчащее сероватым мехом в разные стороны, при этом обдав ее мощной перегарной волной. Надя устояла и, стремительно развернувшись спиной к мохнатому нечто, всунула в него руки.

Не тратя ни секунды ни на анализ, ни на угрызения совести, она рванула к двери, даже не разобрав, успел ли гардеробщик отцепиться от ее шубы. В тот момент, когда она отпихнула от себя стеклянную преграду к свободе, ту чуть не закрыло вновь — сквозняком из другой открывшейся двери — боковой, за которой скрылся швейцар, — и послышались сердитые голоса. Но Надя уже вырвалась наружу.

Такого количества резких движений, как за последние два часа, она не делала, наверно, со времен школьных уроков физры, когда они с

мальчишками как попало гоняли по залу мяч, считая, что это футбол. От морозного воздуха перехватило дыхание, но Надя решительно зашагала вперед, запахиваясь на ходу в то безумие, в которое ее одел чокнутый гардеробщик. Заметив впереди что-то вроде проходной с будкой и воротами, как на границе, она запахнула еще глубже и подняла воротник, втянув в него голову с черной гривой. Из будки шагнул наперерез кто-то в камуфляже — граница или военная база?! — и, слегка как бы даже козырнув, спросил:

— Вы одна, девушка?

— Да, — с непритворной агрессией в голосе отчеканила девушка. У нее получилось.

«У них здесь что, выпускают только по трое или звеньями?»

— Меня там ждут. — Она махнула куда-то за ворота, заметив за ними какой-то транспорт.

Охранник отступил в сторону, и Надя, придерживая уже не столько полы шубы, сколько юбку, чтобы, не дай бог, не засветить эксклюзивные тапочки в цветочек вкупе с эксклюзивными носками из натуральной овечьей шерсти, проскользнула мимо.

Только за воротами, завернув за угол здания, Надежда остановилась и привалилась к надежной стене, которой было все равно, кто к ней приваливается.

«Что же это? Я ли это? И аромат Франции — это я? И как я это теперь верну?!»

Поднесла к носу рукав своего одеяния. «Франция — это не я. Это то, что на мне. А мех? Что за мех такой?» Из известных Наде представителёй фауны ни один не обладал таким странным, уж больно неравномерно торчащим мехом, самые длинные пучки больше напоминали даже не мех, а какие-то перья. Туловище страуса — вот на что, должно быть, похожа со стороны эта шубка. Для такой и ноги нужны подлиннее Надеждиных. Она же ниже колен утопала в этом страусином тулове, из-под которого вырывалось пиршество лососевых рюшей, а из-под них застенчиво выглядывали голубенькие тапочки с белой оторочкой.

— Слышь, чё, подстава? Водила не встречает?

Из стоящей неподалеку гладкой черной машины высотой с небольшую дачку, с непрозрачными стеклами, ухмыляясь, высунулся некто столь же полногабаритный, под стать машине. Рот до ушей — добродушие бегемота, нежащегося в теплой болотной жиже.

Надя, вздрогнув, вновь вцепилась в юбку, пряча супертапочки под ее складки. Оптимальным ответом был бы: «Да пошел ты в сад!» Но без подготовки, без репетиции... Лень было подучить специальные глаголы? «Садитесь, Евфимкина. Двойка».

— А то залазь, подброшу.

Двоечница оторвалась от стены и зашагала, изо всех сил придерживая юбку, на которую, как назло, ополчился ветер.

— Ты чё, первый день из аквариума? У вас там чё, все такие неразговорчивые?

«Стыд какой! Докатилась до двоек!» Надя, нагнув голову и собравшись с духом, дала наконец волю словам. Негромко, но с расстановкой произнесла, может, и не стопроцентно верное:

— А у вас, на ваших танках, все такие... прямоугольные? — и пошла быстрее.

«Ну, троечка с натяжкой...»

Темная махина на колесах тронулась с места, поехала параллельно Надиному движению, чуть не прижимая ее к стене.

Водитель кричал:

— Ты чё сказала? Ты чё-то сказала?! Ну-ка, стой! Я и смотрю, вроде в этих перышках другую птичку видел. Повыше росточком, да и помоложе. Ты оперение-то не перепутала? А?! Ну-ка, иди сюда, сказ-за-ал!..

«Птичку! Сверху птичка, внутри рыбка. Лосось».

Водитель, резко тормознув, распахнул дверь джипа. Свесившись наружу, схватил шубку с ее содержимым в охапку. Надежда, даже забыв ойкнуть, четко осела вниз. Слава китайцам, изобретателям всего, в том числе шелка! Она — вместе с шубкой! — просто выскользнула юркой рыбкой из грубых клешней. Но они успели вцепиться ей в прическу.

Долго ли шофер джипа рассматривал добычу в виде жгуче-черного скальпа, существующего автономно от головы, Надя не знала.

Обогнув передвижного монстра спереди, она понеслась изо всех сил по просторному снежному полю в сторону большой, хорошо освещенной улицы.

«Не ночка, а сдача норм ГТО в ужесточенной форме...»

Махина ехала сзади, настигая и складно, округло даже матерясь. Наде так и чудилось, что матерится именно автомобиль. Впереди на пути торчал бетонный домик немного ниже Надеждиного роста — должно быть, вентиляционная будка. Надя хотела свернуть, но передумала. Ведь машине эта преграда не видна, пока Надежда в своем страусином оперении заслоняет ее...

Она подбежала вплотную, даже чуть помедлила рядом, выдерживая, прямо по классике, паузу, и, когда на нее уже легла тень монстра и мат слышался у самого виска, повернулась спиной к тумбе, как, бывало, к гардеробному барьеру, привычно подтянулась на руках и безукоризненно исполнила свою «вертушку», с легкостью бабочки перемахнув через препятствие.

И, не оборачиваясь, помчалась дальше — досдавать нормы, слыша за спиной оглушительный металлический скрежет, звон стекла и уже не округлый мат, а леденящий кровь рык... Так оглашает джунгли их царь, ужаленный в нос. Но тот это делает без слов.

Беглянка мчалась, не находя в себе ни малейшего сочувствия к раненому. Ранен-то ведь был не водитель, пострадала его тачка — что для него, пожалуй, намного страшнее. «Вот и ожесточилась...» Добежать бы скорее до дороги, через которую — вон его уже видно — здание больницы, теперь почти родной, где была еще одна работа.

Но и покореженную громадину на колесах тоже видно, если оглянуться. И хозяина громадины, посылающего в воздух громогласные звуки. Кто ему виноват, этому второгоннику, что он не слышал про закон инерции?



...Не открывали так долго, что Надежда уже хотела бежать куда-то в другое место, хоть погоня и отстала. Рык стоял в ушах; заглушая его, она изо всех сил колотила в запертую дверь.

— Ну сейчас, сейчас! Господи...

Смотровое окошечко отворилось, и знакомая сторожиха ошарашенно изрекла:

— Чего не спится-то? Неча делать? Одна в два, другая в четыре! И без шапки...

Надежда протиснулась в дверь, срывая на ходу, от греха подальше, свою немислимую шубейку. Но и без нее...

Сторожиха попятилась, мелко крестясь.

— У вас нет пакета?

— К-какого пакета? — перестав креститься, спросила женщина.

— Да любого.

Надя с каким-то мстительным чувством вывернула шубку наизнанку и без труда запихала ее внутрь полученного пластикового мешка — совсем немного места понадобилось. Чтобы не перепугать Анну, сняла и платье, сунула его туда же.

Не стала будить сослуживицу, неловко полулежащую в кресле с высокой спинкой возле ординаторского столика, прямо в больничном коридоре. В начале шестого Анна проснулась сама. Надежда, постепенно отогреваясь, примостилась в другом продавленном кресле, не смыкая, однако, глаз. Просто те не смыкались.

Взволнованный и не совсем связный рассказ коллеги Аня восприняла сравнительно спокойно, без привычных восклицаний испуга или ужаса, пребывая в странной мрачноватой задумчивости. Не проснулась еще?

— Ты не бойся, я попрошу одну актрису, она сходит в красильню и заберет твоё одеяло. Или... Ой, нет, лучше я. Еще ведь платье...

— Да это все ерунда. Я и сама могу. Утром, до одиннадцати. Они раньше не приходят, — сказала Аня равнодушным голосом. — А шубка, говоришь...

— Да вот она, здесь! — Надя схватила пакет. — Вот как быть с ней, ума не приложу. Все этот номерок! Надо же было!

— Про нее, по-моему, вообще лучше забыть, — так же бесцветно изрекла Анна, покосившись на пакет.

— Как это — забыть? Надо же вернуть!

— Ну, если хочешь, чтобы тебя арестовали, иди возвращай.

Обычно не знающая себе равных в смирении, наставница продолжала удивлять Надежду своей внезапной категоричностью.

В полном смятении Надя протянула:

— Нет, ну надо ведь что-то придумать...

Анна снова с досадой, если не со злобой, глянула на пакет — полупрозрачный, в котором ясно просматривались экстравагантные меховые перья.

— Говорю — забудь! Надо запрятать куда-нибудь. И уж конечно, не в театре.

— Ну да. Ты права, наверно, — согласилась Надя, не слишком, впрочем, уверенно.

— Есть тут у меня один закуток — туда и положим. А там видно будет... Тебе ведь еще надо во что-то одеться. Схожу за твоей курткой — не пойдешь же так по улице.

— Да уж, в минус тридцать... А ты знала, что у нас там еще и какое-то ночное заведение?

Анна вытряхнула из пакета шелкового лосося и, нахмутив брови, буркнула:

— Откуда?

«Она, точно, не выпалась...»

— Номерки даже как у нас... Господи! Меня же по номерку... Сразу же!

Но даже это не возмутило Аниного спокойствия:

— Да чего заранее-то паниковать? Можешь сказать, что давным-давно у тебя этот номерок потерялся. Откуда тебе знать, кто его мог найти?

— Ох, нет! Лучше признаться сразу. Раньше, чем обнаружат...

— Да кому надо — обнаруживать! Ты что, нашу милицию не знаешь? — Анна глянула на коллегу, как учитель смотрит на ученика, которого он всю четверть тянул изо всех сил, а у того все равно вышла «пара». Потом, найдя за креслом газету, молча стала раскладывать ее на ординаторском столе.

«Трусиха побольше моего — и вдруг такая твердость?» — поразилась Надежда, глядя, как Аня чуть брезгливо завернула пакет с шубкой в газету и понесла куда-то прочь, в другой конец коридора.

— А эти психи на джипах? — не унималась Надя, когда Аня вернулась.

— Ну а что психи? Они же не знают, кто ты. В этом ихнем кабаке тоже никто не знает.

— А с париком что делать?

Тут уж невозмутимая Анна не выдержала:

— Ну пойдем разыщем этого шóфера! Он, наверно, все там маячит. «Дайте, — скажем, — дяденька, причесочку! А то она чужая». Он, конечно, обрадуется и даст. Потом догонит — и еще поддаст...

Засим кроткая Анна деловито сложила «чеховское» платье в другой пакет и, надевая пальто, объявила:

— Сама эта Зебра виновата. Штатается, как колобкова корова, по всему театру, да еще и пьяная. Все знают. Пусть вспомнит сначала, где она свою гриву оставила.

После Надеждиной ночной экскурсии не быть театру прежним. Удивительно, такой прозрачный снаружи, изнутри кораблик оказался пугающе мутным. И, точно, с двойным дном, то бишь трюмом. Зачем оно ему? Вот уж не гардеробщицкое дело это знать.

Анна отнеслась к операции «Красильня» ответственно. Вызволила не только свое одеяло, но и то, что еще вчера было Надиной форменной одеждой. Дальше — жизнь без халата. Любимые Надеждины вельветовые джинсы «какао с молоком» и двухцветная вязаная кофта «молоко



с какао». Прилично и практично. Администратор придет в восторг. И больше из него не выйдет.

Надя на автомате кружила в обнимку с чужой одеждой от прилавка к вешалкам и назад, непроизвольно высматривая в нахлынувшей толпе милицейские погоны или фуражки.

«Легко Ане говорить... Нашла же я, кого слушать!»

Поток желающих остаться без верхней одежды незаметно иссяк. А где же Мы-ждем-только-вас? Странно. Хотя и к лучшему. Одна из билетерш, постарше, взялась выступить заместителем, но куда там! Тускло, блекло — ни междо, ни тремоло.

Прозвенели все звонки — и последние силы в момент покинули Надежду. Она невольно приклонила голову, закрыв глаза безо всяких очков... Но «ночлег» обломился, не начавшись: ее окликнули. Вглядевшись, узнала Галю-Мартышку. Та опять была другая: с двумя туго завязанными хвостиками, в балетном трико. Но главное, другая по настроению. Чем-то озабоченная, нервная даже.

— Ты хоть после того случая пришла в себя?

Надежда, с готовностью подхватывая это «ты», поспешила развеять Мартышкино беспокойство.

— А я тут ходила к администратору кое-что выяснить, да не застала. А ты видела сегодня Табаки?

Надежда вздрогнула.

— Кого?

— Ну Табаки... Ты что, не знаешь, что у нас ее так зовут?

— Кого?

Мартышка скрестила руки на груди и склонила голову набок.

— Что, опять с утра голодом?

— С утра... Смотря что считать утром.

«А ведь и правда! Про еду-то я и забыла».

— Утро — это когда просыпаешься. Или нет?

— Ну да, в том-то и дело!

— То есть ты не просыпалась, хочешь сказать? То есть вовсе не спала? — с нажимом и подозрительностью в голосе.

«Она что-то знает?!»

— А-а, вспомнила! Думаю, что за Табаки... Шакал, что вечно рыщет повсюду, сеет раздор и разносит сплетни. Что-то такое, — вместо честного ответа процитировала Надежда. — Так это администратор?

— Ну слава богу!

— Так что, ее сегодня совсем нет?

— Совсем. А с тобой-то что? На тебя смотреть страшно. Где ты была?

Надежда, не справившись с собой, протяжно зевнула, прикрыв глаза.

— Да я просто не нарядилась... Опаздывала.

— И чего ты в этом гардеробе забыла, скажи на милость? — потребовала Галина даже с каким-то раздражением.

— Больше не было ничего. Да и где мне еще работать? Я ведь не артистка...

— Знаю. Светка Петрова кое-что рассказала, она же тебя привела. К нам ведь с улицы не берут. Тоже — чем она думала?

— Да она помочь хотела, от чистого сердца. И вообще, есть мнение, что гардероб — это лучшее место под солнцем... А я вот хотела спросить, почему ты в тот раз сказала, что здесь страшно?

Галина нащупывала сигарету в пачке. Получилось не сразу, так как руки у нее дрожали.

— Не слишком ли много ты хочешь знать? Вы уже и с Марго, смотрю, спелись, бывшей моей подругой. Представляю, что она может обо мне нагородить...

Надя удивленно посмотрела на актрису. А вот с ней что сегодня? Лицо злобное, мстительное какое-то.

— Я тихоней никогда не была, — продолжала Галя, — так что никому ничего спускать не собираюсь!.. Ладно, увидимся.

После ухода Мартышки Надежда вновь дерзнула совершить запретное: протиснулась сквозь плотные слои одежды вглубь гардероба, где стояли списанные из приличных кабинетов кресла, и повалилась в одно из них. Не спать — думать. Это тоже еще как запретно! И совершенно правильно: отвлекает от основной работы.

Вот чего она поперлась вглубь корабля, погруженного в ночной мрак? В душ захотела? Ой ли! Ей было любопытно. А почему? Уж не потому ли, что неведомо каким по счету чувством она почуяла, что в этом театре что-то гнездится, роится, тайно вызревает?

Почему, когда, где возникло это чувство? После откровений Анны? Или от общения с Мартышкой? Или в тени осьминожьего сада?

Хорошо в задачках по физике: все четко, ясно. Дано то-то, то-то и то-то. Надо получить вот это. А тут — что? Дано: какая-то каша, туман и полный бред. А получить надо конкретный ответ: кто в саду садовник?

Начнем с действующих лиц прошлой ночи. Кто они и насколько случайно было их появление в ночном спектакле?

Итак, главный администратор. Еще вчера Надежда пришла бы в восторг от ее клички — Табаки. Но сейчас... Ну да, она начальник. Ей положено быть на работе улыбочивым цербером. Но помимо работы у нее есть дочь! И тут уж перед нами не Табаки — чистая Багира. Бросается в бой, пытается защитить всеми когтями и клыками... А от кого?

Вот он, главный злодей, — Шерхан в юбке! Благодаря матерой Шерханихе вся эта махина не просто на плаву, но еще и на очень хорошем плаву по сравнению с другими театральными посудинами.

И наконец, вор. Тут вообще ерунда полная. Не мог вор второй раз оказаться в том же месте, где его схватили. Ну да, злодеев тянет на место преступления, как магнитом. Но не до такой же степени, чтобы сбежать из тюрьмы или где он там был... Да и преступления-то он не успел совершить. Воспитанный к тому же, и вихры эти совсем не воровские...

«Нет, одной мне не справиться. И Аня вряд ли знает больше того, что уже рассказала...»

Кстати — Аня! Откуда у нее, профессиональной хранительницы верхней одежды, этот пофигизм по поводу захвата Надей чужой шубы? А потом вдруг — почти враждебность, когда Надя захотела эту шубу вернуть?

И опять же — садовник. Может, в нем все дело? Кто он?..

— Думала, ты спишь, — меж одежек вдруг Анино лицо.

— Какой сон! — сказала Надя и снова зевнула.

— Исчезла, ничего не сказала... Эти уже интересовались.

— Кто?!

— Да эти наши, двойняшки...

«Ах, эти... Уф! Вот кто Табаки так Табаки, хоть и начинающие».

— Чего им-то надо?

— А я знаю? Их самих уже собака языком слизнула.

«Почему собака?»

— А администраторша пришла?

— Не видала. Ну она ведь живой человек, может и заболеть.

«Живой-то, конечно, может...»

— Ань! Что будем делать с шубкой-то? — перейдя на шепот, спросила Надя.

Анна с досадой мотнула головой:

— Я ж сказала — забудь!

— Да что ты: «Забудь, забудь!» — перестав шептать, воскликнула Надя. — А если придут? Нам надо хоть что-нибудь придумать! У меня сейчас голова вообще не варит...

— Ну так и надо выждать. Вообще-то, если помнишь, тебя просили не шляться ночью по театру, — незнакомым раздраженным тоном выдала Анна.

— Да, я помню... Но... Мне не так хозяйку ее жалко, как этого гардеробщика. Его ведь заставят выплачивать, — вконец растерявшись, бормотала Надя.

— Ну да, заставили! Что с него взять-то, с алкаша?

— А-а... откуда ты знаешь, что он алкаш?

— Да это ж, наверно, — Анна слегка замялась, — тот, который здесь раньше работал, да его поперли. Ты вот только это... Никому больше! А то я видела, приходила тут к тебе артистка.

— Да я и не собиралась. Хотя Галя, она... Ты ее не знаешь!

— Артистка.

— Что — «артистка»? Что за подход такой? Все артистки разные.

— Все одинаковые. И что ей от тебя надо?

— Аня, ну ты что? Ты не помнишь, что ли, как они меня откачивали тогда?

— Ну откачали — и до свидания. А чего опять звать-то?

— Слушай... Ну я даже и не знаю, что тебе на это сказать.

Гардеробщицы-подельницы замолчали.

— Ну все, я в буфет. Выпью кофе, а то помру, — сказала Надя, решительно вытаскивая себя из кресла.

— Попьем здесь чаю, у меня свежий. Что, деньги лишние?

— Я в долг... Не могу здесь. Мне все кажется, сейчас придут Наручники, допрос...

— А про Галю твою... это... Просто я хотела сказать: у них свое, у нас — свое. Знаешь, как здесь? Скажешь одно — услышат совсем другое. Потом не обрадуешься! Нам вообще повезло. Гардероб — еще самое милое здесь.

— Но кофе-то я могу попить?

— Можешь. Если недолго.

«Все вверх дном после этой ночи! Аню не узнать. “Недолго!” Еще один администратор на мою голову».

На еле плетущуюся гардеробщицу вихрем налетела переливающаяся блестками беглянка из арабского гарема, с пронзительными темными глазами и голосом Мартышки.

— Эт-то... ты?

— Ну а кто ж еще? Идем быстрее! Времени в обрез, но по чашечке успеем.

Гаремная Мартышка подхватила Надю под руку и быстрым, подпрыгивающим шагом помчалась по коридору.

Парочка стремительно сближалась с человеком, идущим навстречу. Чтобы избежать столкновения, Надя вырвала свою руку из-под руки Галины. И тотчас услышала:

— О! Вот видите — снова встретились. Здравствуйте!

— Здравствуйте, — сказала Надя, узнав режиссера, хотя он почему-то был не в свитере. А в вельветовом пиджаке, в котором казался совсем другим — молодым. Моложе лет на пять. Или дело еще в том, что сегодня он хорошо выбрит и совершенно трезв?

«Решил начать новую жизнь?»

— Вы вот не верили, Надежда Владиславовна. А ведь все так и будет, как я говорил. И ветер благоприятствует... Фельдмаршал отбыл в расположение иностранных частей. Внезапно. Вчера вечером.

У Надежды вырвалось ошеломленное:

— Вечером?!

— Вчера?! — тоже воскликнула Галина.

Режиссер, хмуро глянув на актрису, будто только заметив ее, произнес:

— Что за костюм? Вас что, не известили? Сегодня другая репетиция. — И, повернувшись к Наде: — А что вас так удивляет? Да, поздно вечером Тамара Васильевна лично телефонировала и сообщила. Ну ладно, увидимся.

И быстро зашагал дальше.

— Вы знакомы? — выдохнула Галя.

«Вечером? А ночью успела вернуться?! Что он называет вечером?» — между тем пыталась понять Надя.

— Вы знакомы, я спрашиваю?!

— А? Да... Чуть-чуть.

— Ну ты мастер... удивлять!

«Это точно. Знала бы она еще про пернатую шубу...»

— Запросто так говорил, будто сто лет тебя знает! Вообще, он не больно-то свойский. С «фельдмаршалом» так вовсе — чуть не до

кровопролития. «Не та репетиция!» А какая, нельзя было сказать?.. А Табаки все-таки появилась или нет?

— Пока нет.

— Витька мне не велел, но я все-таки хочу сказать ей, что уже не в первый раз замечаю: кто-то бывает в нашей гримерной помимо нас. После вора особенно как-то беспокойно.

Шедшая им навстречу Надежда Гречанинова сделала удивленное лицо.

— А вы куда? — обращаясь к Мартышке. — Вы не идете на репетицию?

— Как — на репетицию?! Черт-те что! То костюм не тот, то время меняют... Ну, я побежала. Извини, кофе в другой раз!

3.

Ну до чего же зябко — без кофе! Без надежды на покой после бурно проведенной ночи, отягченной присвоением чужого имущества. Не могла Надя снова идти к вешалкам. Вместо этого пошла глянуть на репетицию. Что ей теперь терять?

Никем не замеченная, вошла опять в темный зал, примостилась сбоку, у стены. И вновь чувство, как тогда, много лет назад: незаконное вторжение, миную табличку «Посторонним вход воспрещен»...

— А удав тебе кто? Дядя или дедушка? — Фея залилась звонким смехом. — Сюда ведь чужим нельзя. Впрочем, все равно поздно. Все удавы уползают после работы домой, назад в семью.

Мальчик опустил кудрявую голову, но нет, не заплакал.

— А как мне его увидеть? Я к нему из-за Шерхана. Он не должен был умирать! Почему он не послушал Каа и не перестал воевать с Лягушонком?

Фея опустилась на цементную ступеньку рядом с мальчиком и отложила свою палочку в сторону.

— Но если бы он перестал, то Лягушонок мог бы его убить.

— Нет! Лягушонок ведь объявлял перемирие! А потом им надо было стать друзьями, чтобы вместе защищать всех слабых в джунглях, вот и все! — прокричал мальчик.

Фея посмотрела мальчику прямо в глаза нежным сказочным взглядом, прижала его к себе на секунду и поцеловала крашенными губами в щеку. Потом вытерла это место, а со своих щек смахнула слезинки.

— Ты молодец. Только тебе нужен не Каа. Понимаешь, Каа и все остальные — это персонажи. Их сочинил автор. Но это было очень-очень давно, и автор уже умер.

Мальчик отшатнулся от феи.

— Да чего ты? То, что он сочинил, — оно живое до сих пор и еще долго останется живым. Так бывает. А пьесу поставил

режиссер. Он вроде Каа для артистов — повелитель. Но репетиции проходят днем, и сейчас его тоже нет.

Фея спустилась вместе с мальчиком по лестнице.

— Ну, племянник удава... Не отступишься от своего — быть тебе самому повелителем!

Фея легонько подтолкнула его своей палочкой в спину — и он полетел.

С самого утра режиссер Погодин был преисполнен необычайного волнения и уверенности: он в театре хозяин. Повелитель событий. Никто не посмеет мешать ему! Репетиция пройдет по-новому. Совершенно.

«Да что там, переверну все к чертовой матери!»

На сцене между тем происходило... Там ничего не происходило. Никого и ничего, кроме декораций, на ней не было.

— В чем дело? — гаркнул Погодин со своего места. — Ну и где все? Хотя бы главная героиня?

«Нет, эти псевдодивы думают, что им все можно!»

— Я здесь.

Появилась Раневская-Гречанинова... И Надежда медленно сползла по стене, да так и осталась сидеть на корточках. На барыне из Парижа были изрядно потрепанные толстые трикотажные брюки вроде лыжных, вытянутые на коленках, и мышино-серый свитерок.

«Анна! Она ничего не отнесла назад в красильню! Как она могла?!»

За Раневской неуверенно подтянулись по очереди Аня, Гаев и Варя в приличествующих пьесе костюмах. Последняя волочила за собой длинную складную лестницу.

Раневская остановилась ровно посередине сцены, откашлялась, направила взор в глубину зала и патетически произнесла:

— У меня пропало платье! — после чего, с вызовом заложив руки за спину, застыла в позе садовой статуи. В лыжных штанах.

— Что?! Вы... Что за чушь! — Погодин привстал в своем кресле.

— Не чушь. Обыскали весь театр — и помреж, и костюмер с ног сбились. Нигде нет. — Она всплеснула руками и одну с изяществом поднесла ко лбу. — Ах! Как можно? «Чушь!» Я в себя никак не приду. Я... как маленькая девочка... На утренник, помню, все дети пришли в костюмах... Одна я — без. Мы опаздывали безбожно, как всегда, и маменька забыла его в экипаже...

Режиссер приблизился к сцене — желая, наверно, получше рассмотреть лыжные брюки — и немного неуверенно спросил:

— Вы что, с ума все посходили?!

Варя тем временем приставила лестницу к стене бутафорского барского дома, но стена была неустойчивой и зашаталась. Гаев с пакетом попкорна в руках уселся в продавленное кресло перед нестандартным шкафчиком лицом к нему. Очертаниями этот шкаф напоминал большой старинный телевизор с пыльным окном-экраном, установленный на высокой тумбе. На второй полке тумбы лежала гитара. Аня села в другое кресло, рядом.



Раневская. Смейтесь надо мной, я глупая. (*В глазах у нее слезы.*) Сейчас еще начнут некоторые (*покосившись на Гаева*) про то, что не за того вышла, не так себя вела... Что вообще я — порочна! И это чувствуется в малейшем моем движении... (*Всхлипывает.*) Как я устала! Нарочно не буду двигаться. (*Задирает свитер, достает из лифчика платочек и прикладывает к глазам.*)

Гаев (*бубнит с набитым ртом*). Ну полно, сестра, в самом деле. Могу и не говорить подобной... э-э, че... честью моей клянусь, чем хочешь! Счастьем моим тоже клянусь. Успокойся. Что оно у тебя, единственное, это платье, что ли? Ну хочешь, я даже не буду говорить «желтого в середину» и «дуплеты» эти... Самому осточертело, если честно.

Раневская. Сначала сад, теперь еще и платье. Мой любимый цвет, нежно-лососевый...

Из-за кулис выглядывает Фирс.

Фирс. Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!

Раневская. Эх, милый мой старичок! Я так рада, что ты все еще жив. Н-да... Ну ты-то ладно... Но никто здесь не понимает, ни одна душа! Платье было из Парижа, что, все забыли? Это что, мелочь, ерунда, по-вашему? А как мне прикажете вживаться в роль?

Раневская нервно подбегает к Ане, которая поднимается ей навстречу.

Повисает на ней, уткнув лицо в ее плечо. Плачет.

Режиссер. Не понял... (*Отходит на полшага от сцены и хватается за подбородок.*)

Раневская. Вот и я говорю — никто не понимает.

Со стороны предполагаемого сада, за стенами бутафорского дома, раздается шум, цоканье копытцев и затем голос: «Я-я, я понимаю!» Через окно, чуть не сокрушив декорацию, влезает не совсем трезвая Зебра в своем полосатом трико, но без парика, с прической Мэрилин Монро.

Зебра. Еще как понимаю! Уж я-то по себе знаю, что это такое, когда с реквизитом хрен знает что. Посмотрите на мои ноги! По какому праву? Мои частные, приватные ноги — полосатить?!

Раневская. Какой скандал! В час пополудни в таком виде!

Зебра. В каком «таком»? Я виновата, что они красят так, что не отмоешься? И парик, между прочим, опаньки! Стырили...

Раневская. Ну это уж слишком! Вы ничего не перепутали? Врываешься... У нас тут материи более высокого порядка. У нас «Сад»...

Зебра. Да хоть зоосад! Сад, сад... С какой стати из-за вашего сада все должны вздрагивать? Какой вообще сад?!

Раневская. Как какой? В заглавии же...

Зебра. Да вы же его все равно профукаете, пальцем не пошевелите, чтобы спасти. И нечего тут запудривать сознание. Сад! Вы его недостойны, этого сада, садисты хреновы! Только скулите, пьете-едите за чужой счет да жалеете себя до слез.

Режиссер медленно возвращается на свое место и с интересом смотрит на сцену. Варя терпеливо пристраивает лестницу к ненадежной стене под разными углами. Пробует забраться, но тут же спускается вниз — лестница шатается вместе со стеной.

Раневская. Игорь Михалыч! Пожалуйста... Я все сознаю, мое прошлое (*скороговоркой*), как много я грешила... О, мои грехи!.. Но это... это грубо! Я не привыкла... Это не значит, что я должна терпеть этот ужас. Голубчик, она ведь себя не помнит, пьяна в дым!

Режиссер. Отчего же? Никакой не ужас. Напротив — у вас даже много общего.

Раневская. Вы шутите!

Режиссер. Я ведь уже пытался донести до вас до всех... Как об стенку горох! Что такое вишневый сад, по-вашему? Какое-то количество деревьев, растущих в одном месте? А по-моему, это вся земля. А значит, и джунгли тоже.

Гаев. О чем это он?

Высовывается Фирс.

Фирс. Уж три года так бормочет. Мы привыкли... (*Кто-то с силой, рывком, втягивает его назад за кулисы.*)

Зебра. Преклонный возраст.

Аня. А зебры в джунглях не живут! Они в саванне. Передача была...

Зебра. А почему это здесь все решили, что могут пороть любую чушь? Да я лучше тебя знаю эту роль. Нет там таких слов! Любовь Андреевна, давайте я вашей дочкой буду. Ну пожалуйста! Ну чем мое плечо хуже?

Аня (*отходит от Раневской, подходит к Гаеву, забирает у него пакет с попкорном. Громким шепотом*). Вы что, не знаете, дядечка, что вам леденцы положены?

Гаев со вздохом достает из кармана маленький пакетик и отправляет в рот конфетку.

Раневская. Игорь Михалыч!

Зебра. Что «Игорь Михалыч»? Да он мне, если хотите знать, птицу обещал! Белую...

Раневская. Ах, белая у вас уже давно...

Аня (*сама ест попкорн*). Как холодно! У меня руки заоченели. Я пойду. Раз ей так хочется, пусть она будет вашей дочерью. Все равно



мне тут ничего не светит, с этим вечным студентом... Не показывается и правильно делает. «Вперед, неудержимо, к яркой звезде там, вдали...» В какой дали? Одна болтовня. (*Уходит.*)

Зебра (*страшным голосом, размахивая руками и гримасничая*). Да, я — чай-ик! Чай-ик! Зебры, львы, ик-куро... куропаты... Гуси, мыши, пауки... Мировая паутина...

Раневская (*отшатывается*). Ах! Зачем так много пить?

Гаев (*тоном диктора телевидения*). Сейчас утренняя, мороз в три градуса. Ожидается усиление... местами... с переходом... от шара направо прямо в угол.

Раневская (*подходит к Гаеву, отбирает у него пакетик*). Зачем так много есть, Лень?

Гаев со вздохом снова достает попкорн. Выскакивает Лопехин с чемоданчиком для инструментов, в начищенных скрипучих сапогах огромного размера.

Лопехин. Ме-е-е... Мне так хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое... Вы будете иметь двадцать пять тысяч дохода в год. Долларов!

Гаев (*надменно*). Какая чепуха! (*Зевает.*)

Раневская. Ах! Зачем так много говорить? И я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич. (*Достает из заднего кармана брюк веер, обмахивается.*) На дворе октябрь, а тепло, как летом.

Гаев. А три градуса как же?

Зебра (*скачет радостно*). А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяйева едут.

Танцует быстрый танец под Riders on the Storm группы The Doors.

Из глубины сцены, из предполагаемого сада, слышно подвывание и веселый лай.

Гаев. Господь с тобой! Как ты похожа на свою мать! (*Зебре.*) Ты, Люба, в ее годы была точно такая.

Раневская. Совсем, совсем не помнить себя... Довольно! Как можно?

Режиссер (*привстает*). Минуточку! К «Довольно! Как можно?» добавьте жесты. Вот так — ладонь к груди, и головой чуть качните.

Раневская. Вот и муж мой тоже умер от шампанского... Страшная смерть! И я, на несчастье, полюбила другого, сошлась. Закрывает глаза, бежала, себя не помня, а он за мной, другой. Купила я дачу возле Ментоны, это во Франции... С горя...

Зебра (*подхватывает Раневскую, увлекая в танец*). Ну ясно, если бы не с горя, то где-нибудь в Удоеве, а не в Ментоне. И где она сейчас, эта дача?

Гаев (*отбрасывает пустой пакет из-под попкорна, привстает, не отклеившись от кресла, и хватается за пакетик, оставленный*

Раневской на стуле). За долги продана. *(Злобно.)* А про меня так говорят, что состояние проел на всякой ерунде!

Лопехин помогает Варе укрепить стену, достав из чемоданчика молоток и топорик.

Раневская. Он обобрал меня, тот, другой, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться...

Зебра. Что, яд подсунули просроченный? *(Передразнивает).* «Другой с другой!» Вы бы их хоть нумеровали, что ли. «Обобрал, бросил...» *(Отталкивает Раневскую, та падает в кресло.)*

Раневская. Ах, я не вынесу... Да уходите же наконец! Зачем вы здесь? Вы не отсюда!

Зебра. Покажите фокус, тогда уйду. Да вы и этого-то сделать не в состоянии! У вас для этого лакеи и гувернантки. В кого вы превратили Шарлотту? В ненормальную, которая с узелками разговаривает. У нее даже паспорта нет, хуже последнего гастарбайтера. Да со знанием языка у нее такие возможности были! Так нет, режиссеры нашли главную героиню... Главного трутня! Все предки были крепостниками. Живет в долг, еще и платье ей из Парижа подавай! Я, может, тоже хочу на воздушном шаре над Парижем...

Из-за кулис высовывается Петя.

Петя. Позвольте, позвольте, это же мое — про крепостников... А я что буду говорить? Являются тут из леса... *(Его с силой дергают назад, за кулисы.)*

Зебра. Ах, ты еще! Типа философ! Учителишка облезлый, сидел там и сиди, не высовывайся! Не позорься. Да какой ты на фиг революционер? Только ныть и умеешь! А сам в бане жить готов при барских хоромах. А барыня — такая хорошая, добрая, славная — тебя же уродом называет, аристократка рафинированная. Это как? Позором покрыла — стыдно в ваши годы без беспорядочных связей! Надо, чтобы все, как она, сходились, как заводные, другие с другими, обирали и бросали. Не ныть надо. А хватать за...

Зебра хватается Раневскую за веер, но та не выпускает его.
Вместе с веером Зебра вытягивает ее из кресла.

Раневская. Да я телеграмму получила сегодня из Парижа... Умоляет вернуться! А вы... Вас даже в джунглях не водится!

Зебра. Могу и пантерой переодеться, мне тоже к лицу. Вы у меня еще не так запоете!

Раневская пятится назад, запинаясь о ноги Гаева, падает. Куча мала.
Раневская, пытаясь стряхнуть с себя Зебру, задевает странный шкаф. Верхняя его часть падает с пьедестала, издав оглушительный звон бьющегося стекла, хотя сделана из дерева.



Гаев. Э-э, предмет хоть и неодушевленный, но как-никак хрупкий. Поосторожнее!

Встает вместе с креслом, приклеившись к нему, заботливо водружает упавшую часть шкафа на место. Садится опять напротив.

Гаев. Да... Это вещь! Заслуженная. Приветствую твоё самоотверженное... вещание, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях... э-э... бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания и... и многое другое.

Зебра бросает барахтающуюся Раневскую с её веером и исчезает за стеной дома, откуда быстро показывается уже в костюме Пантеры. Подскакивает к шкафу с тыльной стороны. Открыв его сзади, трансформируется в ужасающего монстра, протягивает сквозь переднюю панель страшные окровавленные клешни, пытаясь дотянуться до Гаева. Гаев отшатывается и падает назад вместе с креслом. Пантера надвигается на него вместе со шкафом.

Гаев *(кричит)*. Помогите!

Пантера. Скажи, что эта вещь — отстой! И что её, как желтого в середину, — в геенну огненную!

Гаев. От чтой? От стой... Куда? Ну да, в середину...

Раневская наконец поднимается, подходит сзади к Гаеву, небрежно направляет веер, как пульт, в сторону шкафа, щелкает. Пантера застывает.

Пантера. Вот это ход! Ох уж эти барыни с их веерами. Пора развеять.

Она сбрасывает с себя шкаф и направляется к Варе.

Пантера. Все равно меня от вас тошнит. *(Проходя мимо Раневской, ловко выхватывает у неё веер.)*

Гаев опять садится перед тем же шкафом. Раневская присаживается на подлокотник его кресла. Варе с Лопахиным удается наконец установить лестницу.

Варя *(вполголоса)*. Ермолай Алексеич! Что же вы не говорите им, что имение будет продано двадцать второго августа?

Лопахин. А-а, бесполезно. Хотите, проверим? Значит так *(обращается к Раневской)*, вам русским языком говорят, что аукцион на носу. Если только решите теперь же отдать и сад, и землю в аренду под дачи, то тогда вы спасены и денег вам дадут сколько угодно.

Раневская *(не оборачиваясь к нему)*. Дачи и дачники — это так пошло, простите. *(Обмахивается другим веером, поменьше, вынутым из того же кармана брюк.)*

В а р я. Мамочка ничуть не изменилась.

Варя вскарабкивается на самый верх, расправляет что-то в руках и поднимает их вверх, держа большой прозрачный диск. Луч прожектора пронзает его.

В а р я. Вот и солнце взошло, не холодно. Какие чудесные деревья! Воздух! Скворцы поют! *(Раздаются пронзительные хищные крики птиц.)* Я буду работать. Мы будем вместе читать разные книги в осенние вечера. И перед нами откроется новый чудесный мир. *(Жалобный вой.)*

Все замирают, смотрят на диск. Пантера незаметно убегает.

Режиссер, тяжело поднявшись, идет прямо на сцену.

Р е ж и с с е р. Все это, конечно, довольно... э-э, забавно. Но мне бы хотелось узнать, почему не выполняются мои указания? К вашему сведению, это я, а не кто-то другой, еще вчера отдал распоряжение перекрасить платье Раневской. И мне еще предстоит разобраться, почему вместо покраски...

На д е ж д а отодвигается поглубже, в самую тень.

Р а н е в с к а я *(подходит к режиссеру)*. Возьмите... Вот вам. Серебра нет... Все равно, вот вам золотой.

В а р я. Ах, мамочка, дома людям есть нечего, один горох, а вы ему золотой. Нет, все, я уйду!

Все, заволновавшись, просят ее побыть еще немного.

Р а н е в с к а я. Что же со мной, глупой, делать? *(Лопихину.)* Голубчик, дадите еще займы? Да еще ярославская бабушка, очень, очень богатая графиня, дает тысяч пятнадцать-двадцать.

В а р я *(начинает спускаться с лестницы)*. У меня руки устали. Знали бы вы, что я там видела! Не поверите. Все. Солнце село. *(Садится на нижнюю ступеньку.)* И закатилось. *(Выкатывает диск за кулисы, встает и сама уходит вслед за ним.)*

Гаев достает из тумбы гитару, начинает наигрывать мелодию Riders on the Storm и поет вполголоса. Лопихин подпевает. К нему неслышно подкрадывается Пантера и присоединяется к пению, крутя хвостом.

Л о п а х и н. Знаете, как ваш сад страшен ночью! Стволы тускло отсвечивают, и кажется, что им снятся сны... Страшные сны обо всех, кто жил здесь сто, двести лет назад.

П а н т е р а. Скажу за Шарлотту, а то ее совсем затюкали и слова не дают. Нет сны, бат риэл. Много интрестинг... Слышать?

Раздается страшный протяжный вой.

Пантера. Слышать? Это войс оф Табаки! Шакала, что рыщет повсюду, всюду сеет раздор и...

Раневская. Господь с вами! Это Леонид Андреевич поет.

Пантера. Попал в стаю — лай не лай, а подвывайт... и хвостом повиляйт.

Собирается покрутить хвостом перед носом режиссера,
но тот срывается с места.

Режиссер (*орет что есть мочи*). Занавес!!!

Высовывается Фирс.

Фирс. Кого? Меня? Чего изволите, барин? Да... В прежние времена, двести лет назад, помню, вишню сушили, а потом мочили... мочили... Способ знали. (*Рывком вытягивается за кулисы.*)

Осветители (*кричат сверху*). А нам понравилось, Игорь Михалыч! Давайте дальше!

Раневская. Да подождите же! Я даже кофе ни единого раза не попила. Не подали. Ах, я не вынесу...

Пантера (*передразнивает*). «Ах, я не вынесу!» И не надо — другие, значит, вынесут... вас! За вас и так все другие делают. (*Посылает воздушные поцелуи осветителям.*) Я еще вернусь... Спасибо, спасибо! И не одна. Славная добрая барыня еще ответит, по какому такому праву она, в том числе, в своем Париже крокодилов ела. Не хотели, чтобы я стала вашей дочкой, — стану вашим кошмаром!

Режиссер. У меня что, нет помощника? Объявите, наконец, перерыв!

Режиссер, освещенный прожектором, взвивается во весь свой немаленький рост, и Надежда успевает заметить его диковатую усмешку — смесь удивления с торжеством, — чуть глумливую даже, которую он, однако, тут же прогоняет, потеряв ладонью подбородок. Он бросается за кулисы.

— И правда, неожиданно, — говорит она ему вдогонку.

Он не слышит, конечно.

Надежда тоже улыбается, изумленная результатом их с Зеброй шутейного разговора.

«Вроде бы он не расsvирепел. А если и расsvирепел, то как-то... весело».

Окончание в следующем номере.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

ЛИМОННИЦА В ЛИСТОПАДЕ



* * *

А мне об осени запомнится
И зимней ночью будет сниться,
Как в листопад впелелась лимонница,
Не понимая, что творится.

Казалось, в кружеве кружения —
Разгадка древнего секрета,
А было лишь надежд крушение —
Погожий день, осколок лета.

В полет ненужный увлекайте
Над палисадником и лавкой.
Зачем вы, мертвые, летаете,
А не приколоты булавкой?

Под ивой голой и заплаканной
Себя к прохладе пришивая,
Болталась лишнею заплатою,
Так непростительно живая.

Как против смерти преступление,
В вельветовом цилиндре тельца
Качало маятник биения
Огромное — с пылинку — сердце.

* * *

Сад. Из него не уйти —
Сумерки в нем или пламя.
Как головой ни крути,
Явь — это фото на память.

Лишь черно-белый канон —
Тени и света плетенка.
Жизнь, сколько ни экономь, —
Слишком короткая пленка.

В кадре: на четверть ведра
С дерева радости дичка.
Миг. Из груди навсегда
Вылетит птичка.



* * *

Мир кажется бессмысленной работой,
А не работой радостной творца:
Вот с елочных игрушек позолота
Летит, как с крыльев бабочек пыльца.
Как мне с зимою этой примириться?
Я вижу, только сон коснется век,
Как ворон над заснеженной страницей
Кружит и на лету глотает снег.
И клюв его распахнутый так жаден,
Он, как воронка, тянет белый свет.
Ты просишь: «Возвращайся, бога ради...» —
А сам ведь говорил, что Бога нет.

* * *

Дед замерзает в кофте
Грубой и шерстяной.
Койку ему готовьте!
Он не пойдет домой.
Сузился до палаты
Мир, что к молитвам глух.
Серые клочья ваты
Падают, словно пух,
Мягко скользят по полу,
Пыль собирая в ком...
Он головою голой
Молча кивнет — знаком
С тонкой полоской света,
Что, закрываясь, дверь
Вмиг поглотит, и это
Горше иных потерь.
Больше уже не спорит,
Дням потерявши счет,
Дед примеряет горе —
Впору ли, мол, не жмет?

* * *

Кислит «прощай», как спелая морошка.
Покой лежит меж ребер в гамаке —
Так отдыхает лунная дорожка
На черной опечаленной реке.





Как будто ты на полотне Куинджи
И все вокруг подбито ватой сна.
Роль созерцателя кем, как не им же,
Тебе на эту ночь отведена?

Давно обида, словно солнце, села.
И хорошо, что ненавязчив блеск,
Что волосы перетекают в сено
И сердца стук перетекает в плеск...

* * *

Незачем больше метаться, и,
Будто убит, лежи.
Праздника имитация.
Радости муляжи.

Все по счетам оплачено:
Описи, штемпеля.
Жизнь предлагает в складчину
Кладбище дембелям.

Крови речонка куцая —
Словно бы я не я —
Слабая реконструкция
Сердцебиения.

Небо играло в зарево,
Солнце зашло за грудь.
Если захочешь заново,
Помни одно: забудь.

* * *

Всерьез на невидимых нам лоскутках
Смыкаются крохотных пальцев замочки.
И спряталось солнце в тугих завитках
Ушных амарантовых раковин дочки.

И только попробован жизни пирог,
Присыпанный радости розовой стружкой,
На бархатном плечике тает перо.
Конечно же, ангел! Какая подушка?

Ни взрослые, ни трикотажный комбез
Еще не мешают с проворностью ленной
Срывать этикетку лазурных небес
С игрушечной, даренной Богом, Вселенной.

* * *

На миг к груди твоей припав,
Я слышу, как на глубине
Стучит колесами состав,
Разлуку предвещая мне.

А в нем, простецким счастьем жив,
Давно решивший: все фигня,
Спокойно дремлет пассажир,
Почти забывший про меня.

У губ его змеится хмель,
Подрагивает борода...
А поезд падает в тоннель —
Туда, откуда никуда.



Ирина ВИНОГРАДОВА

ОСЕНЬ. МУЖСКОЙ РОД

Р а с с к а з

Сентябрь. Петрович

У Петровича глаза — как давно не мытые окна. Через застарелые слои обиды и зависти мир видится тусклым, сальным.

— Глянь-ка, глянь, до чего девка бесстыжая! — кричит он кому-то невидимому. Но никто не глянет. Жена, не выдержав, ушла двадцать пять лет назад. Тихо ушла, почти сбежала, оставив Петровичу проходную «двушку», проваленное кресло и допотопный телевизор, перед которым он в выходные ест макароны с тушенкой, тычет в экран и кричит неизвестно кому:

— Не, ну ты глянь, проשמандовка какая!

Плохо Петровичу, все против него. Дети на улице визжат, словно их режут, сверху по потолку бух-бух-бух — соседский бандит малолетний бегаёт. А загазованность какая, а? Машинами весь двор заставили, деваться от них некуда. Пенсию не прибавляют, продукты дорожают, по телевизору черт-те что показывают. Гаврилыч, сосед снизу, новый пылесос приобрел. Говорит, сын подарил. Врет, ой врёт, подлюка! Нужен он сыночку, ха-ха! Сам, поди, накопил и купил. Богатенький. И откуда у него такие деньги?

Ни ночью, ни днем нет покоя бедному Петровичу, копится злоба, бурлит раздражение, сжимаются в нитку губы. Одна только радость осталась — жизнь людскую контролировать, документики чужие проверять. Не зря ж без малого пятьдесят лет на пропусках сидит. Сначала вахтером сидел, потом в охранника переименовали. А что? Охранником-то и получше будет, строгости больше, солидности.

Утром встал, заглотнул кофе, влез в форму — и вперед, навстречу счастью. Вот сейчас, сейчас! Первый угол налево, до конца дома прямо, перекресток, через площадь, к забору с табличкой «Санаторий “Подмосковные зори”».

Первым делом старый лис поводит носом — какая сегодня обстановка?

И, настороженно подпружинивая, — нырк к своей будочке, к опущенному шлагбауму, к заветной калиточке. Бейджик поправил, кепочку поглубже натянул. Ну, с Богом!

Хозяйство у Петровича солидное: бывшая дворянская усадьба с главным домом и пристройками, заросший парк с каскадом прудов, квакающими лягушками и пузатыми отдыхающими. Раньше дворяне жили, теперь начальники здоровье поправляют. «Поправляют они, как же, — хмыкает Петрович. — Утром лечатся, вечером калечатся». Уж он-то знает, сколько пустой стеклянной тары достают дворники из-под лавочек да из беседок.

Первыми с утра к будочке Петровича идут медсестры. Это неинтересно, разве что какая новенькая нарисуетя. Тогда он расправит сутулые плечи, раззаванесит взгляд, вскинется востроглазым орлом:

— А ваш пропуск?

Медсестричка его уже приготовила, в окошечко сует, думает, что этим дело закончится. Ой, ошибаешься, деточка!

— А документик с фотографией где? А вдруг пропуск не твой?

— Как же не мой? Мой это! — тревожится новенькая.

— Да? И что же, я на слово верить должен? Нет, девонька, ты меня пойми правильно, я ж не против тебя, я ж за порядок! Вот ты мне дай документик с фотографией, я сравню, в журнальчик запишу, и всё, иди себе, работай.

— Так что ж мне, каждый день с собой паспорт таскать? — горячится бестолковка, ища поддержки у собравшихся наблюдателей. Наблюдатели посмеиваются, но на помощь не идут. Многие в свое время переходили этот Рубикон со шлагбаумом.

— Зачем «каждый»? У меня глаз-алмаз. Раз гляну — навсегда запомню. Это ты, вертопрашка, ничего в голове не держишь. Только и умения — подолом трясти. Что так коротко, аж видать все? Замуж, что ли, приспичило? Да ты не кривись, не кривись, я ж по-доброму, по-отечески. Паспорт, говорю, где?

Говорит Петрович медленно, любуясь каждым словом, наслаждаясь эффектом от тихо произнесенной гадости, а после победоносно оглядывает зрителей: «Вот я какой!»

Шмыгая носом, барышня лезет в сумку за паспортом. Хитрец точно рассчитал — первый рабочий день, значит, документики с собой, потому как для заполнения всяких бумажек требуются. А в документиках — годик рождения, прописочка, семейное положеньеице. Все про всех знает Петрович!

После медсестер тянется вереница врачей, подъезжают заводделениями и главврач. Охранник торопится выйти, мнет в руках кепочку:

— Здравствуйте, Александр Платоныч! Как здоровьице? — Услужливо открывается заветная калиточка. «Ишь, как задыхается, поизносил сердце, видать. А нечего по бабам шляться! Дома сидеть надо, пень трухлявый!..» — злорадствует Петрович.

— Лидиванна, само очарование! Впрочем, как всегда! — Глазки щурятся в улыбке, ползут к ушам сморщенные щечки. «Селедка костлявая!



Шестьдесят, а все туда же, юбочка, причесочка, а мужика нет. Хе-хе-хе...»

Скучно Петровичу... Ну ничего! К полудню туристы-дуристы пойдут, вот тогда он отыграется! Вот тогда его козыри будут, полный расклад!

А пока почаевничать можно.

Нервно бьется о выщербленный край кружки «70 лет Октябрю» изящная вензелястая ложечка, густо мешает сладкий чай с щедрым впитанном коньячка. Последних друзей растерял с этим чертовым коньяком. Они-то больше по водочке, а ему коньяк подавай, да чтоб непременно дорогой. По ползарплаты растворяется в плотном медовом цвете. Говорят, это пристрастие у них в роду передается вместе с вензелястой ложечкой по мужской линии от прадеда какого-то...

— Добрый день! — Подошла парочка.

— Ну, допустим.

Ложечка ложится в карман. Все свое у Петровича с собой. Мало ли что.

— У вас тут такой замок великолепный, пустите посмотреть, пожалуйста. Мы, если что, и паспорта можем показать. Может, вам заплатить, как за билет? — смеется девочка.

— Что там смотреть-то? Дом как дом, в нем люди отдыхают. Заслуженно, между прочим, по путевочкам. Бархатный сезон, это ж понимать надо! — Указательный палец охранника взмывает к небу. — Чего вы всё ходите?

— Ну ведь памятник архитектуры, редкий образец русской готики. Да еще и золотая осень. Красиво, понимаете? — начинает оправдываться девочка. Парень сурово молчит. Петрович закипает: «Ах ты, хиппи недоделанный. Ишь, рожу скривил! Не уважаешь. Ладно, я тебя на место-то поставлю, сопля зеленая!»

— Паспорта есть, говоришь? Ну, давайте, показывайте... Тэ-э-эк... москвичи, значит? — Он раздевающим взглядом зыркает поверх расцарапанных стекол очков.

— Ага! — кивает путешественница.

— Приехали, значит. Тэ-э-эк... Светлана Андреевна... Год рождения... Это ж что же, восемнадцать тебе? Не рано замуж-то вышла?

— Я не замужем, — оторопело бормочет Светлана Андреевна.

— Не замужем, значит? Что ж, так живете? Нерасписанные?

— А вы вообще нормальный — такие вопросы задавать? — вскипает парень.

— А ты не ори, не ори на меня... Тэ-э-эк... Сергей Дмитриевич. Десять лет в армии, ну-ка?

— У него военная кафедра, — бросается на помощь Света.

— Кафедра! Знаем мы эту кафедру! Откупился! Все по благу! Всех купить хотите?! — голос срывается на визг. Дрожат на переносице очки, трясутся от негодования руки, красными бутонами расцветают щеки, уши, лысина. Кажется, даже кепка покрылась пунцовыми пятнами.

— Петровича не купишь! Накося — выкуси! — В нос Сереге тыкнулась курносая фи́га с черным ободком ногтя. В желтую опавшую листву плюхнулись паспорта.

— Да пошел ты! Придурок! — Парень сжал кулаки.

«Ну, давай, родной, давай, касатик!» — Петровича трясет от возбуждения. Сейчас начнется самое главное...

— Сережа, не заводись! Он больной, он старый! — Светка отчаянно оттаскивает друга от окошка, за которым беснуется охранник. Сорвалось.

— Замок им подавай! Взятку суют! Я вот позвоню сейчас куда следует! Данные-то есть! Все про вас знаю!

Парочка скрывается за поворотом, и грозный страж потихоньку успокаивается. Разливается по косточкам сладостная жижа радости, направляется на минутку лоб. Петрович всемогущ. Захочет — отфутболит, захочет — пропустит. Никто, слышите, никто не проскользнет мимо его рентгена! Господи, хорошо-то как! Он все знает, всех видит насквозь! Если что, и на главврача компроматик имеется, и на отдыхающего генералишку из люкса, и на завхоза-ворюгу. Он знает даже про дырку в заборе. Ну и что? Что там, за забором, смотреть? Ну жил какой-то граф... или князь?.. так тюкнули его в семнадцатом вместе с семьей.

Одного только не знает Петрович. Не всех тюкнули. Младшая дочка, открестившись от родства, смогла спасти хлипкую веточку потомков. Здесь же при кухне судомойкой и устроилась. Про родителя — молчок! Жила мышкой, шуршала тихохонько, дочку шепотом воспитала, а потом и внучка Левушку. Сидит теперь Лев Петрович, блюдет бывшее прадедово владение с главным домом и пристройками, охраняет заросший парк с каскадом прудов и ленивыми пузатыми отдыхающими, мешая вензелястой ложечкой чай с коньяком.

Говорят, пристрастие к коньяку у них в роду передается по мужской линии от прадеда какого-то...

Октябрь. Борис

Упрямо напомнила о себе выпитая на ночь кружка чая. Зов природы, мать ее. Надо вылезать из волглой, но нагретой постели и топать во двор. Боря вытянулся во всю длину кровати, прохрустел костями что-то тоскливое. Встал.

Октябрьское утро было холодным и до омерзения сырым. Зябкое солнце силилось высветить иней на траве, последние яблоки, покоцанный кусок рабицы перед соседским участком. «Залатать надо», — подумалось на ходу. Поскользнулся на ледышке у перевернувшегося ведра, успел перехватить на вылете крепкое словцо: «Могу же, когда хочу, елы-палы».

Рабочий день Бори сегодня начнется в девять. Приедут семейные, будут выбирать кобеля. Он маханул ножом по колбасе, кинул розовый кругляк на хлеб. Жуя половиной рта с оставшимися зубами, зашел в вольтер, сыпанул корм.

«Э-э-э, а Фросю-то затирают, схуднет — на продажу не пойдет», — отметил недовольно, но сыпать больше не стал, только других ногой подвинул. На, мол, ешь, Ефросинья.

Ирка, дура такая, к дочке уехала, помогать. В самый неподходящий момент смылась, жена называется! А он теперь мучайся, объясняйся с покупателями. Его это разве дело? Его дело — за кормами съездить, помет проверить, чтоб выбраковки не было, цену назначить. Остальное — женина забота. Вот о чем сейчас с ними разговаривать? С первых слов понятно, что в охранных собаках ни хрена не смыслят. Значит, надолго, значит, дурацкие вопросы будут задавать. Боре хочется Радку взять, до озера пройтись. Давно она не выходила со двора. Куда ж от щенков-то? А сейчас подросли, можно оставить детский сад, протрястись маленько.

Из-за угла вылезла квадратная тень, шурканули по щебенке колеса, хлопнули двери. Ну так и есть! Холеные, аж до блеска. Машина здоровая, дорогушная, сейчас будут: «Нет, мы вот так хотим, а потом этак, да с поворотом, да на тарелочке». Боря отодвинул просевшую калитку, досадливо причмокнул:

— Заходите, не бойтесь. Сразу привыкайте, осваивайтесь.

Выпустил кобельков. Гости к щенкам присматриваются, Боря за гостями наблюдает. А вроде ничего себе, без выкрутасов. Мужик на гриб смахивает — ноздреватый и широкий. Глаза глубоко засажены, на две отвертки похожи. Смотрит, как шурупы вворачивает. Бабенка гладкая, без форса. Вопросы вроде по делу задают, про будку, про фаберже, про прикус. Посоветовать им Фроську, хорошо бы зашла, но всем сейчас кобелей подавай, суки мало кому нужны. Рождались бы еще так же, а то нет, парней раз-два и обчелся, а девки плодятся, холеры.

Ближе к одиннадцати Боря затосковал. Тошней бутерброд переварился, и живот начал ворчать, как щен. Ноги в резиновых ботах подостыли, и от пяток холод, злобно вымораживая нутро, полез выше. А эти ходят, к себе прислушиваются, боятся ошибиться. Если б мужик курил, так все получше б было. Нет, бросил, говорит. Всю душу вымотали. Наконец выбрали, вроде как довольны. Последнее: «Если что, позвоним?» — «А как же, по любому вопросу двадцать пять часов в сутки». Спасибо-пожалуйста, руки пожали, мальчика в салон впихнули. Опять шурканули по щебенке колеса. Боря закрыл ворота, сел на крыльцо, подоткнув под зад цветастый половик, закурил.

Девки, девки, не хотят вас брать, дур таких. Три кобылы висят, никак не пристроишь, да кобелек еще один остался. Скоро до трусов объедят, если не разберут. Завязывать пора. Ни дохода, ни почета тебе, только псиной провонял, люди в магазине носы воротят. Свистнул Радку. Подошла. Умная, спокойная, морду на коленки опустила, вздохнула. От дыма сигаретного ноздрями ворочает, а не уходит.

— Ну что, расстроилась? Не переживай, елы-палы, в хорошие руки сынок попал. Да ты сама все знаешь-понимаешь.

Боря встал, разгладил пузыри штанов, почесал по лбу собаку.

— Пойду я, до почты дойду, пока Ирка не вернулась. Внучке деньги переведу — и в магазин. С меня рубец.

Эх, непутевая дочь у Бори. Прижила Викулю, растит теперь безотцовщиной. Ну, перевел двадцатку, а толку? Мужика-то деньгами не заменишь. А все одно приятно. Приедет Ирка, он ей: «Отвезла свои

соленья-варенья? Молодец. А я, пока ты шаманалась, заработал и двадцать косарей кинул на внучу».

...Суп варить надо. Ирка ведь усталая приедет, есть захочет. Горохового, ага. Значит, костей копченых купить. И Радке рубца. Обещал ведь. Да и заслужила, краса моя.

В кармане заголосил телефон.

— Алле! Да, один кобель остался. Почему бракованный? У меня брака нет, но кто-то должен был остаться. Вас ждет, наверно. Ну почему всё? Еще три суки. Ядреные, мастные. Цена? Вы ж с сайта? Все правильно. Через два часа? Да я на месте двадцать пять часов в сутки. От церкви направо, опять направо, вдоль красного забора, там колодец с деревянной крышкой. Я встречу.

Из поселкового отделения почты вышел уже не Боря, а Борис Николаевич. С чувством выполненного долга, выросшим самомнением и оставшимися деньгами зашел в магазин.

— Здорово, Любаш. Свесь-ка мне копчененьких для супчика. Сама выбери послаще. И для Радушки моей рубца пару кило... Слушай, Любаш, а говядинка со скидкой будет для старого друга?

— Чё, Борь, подфартило? — Любаша огладила круглую бабетту на макушке и привалилась к краю прилавка. Красивый он, Борис. Глаза голубые, понимающие. Вроде как и не намекает ни на что, а сердце печет, аж дырку в фартуке прожигает. Черт — не мужик. Подкормить бы, так вообще шикарным будет. Не ценит Ирка счастья своего. Радио, как на грех, поддакивает: «А я люблю женатого...»

«Эх, мне бы такого мужика, я б...» Не видит Боря, как колыхнулся халат на полном Любашинном бедре, как стиснулись до сладости ляжки. Рука в золотых кольцах покрутила завиток, выпавший из пышной бабетты, прошла по шее, груди, легла на стеклянную стойку.

— Да вроде разбирают мальцов. Вот, девок своих побаловал. Дочечке Галке на Вкусино воспитание перевел, а еще Радку порадовать хочу. Давай-ка кусочек, а?

Борис почесал затылок, виновато улыбнулся. Хватит на его долю Любаш. Кончился запал, сдох бобик. После одной такой сдобной красавицы жену еле вернул. Нет, братцы, Любаши Любашами, а без Ирки нет жизни.

Любаша понимающе вздохнула. Как мужику откажешь? Рубец, говядинка: «Боренька, как от себя отрезаю». Хотела было копченых костей похуже дать, Ирке живот помурожить, так и Боренька есть будет. На-ка свеженьких тебе, вчера вечером привезли.

Солнце наконец справилось с ночной наледью, включило дневной свет над поселком. Кепочка Бори вынырнула из магазина, помаячила перед окошком ларька. Звякнула поллитровочка. Обмыть пацанов — святое дело. Рюмашку до, рюмашку после сделки, остальное с Ирусей, за обедом.

Ох, девки, девки, сколько же вас родится! Главное, польза б какая была. Кобели-то на вес золота, никакой холерой не вытравишь потребу



в охранниках, а вас — как грязи. И жалко, и зло берет. Сами виноваты, плодитесь себе бездумно. Одно слово: суки.

Боря разрезал рубец, взвесил на руке, свистнул Радку. Ешь, красавица, чего уж.

А Викусе куклу купить надо. Красивую. Большую.

Ноябрь. Юрочка

— Юра, ты?

Он досадливо отшатнулся: «Как не вовремя». И почему не зашел в булочную, ведь собирался? Галя стояла напротив такая живая, лучистая, будто и не было этих двадцати лет полета на разных орбитах. А он небритый три дня... нет, больше. Под Галиным взглядом отчаянно обнажились засаленности пальто, проплешины каракулевого воротника, бахромы по низу брючин, разбитые ботинки. Юра надвинул поглубже выцветшую кепку.

— Здравствуй, Галя. Какими судьбами?

— Господи, Юрка, ты меня прости, но почему вот это? — Галя вывела руками овал в Юрин рост.

— Да как тебе сказать. То одно, то другое. Все что-то некогда, все дела...

— Какие дела, Юра?! Что с тобой?

— Ты чего ко мне привязалась? Шла по своим делам? Ну вот и иди себе! У меня все хорошо! И работа, и семья, и машину купил! Вот правильно мама говорила, не пара мы с тобой. Как была селом, так и осталась, что на уме, то и на языке. Никакого, понимаешь, воспитания!

...Юра все говорил, говорил, размахивал, разгорячившись, руками, плевал в разные стороны слова и слюну.

Съехала на бок кепка, обнажились жирные остатки волос, дразнясь, раскачивалась на последней нитке пуговица узкого пальто. Он не заметил, как ушла, испуганно оглядываясь, Галя, не видел, как шарахаются прохожие от разговаривающего с пустотой человека. Он ничего не видел.

«Нечего тебе туда смотреть», — говорила когда-то мама, и Юрочка покорно отходил от окна, через которое наблюдал за жизнью дворовых мальчишек.

«Всех замечать — важного человека пропустишь», — учил жизни папа, известный в городе адвокат.

Так Юрочка и жил до тридцати лет — не замечая кого не надо, не смотря куда не велено. Смотрел в книги, в экран телевизора, внутрь себя. В тридцать лет случайно столкнулся с Галей и прозрел. Два месяца изумленно таращился на солнце, провожал взглядом звенящие колокольчиками трамваи, наблюдал за воробьями в парке, за тем, как плавают желтые пятнышки в серых Галиных глазах, за розовой каплей подтаявшего щебета на ее губах.

«Чтобы я ее больше не видела», — сказала мама. «Не туда смотришь», — отрезал папа. И Юра опять послушно ослеп.

Он не увидел, как плакала Галя, через год не захотел смотреть, как хоронят мать, и не поехал на кладбище. Он закрывал глаза на то, как меняются цены и страна, проглядел собственное увольнение. Юра читал книжки и играл по вечерам с отцом в шахматы. А потом отца убили. Заказчиком не понравилось качество работы адвоката, и расплату произвели в грязном подъезде выстрелом в упор.

Юрочка потерялся. Он не знал, как стоять в очередях, как зарабатывать, как выживать... Кое-как, через сердобольных соседей, устроился почтальоном. Почувствовав себя важным, расцвел, стал проходя коситься на отражение в окнах. Чтобы лучше видеть, купил очки. Весело, прискоком перебежал от дома к дому, везя за собой черную сумку на колесиках. В сумке прыгали чьи-то письма, газеты и квитанции, на лице прыгала улыбка. Человечек в коричневом, не по росту пальто с широченными плечами и с пуговицами через одну каждое утро прошивал пунктиром двенадцать подъездов.

«Говно на ножках», — добродушно хмыкнул в спину сосед и, шурша полученной газетой, скрылся в квартире. Юрочка спиной почувствовал смачный гнилой мазок. Вышел во двор, медленно приблизился к луже. Вытянув шею, долго рассматривал широкую, доставшуюся от отца кепку, провел рукой по небритому подбородку, оскалился, внимательно изучил дырку от зуба. Протер грязным платком очки, засунул их в карман. Дошел до почты, сдал сумку и уволился.

Без очков он как-то скукожился, стал смотреть снизу вверх, заглядывая всем в глаза, словно что-то просил. Вскоре действительно стал просить. По десяточке. Когда отношения со спонсорами потяжелели на несколько сотен, перед попрошайкой стали закрывать двери. Но Юрочка этого не замечал. А потом он пропал. В милицию никто не заявлял, да и кому это надо — о чудиках всяких заботиться? В его квартире появились новые жильцы — нелюдимая пара с бульдожьими лицами... Про Юру забыли.

Через пару лет он вынырнул в коммуналке на окраине города, потертый и скособоченный, с пенсией по инвалидности.

Сейчас Юрочка шел из магазина, скукожившись под ноябрьским сопливым снегом, и предвкушал. Смести липкие крошки с клеенки на столе, поставить перед собой полную тарелку с макаронами, колбасой и горкой майонеза, водрузить на старую школьную подставку книжку «Три мушкетера» и наслаждаться.

Книжка была похожа на хозяина — засаленная снаружи, полная гордости и приключений внутри.

А тут Галя, как назло. Зараза. Так, Юра, спокойней, вспомни маму: «Нечего тебе туда смотреть!» Вот и ладненько. Смотреть на каждого — глаза испортишь.

Юрочка успокоился, развернул довольную улыбку с дыркой от зуба и пошел прискоком домой. К настоящей жизни.

Ирина РОДИОНОВА

РЯДОМЖИТЕЛЬ

Р а с с к а з

Утром Ольга проснулась не от будильника, а из-за хриплого мужского стона, который влетел в приоткрытую из-за духоты форточку. Словно толкнул кто-то под лопатки — дернулась, выключила вибрацию на мобильнике, подумала со вздохом, что до конца рабочей недели еще четыре дня. Решила, будто бы стон приснился — ну кто будет так протяжно и мучительно подвывать под окнами, да еще во вторник?.. Ладно бы в пятницу, когда по их проходному двору вереницами тянулись счастливые пошатывающиеся люди, с переменным успехом дрались и обнимались, неизбежно засыпали в неухоженных клумбах.

Ольга полежала немного, всматриваясь в белые солнечные лучи и пляску теней от живой тополиной листвы, чуть поеденной сентябрьской желтизной, прислушалась к храпу Виктора Васильевича. Тишина. Хрупкая, разрываемая, словно тонкий марлевый бинтик: вдалеке задрезжала тележка местной дворничихи, сколоченная из игрушечных колес и ржавого таза, зарыдал чужой ребенок, и на него заругалась бабушка или престарелая мама. Все утихло. Обычный спальный двор, утро как утро, ничего необычного. Просыпались пятиэтажки, просыпались в них такие вот Ольги, чистили зубы и сплевывали в ванну, ставили чайник на газ, резали масляно-резиновый дешевый сыр на бутерброды.

Стон повторился. Протянулся невыносимо громким, болезненным «а-а-а», и все остальные звуки будто бы пропали в нем, растворились. Ольга осторожно приподнялась, стараясь не разбудить Виктора Васильевича, и вышла на балкон.

С Виктором Васильевичем они жили вместе четыре или пять месяцев, и все это время он пытался устроиться на работу. Раньше шабашил на стройках или ремонтах, шпаклевал и штробил, клеил и подмазывал, но работы становилось все меньше, а пьянок — все больше. Родственники подсуетились, переписали квартиру на себя, чтобы не пропил и не потерял, и Виктор Васильевич с ними согласился. Правда, быстро оказался на улице, «проспишься — приходи». Ольга каждый день бегала на автобусную остановку, где Виктор Васильевич спал, и чувствовала перед ним вину. Как-то разговорились, она принесла пакет с пирожками: яйцо и лук, поджаристые золотые бока, даже остатки грибных с капустой прихватила,

самых любимых. Виктор Васильевич оказался человеком неплохим, начитанным даже, любил советскую фантастику и исторические романы, предлагал чего-нибудь у Ольги в квартире подшаманить, и она пригласила его домой. А потом разрешила не уходить: купила новую зубную щетку и тапки на резиновой подошве, бритвенный станок, набор инструментов. Пусть Виктор Васильевич сначала работу найдет и квартиру снимет, а потом и решает, что ему с Ольгой и всей жизнью своей делать. Хотя и спали они вдвоем на узкой кровати — у Виктора Васильевича, которому даже прежняя жизнь на улице была нипочем, от диванных подушек проснулся хондроз, — о какой-то там любви говорить было рано.

Ольга не давила: не хочет человек трудиться, как раб на галерах, за копейку и краюху серого хлеба, пусть выбирает себе дело по душе, подыскивает хорошенько, а она не обеднеет от лишней тарелки горохового супа или пачки горько-острых сосисок. Только вот не нравилось ей казенное, будто бы из криминальных сводок вырванное «сожитель», обычно таких сожителей по пьянке резали ножами, били бутылками по голове, избивали «на почве ревности»... Она называла Виктора Васильевича «рядомжителем» — так оно, по сути, и было, квартирант без квартплаты. Лишь иногда по утрам Ольгу одолевала тоска, слабая такая, мелочная: я на работу собираюсь, лицо умываю вечно холодной водой из-под крана, ползу в трамвайное депо, а Виктору Васильевичу так сладко спится, и ладно бы он хоть бульон куриный сварил или ведро мусорное вынес...

«Решила помочь — так помогай и не жалуйся», — думала Ольга, кутаясь в махровый халат и выглядывая с балкона на улицу. Она пыталась отыскать тот самый хриплый стон, но он спрятался то ли под листвой, то ли в урне из оцинкованного дырявого ведра, то ли в нестриженных кустах. Семь лет назад Ольга бросила курить, и стоять на балконе было скучно, а поэтому она сдернула тряпку с бельевой веревки и принялась тереть идеально чистое окно. Подумала после работы снова прогладить пару футболок и рубашек Виктора Васильевича, все его нехитрое богатство: надо же и на собеседования ходить.

Стон раздался справа, и Ольга едва не выронила тряпку на газон. Высунулась, пригляделась — голая площадка, серо-вонючий мусорный бак, худые кусты шиповника. Человек просил о помощи где-то там, слабо просил, будто уже не надеялся.

Ольга оделась наспех, бросила в сумку бутылку молока — за трамвайным управлением окотилась бездомная кошка, и девочки-диспетчеры приглядывали за хныкающими пушистыми комками под бетонной плитой, заранее пристраивали по родственникам, а Ольга поила котят молоком. На шерсть у нее была аллергия, а иначе жил бы с Виктором Васильевичем целый выводок бездомных... Нет, не жил бы — всюду грязь и мусор, шерстинки, с животными по-другому не выйдет. Вот если бы котята умели подметать за собой наполнитель из лотка, чистить валиком вязаные свитера и оттирать линолеум, то, может, Ольга и взяла бы себе питомца, даже не взглянув на аллергию.

Перед выходом Ольга не удержалась, сполоснула кружки и насухо вытерла раковину, прошла тряпкой по белоснежным блестящим кроссовкам. Ольге только-только исполнилось сорок пять, и в честь этого она

выбрала правый висок, постриглась короче обычного, а еще взяла эти самые кроссовки — мягкие и удобные, хоть и с дохло-пластиковым запахом, хоть и на вьетнамском рынке.

Улицу заливало солнце — еще желтое и теплое, почти летнее, и Ольга замешкалась в этом пятне света, подобрала чей-то окурок, сняла бахрому выцветших объявлений с доски, брезгливо вытерла руки спиртовыми салфетками. Огляделась и медленно пошла к мусорному баку, надеясь, что бедолаге уже кто-нибудь помог. Словно почуяв, стон позвал ее, поманил, и Ольга сорвалась почти на бег. Она обошла мусорку полукругом, сунулась лицом в колючие кусты, обшарила глазами пустырь перед девятиэтажкой и даже заглянула в сетчатый короб для пластиковых бутылок, заваленный обычными мусорными пакетами. Позвала. Стон не отзывался, словно они играли друг с другом, и Ольга нервно заглянула в телефон — опоздает ведь.

От вони горели глаза: бак медленно нагревался на солнце, и запах накрывал Ольгу плотным облаком. Она потопталась, позвала снова, разозлилась — уже добежала бы до автобуса, успела бы котят проведать и молока в блюдца налить, а по итогу возится рядом с мусоркой, как оборванка какая-то!

Стон сжалился и позвал ее. Прямиком из мусорного бака.

Ольга изумленно привстала на цыпочки — это что же, живого человека выбросили, как сломанный стул или прокисшую половину арбуза?.. Чернели и серели пакеты, запах стал невыносимым, и Ольга пальцами зажала ноздри, но поисков не бросила. Испугалась до судороги, до тупой боли под ребрами — вдруг там ребенок в целлофане, совсем крошечный и едва живой, бывали у них такие случаи, но... Но вряд ли ребенок звал бы таким низким грудным стоном, мужским, до боли знакомым Ольге по сотне таких же мужичков, как Виктор Васильевич, что сейчас беззаботно сопел на Ольгиной кровати.

— Эй! — крикнула она с такой силой, что с крышки канализационного люка взметнулись голуби. Во все стороны разлетелись корки сухого плесневелого хлеба.

В баке заворочались, завозились, выросло над обедками несчастное человеческое лицо. Ольга, которая уже успела поверить, что понемногу сходит с ума и не отличает выдумки от реальности, чуть выдохнула, пригляделась. Мужское лицо было серо-землистым и худосочным, с обвисшими складками кожи, все в морщинах. Красные глаза перекрывал распухший нос с багровой поперечной полосой, растекалась синева по набрякшим векам. Сильно запахло спиртом.

— Вы как? — спросила Ольга, не зная, что говорить в такой ситуации.

— Лучше всех, — плаксиво ответила голова и застонала. Мужчина зажмурился, запрокинул голову и снова спрятался в пакетах и мешках.

Ольгу замутило, она чуть отступила назад, продышалась.

— Вылезайте, — скомандовала она. — Вылезайте, и я вас до дома провожу, хоть умоетесь. Суп есть, вермишелевый, с вечера остался...

Тот все еще стонал, не слушал. Прошла минута, две — он копошился в баке, слабо барахтался и вздрагивал всем телом, но выбираться не спешил. Ольга повторила раз, другой, попробовала позвать соседа на



подмогу — сосед покосился, зашвырнул пакет в прожорливую помойную пасть, чудом не угодив бедняге по голове, и убежал. Ольга молила, требовала и грозила уйти, если несчастный мужичок тут же не выберется или хотя бы не попытается, но ей никто не ответил. Ольгу разрывало напополам — она опаздывает, безнадежно опаздывает! Но оставить пьяного и беззащитного мужика, когда вот-вот приедет мусоровоз, тоже было невозможно. Потому приходилось шагком за шагком подходить все ближе, кричать и просить, стучать кулаком в железный бок, чтобы хоть немного расшевелить несчастного.

— Вы что думаете, я за вами в грязь полезу? — разозлилась Ольга. И, подтянувшись на руках, забралась в мусорный бак.

Сначала со вздохом вспомнила про новые красовки. Потом провалилась в шелестящие, липкие пакеты едва ли не по пояс, услышала хруст стекла и пластика, подумала, сколько же тут ржавого, гнилого, опасного — одна малюсенькая царапина на щиколотке, воспаление, гангрена, ампутация... А мужичок и дальше будет стонать себе, прятаться от солнца и людей. Словно сквозь мутную ледяную воду, густой поток, Ольга пошла вперед, спускаясь все ниже и ниже. Казалось, что она вот-вот уйдет в мусорную кучу с головой, от тошноты зарябило в глазах, пакеты липли и цеплялись, вымазывали, вгрызались, и Ольга поняла, что вот-вот закричит.

Схватила мужичка за шиворот и потянула на себя, он отмахнулся, саданул по руке. Ольга аккуратно погладила его по седой макушке, и мужик выпучил водянистые глаза в красных прожилках, приоткрыл рот. Снова застонал, и стон его разнесся по улице, пролетел между домами и эхом вернулся к Ольге.

— Давайте помогу, — сказала она негромко.

И увидела на пальцах запекшуюся кровь с налипшими колючими волосинками. Это было уже слишком, чересчур, и Ольга закашлялась. Но разве у нее был выбор?..

Прохожие косились, выкручивали шеи и перешептывались, а слабый ветерок щедро бросал их насмешку в раскрасневшее Ольгино лицо. Она знала, как все выглядит: нормальная с виду соседка, всегда кивнет при встрече, молчаливая, правда, себе на уме, — и вдруг такое... Ранней весной Ольга первой выходила на субботник в резиновых перчатках до локтей и строительной маске от пыли, перемывала ступеньки в подъезде мыльной ароматной водой, а теперь вот по пояс стояла в баке, в зловонных гниющих отходах. Одна из бабулек, которые ни свет ни заря выползли на улицу в поисках сплетен, звучно сплюнула себе под ноги, будто бы Ольга вышла на улицу гольшом. Другая поддела:

— Чего, по ошибке суженого выкинула?.. — и сухо, скрипуче хихикнула в ответ на предложение помочь. Кто-то разворачивался на полдороге и шел искать для своего мусорного мешка ближайшую урну, кто-то пристально, как за телевизионной программой, следил с балкона, и от взглядов этих Ольге становилось едва ли не хуже, чем от грязи.

Мужичок представился Иваном и позволил ощупать, осмотреть свою разбитую голову. У него не было ни телефона, ни паспорта, ни внятного адреса. Воспаленные глаза, скрюченная спина с торчащими из-под рубашки острыми лопатками. Друзья-товарищи сунули побитого Ивана в помойку,

чтобы детей не пугать: те в школу с утра пойдут, а тут мужик окровавленный. Ольга кивнула, злясь от этой истории, помогла Ивану приподняться и чуть выволокла его из мешков и строительного мусора, груд рваного тряпья и сырой картофельной кожуры. Подтащила к краю, но мужичок тут же вырвался, обнял себя за плечи и закричал, по лицу прошла судорога. Дальше проводить свою спасательную операцию Ольга не решилась — уронит же человека, ударит о твердую, спрессованную в камень землю, этого только не хватало. Подумала сбежать и разбудить Виктора Васильевича, но сразу поняла, что в бак тот ни за что не полезет, да еще и поморщится от Ольгиного вида. Ей все мерещилось неподалеку нарастающее рычание мусоровоза, а поэтому только и оставалось, что стоять рядом с Иваном, грязной и несчастной, дожидаться бригаду скорой помощи.

— Мать Тереза, — буркнул Иван из бака и вытер слюнявые губы рукой.

— Вылезайте, — взмолилась Ольга, — я одна не справлюсь.

— Шла б ты...

Вместо этого Ольга нашла в сумке спиртовые салфетки и принялась осторожно вытирать искаженное болью лицо.

Больше они не разговаривали. Ольга вылезла и попыталась наспех оттереть белые кроссовки, принялась кружевам на блузке и едва не разрыдалась от отчаяния, вылила на себя весь флакончик обеззараживателя для рук. Скорую ждали бесконечно долго; Ольга написала начальнице покаянную эсэмэску, но начальница мигом перезвонила сама и заорала, что Ольга одним лишь существованием порочит звание человека честного, работающего, да и вообще человека в целом. Ольга пообещала приехать сразу, как только сможет.

— За трудовой книжкой! — рявкнула начальница и отшвырнула телефон. Правда отшвырнула — до Ольги донеслось, как он с хрустом шмякнулся о стол, как заматерилась пожилая и степенная их начальница, а потом все оборвалось. Сейчас будут вызывать кого-то, искать, надо же выпускать на линию ее, Ольгин, трамвай...

Всю жизнь она проработала в трамвайном управлении. Как на последнем курсе колледжа пришла на подработку, так и осталась — зимой коченела в промерзшей кабине, где печка ломалась или впустую дула прохладой; сколачивала ломиком выросший на рельсах лед. Летом Ольга плавила от солнца, слепла от белых горячих лучей, но работу свою все равно искренне любила. Любила разглядывать людей, работяг по утрам и в вечерний час пик, бесконечных старушек с сумками на колесиках, садоводов и детей, драки и объятия — людей, какими бы они ни были. Старалась всегда придержать дверь, если замечала бегуна с молитвенно вытянутой рукой, даже если потом получала по шапке за задержки. Любила пропускать пешеходов-черепак и скрипуче объявлять остановки — их небольшой городок можно было пешком обойти за полтора часа, но люди все равно ждали ее на остановках. Жаловались, что пропали крохотные желто-серые билетки, каждый из которых мог оказаться счастливым и тут же благополучно быть съеденным на удачу. Ольга и сама порой жевала безвкусные билеты, но ничего не исполнялось. Да и загадывать было особенно нечего, жизнь как жизнь, не болеет — и ладно.

Весь ее день проходил в бесконечном кольце тусклых рельсов. Осторожно, двери закрываются, осторожно, возьмите ребенка за руку... И смена, и жизнь Ольги проходили в коротких гудках водителям, в красно-зеленых светофорах, в стрелках и графиках, в городе, то сонном, то дождливым, то беспокойном. Ольга разглядывала новые вывески на домах, следила, как растут ларьки-магазинчики на остановках, мечтала выбежать на «бабушкином» базаре и купить ароматную дыньку с чужого огорода, но всегда проезжала мимо. Подсказок у нее просили редко, потому что за долгие годы здесь выучивали каждый маршрут наизусть.

И Ольге не верилось, что ее могут уволить. Покричат, лишат крохотных надбавок, поставят в долгую смену — приходишь на рассвете, а уходишь затемно, когда город спит, неподвижный и будто вырезанный из черно-серого картона. Такси к полуночи дорогое, и бредет Ольга по длинной пустой улице, рвет абрикосовые цветки с деревьев, растирает в руках и дышит до самого дома.

Скорая к помойке не торопилась — очередной алкаш, потерпит, раз уж угодил в беду. Когда наконец из машины показалась девочка-фельдшер, едва ли не вдвое младше самой Ольги, взгляд ее был красноречивее любых слов: нечем тебе, что ли, по утрам заниматься, только людей от чего-то важного отвлекать?.. Ольга подскочила, засуетилась, стыдясь своего вида и запаха. Иван застеснялся и вновь уполз куда-то на глубину.

— Родственник? — хмуро уточнила фельдшер.

— Нет, первый раз в жизни его вижу.

— Гринпис! — на удивление бодро выкрикнул Иван из мусорки. — Спасти сирых и убогих. Не надо мне врачей, не поеду никуда.

— У него голова разбита, сильно, — вмешалась Ольга. Ей показалось, что Иван вот-вот вскарабкается по стенке и сбежит, только бы не попадаться в руки врачам.

— Да на них же как на собаках заживает, барышня, — выкрикнул водитель, и голова его с зажатой в зубах сигаретой показалась из окошка. — Чего, каждому сопельки подтирать? Там, может, старушка от инсульта помирает, божий одуванчик, а мы этого чмыря полдня уговаривать будем.

— Вылазь! — рывкнула хрупкая фельдшер, смачивая ватные диски спиртом.

Иван жалобно загудел из бака, поклялся, что он живее всех живых, а Ольга просто от скуки выдумывает, чтобы на работу не ехать. Ну нравится ему просыпаться в необычных местах. Солнышко опять же светит, птички поют, и никаких травм психологических обитателям пятиэтажек из-за того, что валяется очередное тело под качелями или в песочнице...

— Божий одуванчик, — напомнил водитель, и Ольга застыдилась:

— Я его выволоку сейчас.

С балконов высовывались любопытные личики бабулек, сморщенные, с горящими глазами-блюдцами, а у помойки свершалось побоище. Иван голосил и брыкался, Ольга тянула его то за руки, то за ноги, фельдшер устало шелестела бумажками, водитель подбадривал криком. В конце концов все, включая зрителей, устали ждать, и Ивана выволокли в шесть рук, усадили на землю, пригвоздили взглядами. Фельдшер щедро полила его голову перекисью и замотала бинтами, водитель почти ласково пнул



мужичка, чтобы тот не голосил на весь двор. С балконов послышались жидкие аплодисменты, Ольга с пунцовыми щеками нашарила руку Ивана и уговаривала его успокоиться.

Фельдшер от души смазала чем-то пахучим его разбитое лицо, поводила пальцем перед глазами, уточнила про головокружение, тошноту. Спросила, поедет ли Иван в больницу.

— Нет! — радостно ответил тот, почесываясь от мази.

— Надо! — влезла Ольга. — Снимок сделать, вдруг сотрясение... Зачем мы вообще тогда врачей дергали, а? Раны бы и я помазала.

— Потому что ты дура, — искренне и с улыбкой ответил Иван.

— Да ничего ему не надо. — Фельдшер вздохнула и захлопнула чемоданчик. — Только бы побухать. Вы в следующий раз не трогайте, может, прокатится до свалки, поумнеет чуть-чуть.

— Да его переломает всего, когда в мусоровоз ссыплют, — утешил водитель. — И похоронят тебя, Иван Денисыч, на мусорном кладбище.

— А мне пофигу. — Кажется, Иван искренне наслаждался солнцем, вниманием и таблеткой от головной боли.

Скорая уехала, а Ольга осталась стоять над мужичком. Телефон в кармане вибрировал и вибрировал, начальница злилась, но Ольге отчего-то страшно было уходить: Иван снова заберется в бак, уютно устроится и задремлет. И тогда все Ольгины старания, все попытки вытащить его, спасти обернутся ничем.

— Чего там ты про суп говорила? — Иван поднял лицо, качнулись бесконечные складки его серой кожи. От запаха мази Ольга щурилась.

— Идем, только помоешься сначала...

Виктор Васильевич разозлился — мало того, что его разбудили, так еще и мужик какой-то в доме, пахучий, ехидный. Ольга первым делом вымылась под горячим душем, затолкала всю одежду, вплоть до нижнего белья, в машинку и замочила в тазу кроссовки. Иван разомлел, сопротивлялся, но Ольга все же затолкала его в ванную комнату. Заставила Виктора Васильевича подогреть суп в кастрюльке, нарезала хлеб, заветренный сыр и душистые помидоры.

— Что, теперь будем всякий сброд с помойки таскать? — выговаривал ей Виктор Васильевич.

— Поест и уйдет, перестань. Не бросать же его на улице...

Виктор Васильевич запыхтел, принялся Ольгу отчитывать, но она не слушала, в спешке собиралась на работу. Распаренный и в новеньком халате Виктора Васильевича, Иван показался на пороге барином, поправил сползший бинт и беззубо улыбнулся. Наскоро похлебал вермишелевый суп под внимательным взглядом Виктора Васильевича. Тот посматривал, чтобы новый знакомый чего-нибудь с кухни не уволок.

Ольга, облившись терпкими духами с головы до ног, подумала, что у нее теперь два рядомжителя и сразу на две проблемы больше.

— Невкусно, конечно, — с улыбкой проводил ее Иван, — но пожрал. Спасибо. Ты чего добрая-то такая, грехи замаливаешь?

— Вроде того, — кивнула Ольга и ушла.

На трамвай посадили девочку из бухгалтерии, и девочка эта высказала Ольге все, что думает про опоздания. Начальница покричала, пару

раз топнула ногой, и Ольга на все ее претензии согласно и виновато кивала, а потом попросила простить. Работников не хватало, платили копейку, а работать надо было много, присматривать то за одним, то за другим вагоном, таскать на горбу инструменты, защищать кондукторов в драках и склоках. В их депо или приходили на месяц, или оставались на всю жизнь, так что к обеду Ольга уже всю объявляла остановки и управлялась со скрипучими дверьми.

Иван не давал ей покоя, это его «грехи замаливаешь»... Ольга искренне считала, что человек всегда должен оставаться человеком, особенно по отношению к другим людям. Ну и что, если алкаш, — разве ж не человек? Если он лежит в сугробе, под занесенной снегом липой, без куртки, с разбитым лицом, то пусть себе умирает? Если его перемолотит в мусоровозе, задавит, завалит отходами, то и черт бы с ним? Если он сам себе не нужен, не заслуживает он, что ли...

Ольга выдохнула через дрожь, вытерла глаза. Опять разогрелась, побежала по протоптанной дорожке: все люди — братья, в заботе наша сила, нельзя быть равнодушным... И правда, мать Тереза, но такой она была не всегда. Еще в школе с приятелями забрасывали бомжа на тепло-трассе пустыми алюминиевыми банками и хохотали, когда тот ворчал и ворочался, пряча распухшее лицо...

А потом случился отец.

После ночной смены он пошел выпить с друзьями. Мать таких пооек не одобряла, отцу позволялось купить две полторашки и выпить их дома раз в неделю, в выходной, под присмотром, но так ему было скучно и одиноко. Раз за разом отец срывался. Мать колотила его кухонным полотенцем, а он счастливо мычал и жмурился, едва держась на ногах. В тот раз пили они с друзьями хорошо и долго, по дороге восвояси отец потерял телефон (который так и не нашли), долго плутал, но до дома не добрался. Упал в одном из соседних дворов, уснул на солнце у только что высаженного газона. Цветы там примерно через час поливала местная старушка, фыркала и косилась, но так к алкашу и не подошла. Пьяный и пьяный, проспится — уйдет.

Отца ударил инсульт. Отец мычал, полз, но люди обходили его стороной. Не помогли ни хорошая джинсовая куртка, ни чистые ботинки, ни гладко выбритое лицо — кто же будет к такому приглядываться, тем более что разило от отца на весь двор. Его палками цепляли дети, даже немного оцарапали лоб, но стоило отцу зашевелиться, как ребятня весело разбегалась прочь. Мать звонила и звонила ему, даже послала Ольгу на поиски, как чувствовала что-то, но при младшей дочери Яне волнения не показывала — чего беспокоиться девочке просто так.

Кто-то сердобольный вызвал врачей лишь к вечеру — ночлежки к тому времени отменили, вытрезвителей больше не было, а полиция на такие глупости не выезжала. Врачи скорой помощи остались единственными, кто вынужден был пропойцами заниматься. Отцу повезло, хотя он сам считал, что вышло ровно наоборот, — бригада приехала хорошая, врачихе хватило взгляда, чтобы распорядиться перекатить отца на носилки и отправить в реанимацию.



Отец выжил и много раз повторял затем, что лучше бы умер и не мучился. Тот день на жаре с инсультом не прошел для него даром — правая рука больше не слушалась, с работы его уволили под каким-то благовидным предлогом, он плохо говорил и долго соображал. Злился от этого, невнятно орал на мать, брызгал слюной, а мама сразу же начинала плакать.

Яну выслали в деревню к бабушке и деду, чтобы не травмировать ребенка психику, даже доучиться не дали в третьем классе. Ольга бы с радостью уехала вместе с ней — сначала ее успокаивала мысль, что папа выжил и идет на поправку, потом пришла бесконечная тоска, чувство вины. Отец превратился в желчного и брюзгливого мужика, почти не выходил из дома, не мылся, лишь часами смотрел в окно, как дряхлый старик. Ольга и мама пытались его растормошить — вывозили на природу, на шашлыки, подыскивали несложную работу, но отец отмахивался, говорил, что такая колода все равно никому не нужна, и хирел от одиночества, пустой квартиры, плохо слушающейся руки. Умер бы — и меньше проблем, зря его спасали.

Ольге казалось, что ее растили два отца — один, прежний, выпивающий и полный сил, представлялся почти сказкой, а нового отца любить и принимать было сложно, особенно когда он орал своим неразборчивым матом, швырял тарелками супа и сам упрямо пытался чистить картошку. Ему искали домашнее дело — то пропылесось, то ванну вымой, и он в неуклюжем новом теле старался, только бы стать нужным, но быстро отчаивался. Ольга пробовала с ним говорить, повторяла, что любит и таким, что ей неважно, переспрашивает она отца раз или три, что даже вот с такой рукой он ей нужен, необходим, что она будет помогать и бесконечно рада, что отца вытащили с того света.

Отец смотрел с прищуром, с недоверием, фыркал и отходил. Ольга все меньше верила своим словам, но скрывала это даже от самой себя.

Яну оставили в деревне, она ездила в школу за четыре километра, жила под присмотром и на содержании у бабушки с дедом. Звонила домой и кричала, что Ольгу любят больше, ей разрешили жить дома, а Яне нет, что у нее в городе друзья, кружки, любимая учительница, а в деревне невыносимо... Ольга с готовностью поменялась бы с ней местами, но мать стояла на своем: ты взрослая и ответственная, ты должна помогать в уходе за отцом. А Яне такие травмы ни к чему.

Тем летом Ольга впервые устроилась на подработку, косила траву и подметала улочки рядом с заводоуправлением, получала крохотную зарплату вместе с такими же «официально трудоустроенными школьниками», а отец сходил с ума от гнева. Он всегда был добытчиком, обеспечивал семью, он! Попытки отца работать ни к чему не привели, он все чаще пил и ввязывался в драки, его увольняли или просили написать по собственному. Мама чернела и горбилась, волокла всех на себе.

Ольга завидовала Яне и принесла эту зависть во взрослую жизнь — у Яны была нормальная семья, обычный муж и двое не менее обычных детей, мальчишки. Яна не видела отца чужаком, он для нее навсегда остался доинсультным, сложным и порой резковатым, но любящим. Другим. Отца в конце концов добил второй инсульт, а Ольга никак не могла избавиться от навязчивой мысли: если бы кто-то вызвал врачей сразу, как только отец упал, изменилось бы что-то? Превратился бы он в человека,

ненавидящего тебя за любую заботу, будто бы ты подчеркивала его немощность? Был ли у них хоть один шанс семью сохранить, уберечь маму, не увезти Яну так надолго, что она перестала быть родным человеком?

Ответов у Ольги не было, остались лишь воспоминания о двух отцах и огромное желание спасти ну хоть кого-нибудь. Помочь всем алкашам планеты она, конечно, не могла, да и отец вовсе не был алкоголиком (как минимум, до инсульта), но все равно упрямо радовалась и рядомжителю, и Ивану с пробитой головой. Они тоже были чьими-то сыновьями, отцами и так далее. Ольга упивалась своим великодушием и надеялась хоть немного искупить вину перед отцом.

Она не нашла его в тот день. А потом не подобрала слов, чтобы объяснить ему свою бесконечную и бескорыстную любовь, которой даже инсульт помешать был не в силах. Ольга винила себя за грубость, которой отвечала на его злость. За то, что он умер глубоко несчастным стариком, будучи совсем не старым человеком.

...Она едва не прищемила какую-то девчущку трамвайной дверью, вздрогнула, очнулась. Снова и снова она вспоминала об отце, думала и о своей слабости, и об искуплении, но в глубине души знала, что доброта ее не беспредельна, с изъязном. Ольга не просто завидовала Яне, она ненавидела ее и детей-мальчишек. Водила их в детский сад и школу, покупала игрушки, бесилась с ними в сестрином огороде, но все равно не любила, завидовала, завидовала, завидовала... У самой Ольги детей не было: старые, плохо залеченные болячки, невроты и — бесплодие. К тому же она становилась для ухажеров не женой, а матерью, и все они рано или поздно отправлялись на поиски возлюбленной, да просто бежали из-под опеки, как бунтующие подростки. Сначала Ольга мучилась, потом смирилась. Находила похожих на Виктора Васильевича — и ей становилось хорошо, все же мужская рука в доме, и им радость.

Все в выигрыше.

Но спокойствие, счастье так и не пришло. Ольге казалось: вот она поможет еще всего лишь одному, спасет, обогреет и отмоет, накормит — и простит себя за отца, и примет и смерть его, и крики... И перестанет внутри болеть. Каждый раз думала: «Ну вот. Все. Теперь точно в расчете». Но мужичок отмывался и уходил, а чувство не появлялось. Иногда она помогала одним и тем же по несколько раз, иногда они обносили её квартиру, она срывалась в истерики от грязи в идеально вычищенном доме, стискивала зубы и смирялась, но где же оно, спокойствие и прощение, где...

Она надеялась его все же обрести. Спасала других ради себя любимой и утешалась этим. Знала, что сегодня вечером ее будут ждать две пьяные физиономии — Виктор Валерьевич смахнет с себя роль придиричивого хозяина, выпьет с Иваном за знакомство, разговорится, а потом они сбегают за добавкой. Изгадят всю кухню, заблюют её ковры, и Ольга полночи будет растаскивать тела по углам, мыть и стирать, подсовывать тазики, а утром выставит Ивана за порог (слишком уж много рядомжителей для нее одной) и поедет на работу.

А пока она сидит в кабине трамвая, греется на будто бы летнем теплом солнце, улыбается пассажирам и везет всех туда, куда им нужно.

Надеясь рано или поздно добраться туда сама.

Сергей КОРЯКИН

ГОВОРЯЩИЕ ОТРАЖЕНИЯ

Миниатюры

Ваза

На столе одиноко стояла ваза. Несмотря на свою внешнюю привлекательность, внутри она была совершенно пуста. Ваза чувствовала, что ей чего-то недостает, но никак не могла понять, чего именно. Однажды она ощутила, как нечто прекрасное и ароматное наполнило ее. Изящная снаружи и прекрасная внутри — казалось, она постигла смысл бытия. Однако ее радость была недолгой: на исходе третьего дня ваза вдруг обнаружила, что ее внутренняя красота увядает.

— Разве это справедливо? — в сердцах вопрошала она. — Подарить высшее счастье и так скоро забрать его обратно?!

На седьмой день засохший цветок вынули, а воду вылили. Но ваза больше не ощущала себя пустой, как прежде. Она узнала о своем предназначении, и теперь ее переполняло предвкушение счастья.

Доска и гвоздь

Лежит на дороге ржавый гвоздь. Судьба его согнула пополам и выбросила за ворота.

— А вот в молодости, — с горечью вспоминает он, — я был прямой, статный и ни перед кем не кланялся. Даже когда пришло время связать свою жизнь с молодой сосновой доской, ни разу не согнулся под ударами молотка, а весь как есть вошел в ее ароматную древесину!

Быстро пролетело время, половая доска высохла, сторбилась, между ней и гвоздем все чаще стало возникать трение. Они то и дело бранились, досаждая жильцам дома своим скрипом. Однажды хозяину надоели их постоянные ссоры, поэтому он решил постелить новый пол, а старые доски отправить в топку.

— Ну вот и все, — захихикал гвоздь, — скоро твоя половая жизнь закончится и тебя сожгут в печи. Дерево не железо! А для меня хозяин

наверняка приготовил молодую упругую подругу. Уж я сумею надолго прижать ее к полу!

Вскоре пришли плотники и вскрыли скрипучий пол. В тот же вечер сухая доска все свое тепло отдала родному дому, вспыхнув в печи, словно порох. А вот старому брюзге дела в хозяйстве не нашлось. Его место заняли новые блестящие гвозди.

С тех пор он ржавеет на дороге у больших ворот, норовя проколоть проезжающее рядом колесо или впиться в проходящий мимо ботинок, чтобы поведать тому свою горькую историю. Только люди, увидев на дороге ржавый гвоздь, обходят его стороной.

А старая доска вместе с дымом отправилась через печную трубу прямо под облака, и ей сверху хорошо видно, что стало с тем гвоздем.

Записная книжка

Жила на свете одна записная книжка. Все ее странички были исписаны, и лишь последняя оставалась незаполненной.

— Пришло время подвести итог прожитому, — вздохнула книжка и решила поведать свою историю простому карандашу, время от времени ночевавшему в ее объятиях.

— Каждой клеточкой своего существа я чувствовала, что моя жизнь наполнялась содержанием, — начала она свою исповедь. — Конечно, в нем были ошибки, помарки, вычеркнутые телефонные номера, даже вырванные сгоряча страницы. Но были также и светлые полосы счастья, сердечки со стрелами Амура, стихи, планы на будущее...

В конце концов, не имеет значения, каким именно содержанием заполнены страницы нашей жизни, зачастую это зависит не от нас с вами. Важно лишь то, что это содержание там присутствует!

Эти слова записной книжки карандаш вывел на ее последней странице, поставив после них аккуратную точку.

Зеленый карандаш

Жил на свете зеленый карандаш. Он был молод, и пока еще ни одной точилке не удалось снять с него с него стружку. И потому знал карандаш о своем цвете лишь понаслышке. И снилось часто ему, что он не тот, кто есть, что внутри у него стоит волшебный стержень, который может рисовать любым цветом. И рисовал часто зеленый карандаш во сне радугу, а когда просыпался и рассказывал об этом своим товарищам, то его никто не понимал.

Вообще этот карандаш чувствовал себя не очень уютно в компании с другими карандашами. Он много переживал из-за того, что не такой, как все вокруг, и поэтому прятался от художника на дне коробки.

Но одна немолодая точилка, заметив это, сказала зеленому карандашу:

— В свое время я вскружила голову многим, но сейчас я постарела и могу помочь тебе разве что советом.



— Понимаешь, — зеленый карандаш доверительно придвинулся к точилке, — я чувствую, что не такой, как остальные, я отличаюсь от других карандашей. Мне скучно с ними в одной коробке, мы не понимаем друг друга. Представляешь, у них совершенно нет фантазии! Они все время думают лишь о своем цвете, и только! Я же верю, что создан для чего-то большего — для радуги!

— Я уже встречала похожих на тебя, — издали начала точилка. — Те карандаши, напротив, очень гордились тем, что только они могут рисовать прекрасным зеленым цветом. «Цветом самой жизни», как они любили выражаться, и никто и ничто не могло разубедить их в этом. Более того, у любого карандаша в твоём наборе есть собственный цвет, — заметила точилка, — и в этом ты точно не одинок. Не одинок, — нежным шепотом повторила она.

У молодого карандаша бешено заколотилось сердце и закружилась от волнения голова. А опытная точилка сделала свое дело так хорошо, как только умела.

Когда опустилась ночь и карандаш погрузился в сон, он не полетел по обыкновению в небо изображать радугу. Вместо этого он опустился на землю и стал рисовать поля и травы, кустарники и деревья.

Когда утром коробка открылась и в нее проскользнул первый лучик солнца, остро отточенный зеленый карандаш уже был готов начать свою жизнь с чистого листа.

Зубная щетка и мыло

Одна изящная зубная щетка жила в красивой, сверкающей чистотой ванной комнате. Прямо перед ней висело зеркало, в котором она постоянно собой любовалась. Кроме своего отражения, ее мало что интересовало, и как раз поэтому она была вполне счастлива.

Немного ниже лежал кусок мыла, больше всего на свете любившего стирки. Когда им случалось оказаться рядом, у зубной щетки, дружившей с мятной пастой, от запаха хозяйственного мыла случалась мигрень.

Время шло, но она почти не менялась, оставаясь все такой же стройной. Лишь щетинки, похожие на ресницы модниц, еще круче изгибались в стороны. А вот мыло, утратив топорную угловатость, изменилось и приобрело изящную форму песочных часов.

— Все-таки общение с людьми пошло тебе на пользу! — бросила свысока зубная щетка. — Тебя словно вылепили заново, и не узнать, право. Но этот запах... Фу, запах все тот же!

Вскоре от большого куска остался лишь обмылок.

— Похоже, это моя последняя стирка, — вздохнуло мыло. — Но все же я счастливо, что смогло выполнить свое жизненное предназначение!

— У нас с тобой разные предназначения, — любуясь собой в зеркале, съязвила зубная щетка.

— А я считаю, неважно, какую полочку мы занимаем в ванной комнате, у всех нас общая цель — чистота! — выкрикнул напоследок обмылок и нырнул в воду, превратившись в мыльную пену.

Клубок

Жил-был на свете клубок ниток. Внешний его конец торчал наружу, а внутренний скрывался в беспросветной глубине. И сколько бы клубок ни силился представить, как выглядит его невидимое начало, у него ничего не выходило.

Друзья предостерегали:

— Не стоит глубоко копаться в себе. Внутри любого из нас столько узелков навязано, что за всю жизнь не распутать!

Отец настойчиво учил:

— Гордость клубка не внутри, а снаружи, и чем длиннее его нить, тем от него больше пользы.

Мать, напротив, мягко наставляла:

— Неважно, сколько места ты занимаешь в общей корзине, сынок. Все твои достижения вращаются вокруг того малого, что скрыто у тебя в сердцевине!

Но клубок сам решил распутать эту головоломку. Он привязал свою нить к корзине, стоявшей на столе, и смело прыгнул вниз. Но тут чьи-то руки подняли его, бережно смотали и положили обратно в корзинку. Его падение видели многие, поэтому возвращение было равносильно позору. Отчаянный клубок не сдавался, раз за разом он выбирался из родного гнезда, падал на пол, стараясь размотаться как можно больше, но его снова и снова возвращали назад.

За этим внимательно наблюдали две стальные спицы. После очередного раза они заговорили с клубком:

— Послушай, шарообразный, — сказала первая, — незачем изобретать велосипед, всякий раз рискуя жизнью, если есть старый проверенный способ найти то, что ты ищешь.

— Мы можем помочь, но тебе придется заплатить за это самым дорогим, что у тебя есть, — выдвинула условие вторая спица.

— Не связывайся с ними, потом не выпутаешься! — советовали все вокруг.

Но клубок согласился.

— Отлично, — холодно сказали спицы, — завтра мы придем за тобой.

— Ты круглый дурак! — хором вскричали друзья. — Они же разматывают тебя так, что мать родная не узнает!

— Сынок, может, еще не поздно укрыться на дне корзины? — забеспокоилась мать.

— Он сделал свой выбор, — заключил отец. — И возможно, еще не все потеряно. По крайней мере, несмотря на всю его мягкость, у него все же есть характер.

Клубок проснулся, когда все его сородичи мирно спали. Несмотря на проникший в душу страх, он ощутил, что нить его судьбы оказалась в чьих-то заботливых руках.

Теперь каждый вечер две стальные спицы мелькали в своем магическом танце, и клубок, все больше разматываясь, ощущал, как уходит из него жизнь.



Клубок становился все меньше, а его нить — все короче. Он уже не мог точно сказать, что с ним было вчера, но зато хорошо помнил, что делал когда-то в детстве.

Пришел день, когда его не стало.

— Все-таки правы были друзья насчет этих спиц, — вздохнул клубок. — Я умираю!

— Нет, не умираешь! — добродушно рассмеялись спицы. — Жизнь так устроена, что всякий конец всегда оборачивается началом. Просто ты поменял форму, и сейчас перед нами не клубок, а роскошный шарф, и впереди тебя ждет новая интересная жизнь.

Лампочка

Жила-была на свете самая обыкновенная лампочка, и ее мощности едва хватало на освещение небольшой комнаты. Но давно угасшая прабабка клялась своей правнучке, что они якобы ведут свой род аж от самого Солнца!

Когда ночью насекомые обжигались о горячую лампочку, та старалась не замечать эти «малые жертвы».

— Такова моя высшая природа, — самонадеянно рассуждала она. — Просто не всем дано ее постичь, вот и сгорают в первую очередь из-за своего невежества. Когда же приходит ночь, то не Солнце, а я освещаю все вокруг, значит, я делаю то, что даже Солнцу не под силу! Не может ведь оно светить ночью!

Так думала о себе самая обычная лампочка, накаляясь от гордости все сильнее. И однажды ее спираль, не выдержав напряжения, перегорела.

«Все, — с ужасом подумала лампочка, — наступил конец света!»

Но утром, как всегда, взошло Солнце, а когда наступила ночь, вспыхнули миллионы точно таких же электрических лампочек, и у всех в головах было одно и то же.

Малек

Малек открыл глаза и почти сразу произнес вслух:

— Вот бы вырваться отсюда! Снаружи наверняка есть очень много интересного, а здесь все так скучно и уныло...

— И чем же тебе здесь не нравится? — спросила крупная рыбка с широким лбом.

— Ой, ну как ты можешь этого не понимать! — нетерпеливо отозвался малек. — Аквариум — это ведь не весь мир. Мир — он огромный! Он... — Малек от возбуждения заметался по ограниченному водному пространству. — Он наверняка больше этого аквариума, понимаешь?!

— И что с того? — флегматично отозвался толстолобик.

— Как — что?! Это значит, нам непременно надо побывать там! — Малек ткнул плавником, указывая за стекло.

Его товарищ хмыкнул, старательно выдергивая травинку из песка.

— Вот ты только представь, что где-то на свете есть аквариум намного больше нашего! — не унимался малек.

— И что? В нем просто живет больше рыб, и они наверняка все злые, — допустил толстолобик.

— Ну а разве ты не хотел бы поговорить с ними... — Малек на секунду задумался и сказал то, что первое пришло в его рыбью голову: — О жизни?

— О жизни в их аквариуме? — с иронией уточнил толстолобик.

Малек поморщился, сиюсь подобрать аргументы в свою пользу, но, не найдя ничего весомого, сдался:

— Ну да, хотя бы об этом!

Толстолобик медленно открыл рот и выпустил пузырек воздуха, который тут же устремился к поверхности. Какое-то время они оба завороженно наблюдали за движением блестящего шарика.

— Зачем мне чужие проблемы? Нам вовремя насыпают еду, можно дремать, можно плавать, — размеренно произнося слова, вывел толстолобик.

— Но аквариум ограничен! — выпалил малек, стряхивая с себя опеменение, вызванное движением серебристого пузырька.

— Ну да, вероятно, ограничен, — ровно согласился толстолобик. — Но я этого не вижу и все равно могу плавать. А скоро, возможно, к нам подсадят парочку девчонок, — оживился он, — и тогда вообще будет полный порядок!

Толстолобик мечтательно прикрыл глаза и активнее задвигал плавниками.

— Ай, с тобой невозможно говорить! — не выдержав, взорвался малек. — Ты пойми, где-то там, далеко, должно быть чудесное место, где много, очень много воды. Это место, может, даже больше, чем эта комната, в нем нет привычных рамок, — малек метнул хвостом камешек, который звонко отскочил от стекла аквариума, — и потому все рыбы там счастливы! Вот бы попасть туда...

— Рыбий рай, — скептически заключил толстолобик, пережевывая выдернутую зеленую травинку. — Зачем спешить туда, куда мы все рано или поздно попадем через темные тоннели и очистные сооружения городской канализации?

— Да, черт возьми, попадем, — огрызнулся малек. — Но я не хочу оказаться там в виде маленькой дохлой рыбки, я хочу резвиться в большой воде живой и полной сил рыбиной!

— Знаешь, вообще-то, я тоже раньше был маленьким, как и ты, — с участием сообщил толстолобик своему новому, внешне чем-то похожему на него самому другу. — Мой первый аквариум был вдвое меньше этого, но я вырос, и вот я здесь. И поскольку я все еще расту, то, я думаю, мой следующий аквариум будет еще больше, а там — кто знает?.. В общем, посмотри канал Discovery завтра ровно в восемь, — посоветовал толстолобик, — это на многое откроет тебе глаза. Человек, что живет за стеклом, любит смотреть передачи про водный мир. Наш человек, — засыпая, подвел он итог.





Вечером следующего дня за стеклом аквариума включился большой голубой экран... И — о чудо! Всего за час малек увидел то, о чем мечтал всю свою короткую жизнь.

— Я знал! Я чувствовал это, — вопил он от радости. — Я верил, что оно существует: огромное-огромное, голубое-голубое! — Маленькая рыбка ликовала, высоко выпрыгивая из воды, словно дельфин. — И надо же, оно здесь, сразу за этим стеклом, так близко, что плавником можно дотянуться!

После третьего прыжка малек выпал из аквариума на ковер, где продолжал какое-то время с энтузиазмом трепыхаться, медленно задыхаясь без воды.

На следующий день в аквариум запустили двух серебристых рыбок.

«Вот счастье-то привалило! — подумал про себя толстолобик, потирая плавники. — Только малька жаль. Веселый был, хотя и глупый».

Монетка

Жила-была на свете маленькая медная монетка. Она кочевала из ладони в ладонь, из кошелька в кошелек, сколько себя помнила, и этим, как и все другие монеты, страсть как гордилась. Люди, пересчитывающие свои сбережения, всегда относились к ней с должным уважением. Монетка знала себе цену и потому не сильно расстраивалась, когда переходила от продавца к покупателю, от покупателя — к продавцу. Ей не было дела до других монет, но она была не прочь позвенеть с ними в одном кошельке за компанию.

«Я совершенна от природы, — искренне думала про себя монетка, — потому все ко мне и относятся с таким вниманием и почтением. К кому бы я ни попала в руки, я оказываюсь нужна каждому».

Но однажды, очутившись в детской ладошке, монетка не отправилась привычно в кошелек. Вместо этого она полетела в глубокий колодец. Пару раз дзинькнув о его холодные каменные стены, она упала на самое дно и оказалась среди таких же тусклых кругляшей.

— Привет, — невесело поздоровался с маленькой монеткой медный пятак. — Слушай правила. Если ты попросишь старый колодец, он выполнит желание человека, что бросил тебя сюда, но ты навсегда останешься здесь в качестве платы. Однако, — выдержав длинную паузу, добавил пятак, — век монеты долог, и большинство из нас молчат, надеясь когда-нибудь вернуться наверх и снова оказаться в чьем-нибудь кошельке.

Вспомнив тепло детской ладошки, маленькая монетка решила сообщить колодцу желание ребенка.

Гордые монеты, не пожелавшие передать колодцу просьбы людей, с грустью вздыхают в темноте и почти каждую ночь мучаются бессонницей. Зато у нашей монетки глубокий и здоровый сон, потому что она на самом дне колодца приобрела то, что не имеет цены, то, что за деньги не купишь. Ей снится крепкая семья малыша, пожелавшего счастья повздорившим родителям.

Печь

У одной электропечи было три конфорки. Они, как водится, были разного размера: маленькая использовалась людьми чаще остальных, поскольку семья, которой служила печь, была небольшой. Среднюю включали реже, когда нужно было приготовить больше еды, например, если в дом приходили гости. А вот самая большая конфорка была совсем не востребована и использовалась лишь как подставка для уже приготовленной пищи.

Зная это, печь ощущала себя неполноценной.

— Как же так! — горячилась она. — Моя самая большая и мощная плитка, моя сила и моя гордость, простаивает без дела! А работают лишь те, которые и включать-то стыдно! Как же можно на них приготовить что-нибудь по-настоящему вкусное?

— Да не кипятись ты, — успокаивал ее холодильник.

Несмотря на внешнюю непохожесть, в жизни они отлично дополняли друг друга.

— Я вот тоже работаю не на полную мощность, а вполне мог бы быть морозильной камерой!

Но печь не унималась:

— Почему при моем потенциале я должна довольствоваться малым?! Если в моей жизни ничего не поменяется, то я не смогу полностью раскрыться, не смогу самореализоваться!

— Да остынь ты уже, а то весь борщ выкипит! — осадил ее холодильник.

— Тебе хорошо! — тут же обиделась печь. — По тебе никогда не скажешь, что у тебя внутри!

— Почему не скажешь? — улыбаясь, возразил холодильник. — У меня внутри твой борщ!

После этих слов они оба рассмеялись.

И однажды, под Рождество, вскоре после того, как в холодильнике появился большой гусь, печь наконец смогла полностью раскрыть свой потенциал. Оказалось, что в ее недрах была сокрыта духовка, в которой она приготовила свое самое вкусное блюдо.

Поезд

Бежали по рельсам вагоны, дружно ударяясь колесами о стыки рельсов. Но как только состав остановился на станции, они тут же заспорили о том, кто из них важнее.

Первый вагон заявил:

— Я первый из вас, а вы все едете за мной следом, и, куда бы я ни свернул, вы все непременно поспешите туда же!

Последний вагон резонно возразил ему:

— Так-то оно так, но, когда мы поедem обратно, уже ты станешь последним!



Вагон-ресторан, праздно зевнув, заметил:

— Лично мне все равно, кто из вас первый и кто последний. Я — в середине состава, и все пассажиры в итоге стремятся попасть именно ко мне, в какую бы сторону ни шел поезд.

Сказать свое слово захотели и уборные, но вагоны велели им захлопнуться, поэтому они стояли мрачные, напряженно ожидая отправления.

— Зато в нас, — простодушно зашумел плацкارت, — царит жизнь! Пассажиры, не переставая, спуют туда-сюда. Движение почище, чем в общественном транспорте, будет: кто-то входит, кто-то выходит, кто-то спускается, кто-то поднимается, и так всю дорогу!

— Ха, плацкарт — бедный родственник, гольтьба, одним словом. Вся жизнь на виду, — презрительно отгораживаясь массивной дверью, пробасили купейные вагоны.

— Я вас умоляю! — вмешалась в спор автосцепка. — Кто как заплатил, тот так и едет: кто — в купе, кто — в плацкарте, а кто «зайцем» между вагонами всю дорогу трясется.

Локомотив дал один долгий гудок, оборвав разом все споры. Поезд тронулся. Некоторое время спустя наконец получили право голоса уборные, но их уже никто не слушал. Поезд набирал скорость, колеса вновь поймали привычный ритм, настраивающий весь состав на рабочий лад.

Размышления единицы

— Говорят, есть на свете одно волшебное место, где живут одни лишь нули, и ничего другого там нет. То есть совсем ничего: одни нули, и точка. В этом месте возможно все и ничего, оно само, это место, как бы есть, и его как бы нет. Найти его мечтает каждый, ведь если даже к самой заурядной единице, такой, как я, к примеру, добавить побольше нулей, то из обычной шашки она разом может стать дамкой.

Многие говорят: «Зачем тебе это *ничто*, ведь его вроде как не существует?» Но я-то знаю, что оно не существует лишь без меня, а вместе с ним мы — сила! И какой смысл в этом случае трудиться, пыжиться, тратить свое время, стараться из единицы превратиться в двойку, а потом в тройку и так далее, когда можно сразу стать бесконечным числом?!

С другой стороны, что, если это место мне никогда не найти? Ведь оно даже не далеко, его как бы вообще нет! И есть вероятность навсегда остаться единицей, в то время как другие цифры уверенно перевалят за десяток, заработав честным трудом свой первый нуль. Конечно, это случится не сразу, но случится точно, поскольку случалось уже не раз, а значит, и в этот раз наверняка будет так же.

Быть единицей несладко, это да: нужно много трудиться, чтобы достичь в жизни хоть чего-то. Но знаете, быть нулем еще хуже, потому что неважно, один ты нуль или сто нулей, ты — нуль, и точка.

Игорь КОРНИЕНКО

**ЮМБА,
или РАЗБУЖЕННЫЕ СНЫ**

Р а с с к а з

1.

Из темноты в темноту. Именно так просыпалась Люба уже много ночей. Десятки лет подряд... А сегодня вдруг бац — и свет.

Из света в темноту. Только и темнота теперь другая — осветленная, подумала Люба, сидя на краешке кровати. Проснулась, быстро выбралась из жары одеяла в жару комнаты, села и проверила, точно ли она у себя да не спит ли. Ущипнула себя, протерла глаза. Тихо, чтобы не разбудить домашних, рассмеялась, чего не делала так честно, от души, уже тоже очень давно.

— Осветленная! — хихикнула Люба, и тьма — привычная, непроглядная, с разбитым всю жизнь фонарем за окном — рассеялась, отступила.

Хотя на часах, как всегда при ее пробуждении — как и вчера, и много-много дней, лет подряд, — четыре утра, час самоубийц. Четыре — ее любимое число со школы: вечная хорошистка и родилась четвертого апреля. А еще каждый сороковой россиянин — самоубийца. Люба изучала этот вопрос, совсем не думая о суициде — так, успокаивала себя, ради интереса, — и вот уже который месяц считает прохожих, всякий раз заканчивая отсчет на себе: сорок.

Сегодня был свет — и все изменилось. Конечно же, не все, но что-то. Люба поерзала на краю кровати. «04:01», — подмигивали часы, что тоже было странно: обычно они нервно пульсировали, беззвучно тарабанили, словно цифры пытались разбить стекло, вырваться и поколотить Любу...

— Это все сон. Сон принес перемены.

Люба смотрит по сторонам в поиске новых доказательств — и вот, пожалуйста: отражение в зеркале, вечно отпугивавшее белой, расплывшейся во мгле массой, обрело черты, углы, форму...

— Люба Тумба, — шепот, — давай колись, что там было во сне?..

Не ответила Люба зеркальному двойнику, плюхнулась опять лицом в подушку, пропахшую ее хвойным шампунем, и тут же оказалась там, где свет.

Свет с запахом хвои.

2.

Проспала, чего не было со времен начальной школы. Из света во тьму, только теперь тьма — это серое осеннее утро. В квартире тихо. Обычно бабушка просыпается ни свет ни заря, если вообще смыкала глаза, и будит внука раньше будильника, стуча клюкой по стене. Или мать — ей тоже на работу к девяти — обязательно заглянет, скажет: «Вставай уже».

Не сегодня.

А ведь Любе совсем не хочется ни на какую работу, не хочется выбираться из кровати, из-под одеяла, хочется назад — в свет, в сон.

И будь ее воля, все так бы и произошло: она бы зевнула, обняла подушку — и здравствуй, пропахший ее шампунем другой свет. Ирреальный...

Люба вскочила. Собиралась не глядя: вчерашняя юбка с кофтой, волосы в хвост, дезодорант, помада наспех...

В соседней комнатке заохала бабушка, заколотила своим «будильником».

Мать спит в зале, спрятавшись от всего и от всех с головой под одеяло в свой законно положенный выходной. В выходные мать лучше не кантовать — истина, известная всем в этой семье.

Обязательный ритуал — попрощаться с хозяйкой квартиры.

— Бабуля! Мне такой сон приснился!

Люба влетела в комнату бабушки, чмокнула вот уже десять лет не ходящую («Только разве что под себя», — подшучивает мать) старушку в жесткую, но такую любимую щеку.

— Чудо, а не сон!

Бабка крестит внуку:

— И я, старая, сроду ведь не спала под солнце, а тут — нате, здрасте! — И машет здоровой, не тронутой инсультом рукой. — Беги давай бегом, вечером расскажешь...

Люба послушно выбежала в осень, по инерции посчитала первых трех попавшихся навстречу прохожих, а потом вдруг осенило (осветило?): как быстро нужно бежать, чтобы прибежать в сон?

С уроков физкультуры в школе навсегда впечаталось в память это ощущение, когда во время бега по стадиону где-то на пятом круге легкие вспыхивают огнем, а зажатое сердце пытается выскочить на свежий воздух через сухое горло. Тогда Люба мечтала упасть и умереть. А сейчас, перебегая дорогу на последние мигания зеленого света, она думает, что явно есть тот предел скорости, за которым кончается реальность и начинается сон.

Люба бежит грузно, задыхается, волосы прилипли ко лбу, и пот по вискам. Нет, ей, с ее, мягко говоря, почти сотней килограммов, этого предела не достичь...



— Беги, Люба, беги! — командует себе полупшепотом.

Но у ног на этот счет свое мнение, и вот Люба встала, согнулась в три погибели — никак не надышится — в десятке метров от магазина, где работает.

Люба пошла в продавцы, можно сказать, по материным стопам, почти со школы. После одиннадцатого класса поступила в педагогический. Мечтала выучиться на психолога, но в начале второго курса у бабы Вали случился апоплексический удар. «В голове хлопнуло, — рассказывала бабуля, — и я хлопнулась».

На психологии был поставлен жирный крест. Мать устроила Любу в магазин, где тогда работала старшим продавцом. Дальше — карьерный рост: смена отделов и торговых точек. Теперь Люба продавец в большом винно-водочном отделе супермаркета «На углу» с отдельным входом и охранником.

До угла всего ничего, а у Любы от бега на голодный желудок — ведь даже воды не выпила, не то что чаю — поплыл перед глазами городской пейзаж с красной вывеской супермаркета, потемнело и без того мрачное утро.

«Это удар, точно как у бабули!» — мелькнуло в голове, и Люба готова была уже лечь и умереть, сойти с дистанции. Тут и повеяло хвоей и мятой, сладкими полевыми цветами, летом, в реальность протиснулся кусочек сегодняшнего чудо-сна.

Люба снова в лесу. Столько света и зелени она никогда не видела. Люди вокруг только с виду люди. Они прозрачны, невесомы, парят над травой, и Любе видно, как бежит, переливается кровь по венам в их похожих на кристально чистую воду телах. Оттого грубо и нелепо в этом сказочном лесу смотрится парень в джинсовой куртке на голое тело, в кепке и шортах.

— Меня зовут Саша. Ты заблудилась? Кого-то ищешь?

Люба боится оторвать взгляд от жгуче-зеленой травы и встретиться с ним глазами. Достаточно его голоса. Голос-колыбельная. «И ничего в этом голосе такого нет», — думает во сне Люба, но он ее успокаивает, тихий с хрипотцой голос-лекарство, и ей повезло: парень говорит и говорит, — и она просыпается, окутанная светом его голоса...

Вот и теперь над тротуаром у проезжей части запах леса и просветлел эфир вокруг опаздывающей продавщицы, будто солнце выглянуло, и вместе со светом и ощущением леса пришел голос, ощущение голоса...
Ощущение сна.

Сомкнула веки Люба, а за веками свет, и лес, и...

Раскрыла глаза, вдохнула полной грудью лесной воздух. С выдохом лес испарился, исчез, остался лишь свет из сна, улица, полная солнца, и эхо голоса:

— Давай я провожу...

— Тут осталась-то пара шагов, — прошептала Люба солнечной улице и бодро зашагала к стеклянным дверям супермаркета, вся такая внутри и снаружи сияющая.



3.

— Опаздываем?..

Охранником сегодня не Юра, уже плюс.

— Ай-яй-яй, Любовь Николаевна! — улыбается охранник Сергей, стреляя пустотой отсутствующего переднего зуба. — Видно, ночка удалась? Одобряю! — и подмигивает.

— Чего это всего на полчаса? Надо на час или совсем не приходите!

А это уже минус во всей своей красе — сменщица Марина, вечно недовольная, потому что либо с похмелья, либо недопила, либо и то и другое.

— Я уже позвонила заведухе, сказала, что ты опаздываешь, — говорит она, поглаживая обеими ладонями и без того грязные обесцвеченные волосы. — Не все ей меня по пустякам премии лишать!

Пустяком Марина называет свою ночную смену месяц назад, когда она устроила в отделе «маленькие посиделки» с большим возлиянием и приглашенными гостями. Охранник Юра помог справиться с камерой видеонаблюдения, поэтому Марину всего-то лишили премии.

— Хорошо, — просто и тихо реагирует Люба.

А ничто так не бесит Марину, как чужое спокойствие. Сдержанный ответ, ровная речь, безмятежность в жестах и взгляде, чья-то мирная жизнь — как вызов, как заговор против нее, как плевков в душу! Скандал уже клокочет внутри и на кончике языка у ночной сменщицы.

Но Люба достала телефон, набрала номер и включила громкую связь:

— Нина Ивановна, доброе утро! Я уже в магазине. Что-то с будильником сегодня. Могу после работы на полчаса задержаться или...

Из динамика загремело:

— Люба! Я что, тебя не знаю, что ли?! Знала, что придешь, с кем не бывает... Эта алкоголичка, паникерша-истеричка, в магазине еще?! Пусть шлепает оттуда! Нечего ей там тереться не в свое рабочее время, балаган разводить! После налоговой заеду!..

Гудки — расстрельной очередью в Марину. Люба словно воочию увидела этих золотисто-желтых ос, впивающихся и пронзающих грудь сменщицы.

— Ведьма! — процедила сквозь зубы Марина, дернула себя за волосы и на прощанье сплюнула в сторону кассы.

Сергей хлопнул в ладоши:

— Ай да Люба!.. Ну-ка, колись, что ночью было? Тебя ж как будто подменили.

Люба смело ответила:

— Это все сон, не поверишь.

Охранник демонстративно надул губы:

— Обижает! Я как раз таки в сны верю.

Он облокотился на стеклянную витрину, за которой Люба, облаченная в халат, проверяла кассу.



— У меня батя мамку во сне увидел, когда в армии служил. А потом пошел в увольнение — и вот он, сон! Та самая девушка, в той же одежде, на остановке ищет потерянную сережку. Отец помог найти — ну и вот уже, считай, почти тридцать лет они вместе...

Свет вокруг рассказчика изменился, и сам охранник засиял. Люба уверена, так и было, ей это не показалось!

Но хлопнула дверь, и первый посетитель вернул в винно-водочный отдел реальность:

— Слышали, оптыть, еще один ребенок пропал! — громко, как бывает с изрядно подвыпившими людьми, возвестил помятый мужчина в помятом спортивном костюме. — Пропиваем своих детей, оптыть, как есть пропиваем! Живьем... — И тише, нагибаясь через прилавок к Любе: — Мне, красавица, бутылочку беленькой, огненной, ноль семь, и пару бутылочек «жигулевского». Чтoб жизнь раем не казалась, оптыть...

Сон проигрывает реальности, думает Люба, разглядывая помятого во всех смыслах покупателя. Жизнь вне сна — груба, жестока, криклива, и бороться с ней — только проигрывать.

— Думаете, маньяк завелся в городе, оптыть?! — опять на повышенных тонах. — Думаете, маньяк, педофил какой?!

Люба с охранником переглядываются.

— Вот и я говорю, что завелся, оптыть. Время такое — маньячное! Работать никто не хочет, а вот убивать — в порядке вещей, и все кому не лень убивают, оптыть. Вон пенсионерка мясорубкой соседу башку проломила за то, что тот мэра хвалил. Больше не хвалит... Всех испортил политический вопрос. Все готовы в маньяки податься, только б не жить так, как живем, оптыть...

Люба подала покупки и не сдержалась:

— Так надо детей спасать, а не пить!

Помятый покупатель сперва растерялся.

— Ну да, да... Конечно, надо спасать. Маньяка замочить, все такое... — промямлил он.

Потом увидел бутылку водки, ожил:

— Оптыть, а чего с меня-то сразу начинать?! Я только с вахты, полгода в тайге на сухую, мне сам Бог пить велел, оптыть! Вон охранник ваш, — кивнул, поспешно убирая бутылки в пакет, — глянь, боров какой! И молодой, и непьющий... с виду. Вот он пусть и спасает, оптыть! Мы свое отспасали, деваться теперь от этих спасенных некуда. Все, что могли, — и страну, и устои — все развалили... Скорей бы конец света, к чертовой бабушке! Видал я жисть такую в гробу!..

И уже в дверях резюмировал:

— Напиться и не просыпаться — вот выход!

Печальным аккордом дружно звякнули бутылки. Помятый покупатель исчез в дверях, в набирающем обороты дне...

— Напиться и не просыпаться, — повторил Сергей, словно слышал эти слова впервые в жизни. — А чё, хорошая идея! Все бы взяли и уснули. И чё б было, интересно, а? Если все люди на планете враз заснут, это ж и будет конец света...

«Что, если все дело в свете?» — спросила себя Люба, разглядывая блики электрического освещения на винных бутылках. Вслух же сказала:

— Природа хоть отдохнет без нас. И вряд ли будет стараться нас разбудить... Слушай, Сереж, а ты замечал, что во сне другой свет? Иной. Не такой, как при бодрствовании, — не как сейчас, например. И не солнечный он, и не искусственный. Живой какой-то, что ли...

— Живой? — охранник осмотрелся. — А это, стало быть, не живой?

И тут же ответил:

— Хотя да. Это ламповый, электрический, мертвый свет. — И, глядя в окно, добавил задумчиво: — Явно *тот* свет на *этот* не походит. Думаешь, свет во сне и тот свет, загробный, схожи?

— Ну, если сон — брат смерти, то и свет должен быть похожим. И это свет по ощущениям другой, разумный...

Две женщины шумно ввалились в дверь, прервав Любины мысли вслух.

— ...И снится нам не рокот космодрома, — пели женщины в унисон и во все горло, поддерживая друг дружку, чтобы не упасть, — не эта ледяная синева!..

4.

Абстрагироваться от происходящего в магазине, от мира покупателей — то и дело пьяного или с похмелья, злого, ворчащего, требовательного, плохо пахнущего мира, — Люба так и не научилась, соучаствуя и принимая все близко к сердцу:

— Если и я буду хамкой, дрянью, то кто хорошим будет?..

Сменщица же считает, что доброта, вежливость и скромность — не от большого ума. Лозунг Марины: «Если не наругаешь ты, наругают тебе. Так что надо успевать обаять первой! Первый обаявший прав, это закон жизни и залог выживания».

Завсегдатаи винно-водочного отдела «На углу» называли Любу «наша спасительница». Для Марины самым ласковым эпитетом был «банши»¹.

— Спасительница, — вздыхала всякий раз Люба. — Кто бы саму спас...

И вот спасение — парень в джинсовой куртке на голое тело:

— Меня зовут Саша. Ты заблудилась? Кого-то ищешь? Давай провою...

Люба вспоминает, и теперь ей кажется, свет излучал незнакомец, его загорелая, румяная, солнечная кожа, голос, глаза, которые он прятал под козырьком кепки и которых Люба не видела, но ощущала их свет всем своим нутром, душой...

«Сегодня обязательно соглашусь, чтобы он меня проводил! Сразу, не успеет он и рта открыть», — улыбнулась мыслям Люба.

Охранник заметил ее улыбку.

¹ *Банши* — персонажи кельтского фольклора, феи, своими стонами и воем предвещающие человеку смерть.

— Проснись! Зима приснится, замерзнешь... — засветил дырку на месте зуба Сергей.

Не считая зуба — Люба искоса смотрела на охранника, — Сергей вполне походит на Сашу из сна. Особенно когда улыбается. Особенно когда не прячет стеснительно улыбку в ладонь. Сергей тоже излучает свет. Впрочем, все излучают свет, даже бутылки с алкоголем и покрашенные в серо-буро-малиновый цвет стены отдела. И даже Марина.

Светится все, и все этим светом живо.

На мгновение Люба прикрыла веки, на секунду проскользнула в дрему, выпустив из чудо-леса паутинку нереальных, живых лучей... Открыла глаза, а Сергей уже подловил закемарившую продавщицу и улыбается голливудско-акульей улыбкой, рот до ушей. Со вставленным по волшебству передним зубом охранник изменился и точно стал походить на приветливого светящегося молодого Морфея в джинсе.

Моргнула Люба — выбила волшебный зуб Сергея. Охранник снова был щербатый.

— Не дождешься, когда уже ночь и уснешь по-нормальному? Понимаю... По юности, в школе еще, только и жил мечтой о сне. Днем поспать — как награда. Помню, мечтал: вот вырасту, никто меня не поднимет, не разбудит, спать буду без конца! Тогда казалось, сон — единственное, что я контролирую. Теперь знаю, что и мой собственный сон мне неподвластен. Такое, бывает, приснится — ну точно не мое! Запредельное какое-то...

— Запредельное? — переспросила Люба, уставилась на охранника не моргая.

Ее испугало это слово, будто что-то оскорбительное, ранящее...

— Ну да. Джунгли всякие, лабиринты, оборотни, чудовища, феи... Ну мертвые же во сне — живые, чего тут удивляться... Запредельное — оно и в реальности запредельное. Тебе ли не знать, хех! Ты сегодня явно за пределы себя вышла...

Не успела Люба возразить, как магазин оккупировала компания молодых парней и девушек, жаждущих продолжения вчерашнего банкета.

5.

Джинсовые сумерки сладким волнением внутри, синие, под цвет его куртки, под цвет его глаз. Любе кажется, у Саши глаза такого цвета — глубоко синие, почти фиолетовые...

Она еще никогда не смотрела на мир вокруг так открыто, внимательно, честно. Сегодня впервые за два с лишним десятка лет она разглядела, что трещины, которые встречают ее, глядят со стены дома, где она живет с рождения, так похожи на букет роз.

Люба замерла, следом за глазами распахнулся рот:

— Ну надо же! Ведь как есть розы! Одна, две... Пять роз в букете! — Она едва не взвизгнула, с трудом удержалась, чтобы не захлопать в ладоши. — Нет, ну вы видели? Видели?! — спросила у подъездного фонаря, сгущающихся сумерек. — Самые настоящие розы во всю стену...

Дома с порога стала рассказывать о чудо-трещинах:

— Букет размером почти в два этажа! И где только были мои глаза?



Мать отмахнулась:

— Трещины не могут быть розами, Люба, проснись! Ты пока еще в этом мире живешь, где трещины на стенах — это всего лишь трещины на стенах, а не букеты, прости господи. Так и до шизофрении недалеко, кстати... Ты с трещинами этими, надеюсь, не разговаривала? Знаю, ты можешь, не отвечай!

Умение портить другим настроение — это у матери в крови, как и вечное недовольство всем и вся.

— Нынешней жизни радуются только недоумки и умалишенные. У нормального же человека непреходящий стресс и пессимизм от всего этого бардака, что зовется жизнью! И ты со своими розами туда же... Вот и нюхаем из-за таких, как вы, вместо роз трещины в стенах! Шиш без масла нюхаем!..

Матери лучше не перечить, лучше смолчать, что дочь и сделала, скрывшись от греха подальше в бабушкиной комнате.

— Правильно, давайте шушукайтесь, мать и дочь, перемывайте мне кости! А я — спать. «Сон всему голова» — золотые слова! Может, не проснусь наконец...

Люба осторожно прикрыла за собой дверь.

— Мать в своем репертуаре, — прошептала.

Маленькая старушка под одеялом, в белой косынке — ну точь-в-точь укутанный заботливой матерью младенец, — подмигнула:

— Как отец твой ушел, так мать совсем будто с дуба рухнула...

— Да всегда такой была, — внучка присела на краешек кровати, — сколько себя помню...

Баба Валя вытащила «работающую» руку из-под одеяла. Люба взяла бабушкину ладонь, поцеловала, сжала в своих ладошках:

— Розы-трещины — будто часть сна, бабуль. Весь день так... Сон просачивался в явь, в нашу реальность... Прикрою глаза — вспомню лес из сна, свет... Там просто волшебный свет! Думаю, все дело в нем. Проникая в наш мир, он преображает его, меняет. Сон наяву — это реально, и это чудо как прекрасно. Сказка...

— Этого я и боялась. — Баба Валя высвободила ладонь, заохала, перекрестила внучку. — Ох, Люба, Люба! Ох-ох-ох... Ты только никому про это не говори! Никто не должен об этом узнать. Матери тоже лучше не рассказывай...

Старушка зашептала еще тише, то и дело вздыхая:

— А я и молилась ведь, и свечки ставила... Думала, ушло это вместе с твоей прабабкой...

О прабабке в доме говорить строго запрещено, причем самой бабушкой Валец, и Любе известно лишь, что прабабка Полина, мать бабы Вали, была знахаркой-травницей и умерла страшной смертью. Прабабку убили.

И вот табу с разговоров о ней снято, и все благодаря тому же сну.

— Дар был у твоей прабабки, — шепчет баба Валя и крестится. — Снами управляла баба Поля. Могла сон в явь перетягивать. Все, что снится, даже самое невозможное и уму непостижимое...

Люба поймала руку, снова и снова совершавшую крестное знамение, поцеловала, прижала к своей груди, к взволнованно стучащему сердцу.

— Бабуль, бабуль, только не нервничай! Тебе нельзя...

Слезы на глазах у бабы Вали, и по впалым щекам слезы.

— Поклялась не вспоминать, не ворошить — думала, забудется, перечеркнется, пропадет, не станет его...

— Ну все, все, ба! Мне этот дар не грозит.

Внучка обняла бабушку. Ба все так же, как и в Любином детстве, как до паралича, пахнет сдобой и чабрецом, хотя давно уже не стряпает. Зато чай с богородской травой неизменно в термосе.

— Давай лучше чаевничать. Я торт вафельный, твой любимый, принесла...

— Дар не спрашивает того, кого выбирает. И когда он проявится, нам неизвестно. Это не человеческого ума дело. Божье это.

6.

Из темноты в темноту. Люба так ждала этого часа — лечь и заснуть, а теперь играет в моргалки с темнотой: закроешь и тут же откроешь глаза — темнота подмигивает в ответ.

Прабабушка говорила с тьмой, со слов бабули, общалась с ней, будто с подругой.

— Темнота — это же проход в царство сна. Проводник. Тьма — как тропинка, коридор между мирами. И Полина видела то, что скрывается за тьмой. А там иной мир, прибежище сновидений и всего, чему нет места в нашем...

Чай с чабрецом, обжигающий, ароматный, стирал границы. Бабушка открывала сундуки памяти, рассказывала, тихо всхлипывая, снова и снова вздыхала:

— Я боялась мать как огня. Все боялись, потому как не знали, что за силы в ней и вокруг нее, что может она вытянуть из своего сна... Никому ведь чужой сон не известен. А уж какие страхи и страсти нам снятся, это же ни в сказке, ни пером... Вот и боялись. Ну а от боязни ничего хорошего не жди. Страх толкает нас на самое худшее.

Люба перемигивается с тьмой. Люба считает, чтобы не слышать. Но бабуля говорит и говорит:

— Сперва твоей прабабушке выкололи глаза. Хотя я и была совсем еще малехой, пяти еще не было, а помню: мать с утра отослала меня с отцом в город. Знала, что с ней будет. Все до мелочей, уверена, знала... Она улыбалась, смеялась, шутила, наказала хорошенько погулять и раньше вечера не возвращаться в деревню. И пока мы с папкой катались на карусели, мать, ослепленную, бросили в выгребную яму...

Баба Валя перевела дыхание.

— В деревне все знали зачинщиков убийства. Впрочем, той же ночью они и сами погибли — все, кто так или иначе был повинен в смерти Полины Ясной. Так ее в деревне звали те, кому она помогала: судьбу предсказывала, лечила... И отец так звал.

Из темноты в темноту. Люба моргает в жарких объятиях одеяла, и кажется ей, что внутри нее разгорается прабабкин огонь мести.



— Пламя, как потом рассказывали те, кто видел, появлялось ниоткуда. Человек вспыхивал факелом, сгорал дотла, и больше ничего вокруг даже не подпаливалось. Полина выпустила огонь возмездия из потустороннего мира. Пламя тронуло лишь виновных, и никого больше... Убийца сидел на стуле — огонь его поглотил, а стул целехоньким оставил. Много деревенских сгорело той ночью. Вой, рев, плач поутру стояли. До сих пор слышу во снах...

Вот и Любе мерещится плач в темноте, с закрытыми и с открытыми глазами мерещится. А может, уже и не мерещится, а взаправду слышен вой деревенских сквозь десятки лет, через расстояния — неутихающий, вечный плач?

Никто и в мыслях не мог после того, что случилось, как-то навредить мужу и дочери Полины. Даже просто взглянуть в их сторону боялись. Невидимый, но ощущаемый всеми и каждым огонь мести простерся над деревней. Баба Валя, тогда еще кроха, тоже чувствовала присутствие чего-то не от мира сего.

— Казалось, будто что-то после той ночи поселилось среди нас и следит, ждет своего часа. Все в деревне жили в страхе, в непреходящем напряжении... Батюшка из города приезжал, освятил все дома. Сказал, деревню в Ясную переименовать надо — и тьма тогда отступит. Хотя о какой тьме речь, если проклятием деревни стал огонь возмездия, ярости огонь, что ярче солнца?..

Люба считает: десять, одиннадцать, двенадцать, — чтобы заглушить плач. Четырнадцать, пятнадцать... И уже не поймет в темноте — семнадцать, восемнадцать, — закрыты у нее веки или это тьма давит на глаза непроглядным монолитом. Двадцать... Тридцать... Сорок.

После сорока дней по завету Полины ее муж и дочь покинули деревню «навсегда, и безвозвратно, и на веки вечные».

Табу на возвращение. Табу на воспоминание. Табу на жену, мать, бабушку. На прабабушку табу.

В снах таится невероятное.

— Сорок один, — считает Люба.

И тьма становится светом.

7.

Из темноты на свет, щурясь и всей душой предчувствуя встречу с чудом... С примесью испуга, страха: а что, если...

«Что, если “давай провожу” — это попытка вырваться в реальность?» — подумалось. Только в этом сне мысли звучали, и Люба услышала в ответ такой желанный — до замирания сердца и дыхания — голос:

— Реальность? Это где такое? Все есть реальность, Люба. Вопрос лишь, с какой стороны смотреть...

Глаза еще не привыкли к свету, а она уже увидела его — в джинсовой куртке на голое тело.

— Ты для меня реальна так же, как я для тебя. Я не знаю, что такое нереальность, и не верю в нее, как не верю в тех же, скажем, атеистов. Дед Мороз реален, пока ты в него веришь, так?..

Лес, зеленый, искрящийся, первым выступил из ослепительно-белого света, с шумом ветра, пением птиц...

— Когда я слышу слово «реальность», я снимаю с предохранителя свой револьвер. — Вторым из света показался Саша, он смеялся. — Свой вымышленный, нереальный револьвер... — Сложил пальцы пистолетом. — Пиу-пиу! — выстрелил в небо.

Люба проследила за невидимыми пулями. Неба не было — макушки зеленых деревьев-великанов сплелись куполом высоко вверху.

— Откуда тогда свет? — подумала громко и так же громко сама ответила: — Это внутренний свет!

Осмотрелась: вместо парящих над цветами и травами прозрачных людей — каменные статуи, похожие на парковые скульптуры, изваяния времен СССР, но с настоящими, источающими сияние глазами.

— У прошлого очень яркий свет, непреходящий, живучий!..

Заброшенные гипсовые пионеры, расколотые, изувеченные временем и людьми, выжили!

Саша отступил в сторону, и перед Любой оказалась белоснежная скульптура горниста с ярко-голубыми глазами. Горнист ожил, подмигнул Любе, улыбнулся и, приложив к каменной улыбке горн, выдул совершенно не трубный, нежный, мелодичный звук, словно протяжно-грустный зов кита.

— Свет прошлого, вот чем освещено настоящее, — Саша закрыл собой горниста, — и будущее. Это как свет звезд, знаешь? Он тоже из прошлого. Смотришь на звезду сейчас, а видишь, как она светила сто лет назад.

Люба осмелилась взглянуть Саше в глаза, посмотрела в упор и...

— Реальность — это свет нереальности, свет сна. Давай провожу!..

Из света в свет. В свет и жар. Люба перед стеной огня, огня и плача. «Подумай “дождь”!» — гулом пожара в голове.

И Люба думает: «Дождь». Дождь должен погасить огонь. Огонь и плач.

Только вместе с дождем был гром, и громовые раскаты пронесли по невидимым небесам и земле, сквозь сердце и душу Любы криком из прошлого, обидной школьной дразнилкой-обзывалкой, кличкой:

— Люба Тумба! Тумба Люба!

И дождь стал огнем. Огненные капли, струи вмиг спалили все вокруг вместе с оскорбительной и ранящей до сих пор «Любой Тумбой». Уцелевшая на пепелище Люба подумала: «Дождь!» — а еще вспомнила, что в школе спала и видела, как отомстит всем обидчикам, мечтала, рисовала в фантазиях и на альбомных листах. И чаще всего возмездие приходило к виновникам красным петухом...

— Дождь!

Искрящийся, осветивший темноту пожарища дождь, холодный, пахнувший морем, вынес Любу из сна в явь. Из дождя — в дождь.

За окном льет и громыхает. Люба не взглянула на требовательно мигавшие красным часы — не до времени, повернулась к стене. Дождь с улицы проник в комнату. Люба вздрогнула всем телом от ледяных капель и вместе с дождем протекла в сон. В лес. В реальность...



8.

Что видит Любовь, когда спит? Какие сны? Кого? Где?

Для Любы это чувство — любовь, вернее, любовь взаимная, любовь по отношению к Любе — спит со школы, с первой Любиной влюбленности. Тогда по-детски чистая и наивная привязанность была осмеяна всем пятым классом «А», потом и большей половиной школы и двора. Насмешки в спину, в лицо, так или иначе вертящиеся вокруг признания Любы Тумбы в любви мальчику с ромашковой улыбкой, эхом будут звучать до конца учебы и наверняка, Люба смирилась, до конца ее жизни.

Для себя же Люба еще в начальной школе решила, что прозвище Тумба — это не из-за ее ватрушечно-пельменной полноты, совсем нет. Оно от названия африканского танца «тумба-юмба». Она слышала, что есть такой, даже иногда представляла его: мысленно кружилась, прыгала босая в бусах и прочих побрякушках, в ярком, пестром африканском наряде из перьев, дико кричала и снова вертелась юлой и взлетала в безумной, бесконечной «тумбе-юмбе».

Наземь опрокидывала реальная жизнь и все та же спящая и не видящая Любу любовь.

— Получается, твоя любовь будет взаимной тогда, когда вечно спящая Любовь, назовем ее богиней всех любовей, увидит тебя во сне, так?

— Так. — Люба снова боялась взглянуть Саше в глаза.

«Средоточие иного света».

Она согласилась, чтобы он ее проводил, и теперь они медленно почти плыли по вертяльвым, заросшим анютиными глазками тропинкам.

— Какая удивительная теория любви! Впервые слышу, чтобы любовь так возникала...

— В юности чего не придумашь, не нафантазируешь... Я представляла эту Любовь, даже рисовала ее — спящей громадной девушкой с закрытыми на висячие замки, на все «молнии» глазами, опутанную ее же волосами, а в волосах — сердца всех влюбленных... И спит она на своем огромном сердце...

— А почему она спит-то все время?

Люба хихикнула:

— Думаю, все дело в песне. В то время она разве что из чайника не звучала. «Любовь, похожая на сон»... Потом все эти фразы, строки из стихов типа «Любовь — это сон в сновиденьи...», «Любовь — это сон для двоих...». Да и что могла вообразить одинокая стеснительная девочка в своих мечтах и грезах? Мне тогда верилось, что так все и есть. Любовь спит и заражает собою всех тех, кто ей снится. Помню, изводилась, не знала, что бы эдакое сотворить, чтобы присниться Любви... Влюблялась, как дура, по несколько раз на дню, молилась, в церковь ходила к Богородице... Ну а про признание мальчику Валере с ромашковой улыбкой ты знаешь. Когда он улыбался, мне казалось, он походил на ромашку, честное слово...

Воспоминания бордово загорелись на щеках. Люба печально выдохнула:

— Это была самая настоящая любовь, первая и с первого взгляда, вот и призналась... На свою голову. Люба Тумба. Думала, с этим поступком



попаду в сон Любви... А попала в кошмар наяву. Тогда и осознала всю силу сна...

Лес, молча, замороженно слушавший исповедь Любы, очнулся, загудел, зашелестел, заполняя тишину. Но тихий голос попутчика был неизменно ясен и громок, успокаивающий голос-лекарство:

— А что, если тебе приснится эта самая Любовь? Приснится спящая богиня всех любовей, видящая тебя в своем сне?..

С вопросами из сна Люба проснулась по будильнику, быстро собралась, наспех совершила домашние ритуалы: поиграла в молчанку с матерью, обняла и поцеловала бабушку — и бегом, насколько это было возможно, направилась в старый парк, где у бывшего Дома пионеров — теперь давно закрытого на ремонт Дворца творчества детей и молодежи — стояла сильно подраненная, но уцелевшая скульптура Горниста.

Люба с детства боялась всех эти неживых изваяний, особенно тех, что прятались в зелени парков и дворов. Но не Горниста у Дома пионеров, которого все почему-то называли Саня, Саня Горн. И Люба в тот самый, ужасный пятый год в школе взяла за правило ходить на уроки и назад через парк мимо Горниста. Люба Тумба плюс Саня Горн...

Школьница Люба проходит, затаив дыхание, мимо гипсового Горниста на постаменте. Щеки горят, сердце барабаном, радость внутри — горном. Люба искоса, чтобы никто не видел, даже не заподозрил, смотрит на остро прочерченные скулы, раскрытые губы. Ей кажется, на щеках у Сани ямочки, кажется — или так и есть? — он вот-вот улыбнется. И всякий раз Люба не сдерживается, поворачивает голову, смотрит в гладкое, ни морщинки, лицо пионера, и он улыбается — честное пионерское, улыбается! — а Люба боится, что он затрубит в свой горн и все откроется. И тогда Люба вскрикивает, будто что-то забыла: «Ах, черт!» — и вприпрыжку бежит к школе, успевая заметить, как Саня подмигивает ей вслед.

— Люба Тумба плюс Саня Горн! — шепчет, улыбаясь, Люба.

...От ночного дождя лужи на земле и серебряные клипсы на голых ветках деревьев и проводах. Словно в сказке, во сне... В парке Люба не была уже много лет. Лет десять? Вспоминает — и не может точно вспомнить.

Парк не изменился, лишь оброс пивными палатками, уличными закусочными и мусором.

Замаячил за деревьями Дворец пионеров — и время отпрыгнуло назад, в школьные годы. Той же пятиклассницей Люба идет, спешит по тропинке из битых плит, с чувством невесомости внутри, потеющими от волнения ладонями и сердцем, готовым выпрыгнуть и скакать впереди нее...

И чувство дежавю, чувство как во сне. Люба в сомнении: было это на самом деле или все же снилось? Замедлила шаг. Может, ей снилось, как она ходила в школу через парк мимо Горниста? И все остальное — тоже? На самом же деле, в реальности, было не так: до школы обычным, привычным, прямым путем от дома через магазин, где она теперь работает, еще два дома — и здравствуй, школа...

— Да нет! — Люба останавливается. — Не во сне! Нет, все это было по-настоящему, — говорит она вполголоса, осматриваясь в поисках неизвестно каких доказательств, следов...





Время и сны заодно. Со временем, по прошествии многих лет, грань между сном и явью стирается и уже сложнее вспомнить, было это наяву или приснилось. Сон все-таки первичен, реальность вторична. Вначале был сон!..

— Саня расставит все по местам. — Люба решительно шагает вперед. Что видит Любовь, когда спит? Какие сны? Кого? Где?..

Время и люди безжалостны, и Саня Горн тому яркий пример: без левой половины головы, вместо руки с горном — прутья железной арматуры. Исписан краской и маркерами всех цветов: «Зина Липа из 10 “Б” — соска», «Спаси и сохрани Господь СССР!», «Жизнь дерьмо — потом смерть!», «Сергей Fox — жид, вуайерист и петух»...

Вздригнуло сердце. Люба содригнулась, ахнула в голос:

— Что они с тобой сделали, уроды!..

Она застыла у искалеченного друга юности, жалость сдавила грудь, обида выдавила слезы на глаза.

— Вот же суки! — крикнула Люба людям и времени. — Будто кусок меня оторвали! Меня изуродовали!

Затряслась от злости за все обиды прошлого, от слабости, от невозможности вернуть все назад, исправить, еще чуть-чуть — и заскрежещет зубами, в точности как мать в ярости. Закрывает глаза и, чтобы не задохнуться, не захлебнуться в нахлынувшей ненависти, стала считать:

— И раз, и два... Вдохни, выдыхай! И три, и четыре...

Лес проступил на счет «десять, одиннадцать», и Люба слышит:

— У прошлого очень яркий свет, непреходящий, живучий!..

— Двенадцать...

Видит Сашу. Саша отходит, пропуская вперед ожившую скульптуру Горниста с голубыми глазами.

— Давай я провожу!..

— Пятнадцать! — поднимает ресницы Люба, а у Сани Горна целехонькая голова и рука с горном на глазах обрастает белым гипсовым «мясом».

Засиял улыбкой обновленный Горнист, засветился светом из сна, приложил горн к губам...

Тут Люба и очнулась.

— Не вздумай дудеть! — приказала строго, но тут же смиростивилась, улыбнулась вернувшемуся, посвежевшему — ни надписи похабной, ни трещинки — Сане Горну. — Лучше притворись неживым, слышишь?! И впредь не позволяй никому над собой издеваться! Делай, как папа меня учил, — бей первым!

Не дожидаясь ответа, Люба спешит на работу с чувством выполненного долга, с бешено стучащим сердцем и улыбкой, которая не сойдет еще очень долго. Идет, подпрыгивая, как в детстве: подпрыгни сильнее — и улетишь... Как во сне идет, спиной ощущая на себе пристальный влюбленный взгляд голубых глаз...

9.

Сегодня на смене охранник Юра Клопцов, бывший одноклассник, со школы портящий настроение одним своим присутствием: с грязным языком и мыслями, противным кудахчущим смехом и смешанным запахом пота и дезодоранта.

Одно его протяжно-мерзенькое «О-о-о, кто пришел!» сметало улыбку с лица Любы, напрягало и расстраивало. И Юра это чувствовал своим шакальным чутьем, упивался, получал наслаждение — может, и сексуальное.

Это Юра когда-то первый назвал Любу Тумбой и подслушал ее признание в любви мальчику с ромашковой улыбкой.

— О-о-о... — только и успел издать охранник на этот раз.

— Клоп, смени пластинку уже. Со школы ведь заела, — сказала Люба в лицо бритоголовому, похожему скорее на кусок мыла, чем на клопа, толстячку охраннику, продолжая как никогда широко улыбаться и не отводя, как обычно, взгляд. — Задрал, честное слово! Мараться об тебя мне не хочется, но ты учти на будущее...

Сменщица Марина Банши тоже, лишь раскрыла рот, услышала:

— А тебе лучше топать отсюда, и побыстрее. Оба сваливайте-ка по хорошему! Переведитесь в хозяйственный или в продуктовый, от меня подальше, иначе вам же хуже будет. — Люба смотрела по очереди на хлопаящих глазами сменщицу и охранника. — «Бойтесь гнева терпеливого человека». Слыхали такое?

Вопрос прозвучал так угрожающе, что опешившие Марина с Юрой предпочли молча кивнуть.

Вечером, допивая третью полторашку пива, эти двое будут клясться друг перед другом, что это была и не Люба вовсе:

— Как подменили... Будто под препаратами. Наркотик, что ли, какой бешеный употребляет...

— И свет такой странный. Да она радиацию излучала!..

— А может, она одержимая? Может, в нее бес вселился?

— Или мужика из положенцев завела, вот и баззает. Блатная стала, дерзкая... Того и гляди мстить начнет!

— Короче, ну ее на фиг! — решили они к концу возлияний и в следующую смену попросили перевести их хоть в хозяйственный, хоть в какой другой отдел.

Весь день до перевода Клоп Юра, по его собственным словам, «был как в Чечне, как в окопе сидел», молчал в тряпочку и не высывивался. А Люба «цвела и пахла, не на земле будто, а в космосе, и все лепетала что-то тихо сама с собой». Короче, «и вокруг все неестественно, и Любка неестественная, и я уже неестественный».

Неестественно себя чувствовала и Люба. Как во сне.

Задавалась вопросом: «А может, не неестественно, а, наоборот, так, как надо?» И отвечала: «Может, наконец-таки почувствовала себя настоящей?! Живой?!»

Непривычно чувствовать себя победительницей. Жить без дежурного напряжения и страха, без ожидания подвоха, без чувства вины и обиды. Непривычно быть свободной.

И чувство из сна, переполнявшее, атаковавшее Любу, стоило только опустить ресницы, было непривычно. Сон заполнил ее всю. Любе представлялось: поранься она — и вместо крови прольется сон, свет, лес...

Стоило чуть прикрыть глаза — и зелень взрывалась, сочилась, пестрела, распускалась и тянулась. Хрупкие, тонкие зеленые стебельки тут и там оплетали паутинкой бутылки с вином и водкой. Похоже, что и



охранник Юра замечал изменения: сидел бледней бледного на стуле у входа, грыз ногти, упорно отводя глаза от озеленившихся полок и витрин...

Цветы, фиолетовые брызги анютиных глазок, рассыпались по всему потолку — это Люба в перерыве между покупателями отключилась на минуту от реальности, прислонилась к холодильнику с пивом и смежила веки.

Сон наступал: «Давай провожу...» — плавно, мягко, бесшумно.

— Дар сам решит за тебя, когда ему проявиться, заговорить, дать о себе знать, — вздыхала печально и смиренно баба Валя. — Как от судьбы не убежишь, так в точности и от дара не избавиться, не заглушить его... Лишь принять и научиться использовать, только так!..

Между бутылками водки замельтешили бело-желтые ромашки; иван-чай и клевер замигали сиреневыми маячками по всему стеллажу с элитными сортами вина; зверобой, васильки, жарки, одуванчики украсили нержавейку пивных банок...

— Дар, если есть, возносит или губит. Третьего не дано, Любушка. Прабабку твою — погубил, мать — обошел стороной. Теперь вот в тебе проснулся...

— Дар проснулся! — хмыкнула Люба, прогоняя липкую негу дремоты, встряхнула головой. — Где ж он раньше был?! В пятом классе?

Спросила громко, напугала Юру. Охранник вздрогнул, заплотилоно осмотрелся. Крапива и колючки под его бровями сразу исчезли, как и вся невеста откуда взявшаяся зелень.

«После вчерашнего, с похмелья, видно, мерещится», — решил он и принял деловитый, занятой вид. Мол, ничего не слышу, ничего не вижу, моя хата с краю.

Спасением от безадресных вопросов Любы Тумбы явились посетители, девушка с парнем:

— Мы из поисково-спасательного отряда «Найдем!». Можно у вас на дверях и у кассы листовки повесить? — затараторили вдвоем. — Пропал ребенок! Живет поблизости, ходит в школу рядом. Может, кто-нибудь что-нибудь...

— Да-да, конечно! Везде, где нужно, вешайте.

А лицо пропавшей девочки — Шутова Аделина, восемь лет, глаза голубые, волосы длинные, русые — кажется знакомым, больше чем просто знакомым. Люба уверена на девяносто девять процентов из ста, что видела это лицо совсем недавно.

Но где? Неужели здесь, в отделе?

Ответ не заставил себя ждать. «Во сне, вот где ты ее видела! Во сне!» — вспышкой света с запахом хвои.

Тут же потянуло в сон, в чудо-лес, где прозрачные люди порхают, подобно бабочкам, над цветами и между деревьев, о чем-то весело разговаривают, звонко смеются, светятся...

— Дар будет пытаться управлять тобой всецело. Не поддавайся! Борись, сопротивляйся, контролируй. Не дай ему подчинить тебя! Дар, взявший верх над разумом, становится проклятием и неминуемо погубит.

— Я не прабабушка! — снова громко, не стесняясь охранника.

— Я Люба Тумба! — притопнула Люба.

И еще раз. И хлопнула в ладоши. И еще хлопок, и поворот, и покружилась на пятках.

— Тумба-юмба! — приплясывала она за прилавком, размахивая подолом рабочего халата.

А за полуприкрытыми веками на Любе был совсем иной наряд — из перьев и бус.

Танец развеял чары сна. Фиолетовыми, голубыми и зелеными брызгами осыпались с потолка последние анютины глазки.

— Люба Тумба, повелительница снов! Царица миров! — крикнула. — Да здравствует Люба Тумба!

10.

Сны могут невозможное: вернуть невозвратимое, прошлое сделать настоящим, оживить мертвое. Нужно лишь увидеть это во сне, на лесной поляне, залитой золотистым, иным светом, среди светящихся чудо-созданий и зелени чудо-деревьев, а потом вывести это свое из леса. «Притянуть» — так говорила бабушка. Притянуть из сна в явь — и вуаля!

И?.. Что дальше? Вот третий вечный вопрос, посложнее известных всем «кто виноват?» и «что делать?».

— А дальше будь что будет!

Люба всегда полагалась на эту мантру: будь что будет. Раньше — потому что боялась будущего, теперь — потому что не боялась нисколько, ничего и никого не боялась. Перемены случаются мгновенно, а не тянут кога за хвост. Раз — и ты другой! По крайней мере, так работали перемены с Любой. Жизнь, смысл, привычки, мечты — все сметалось. Все менялось из-за пяти букв: «т», «у», «м», «б», «а» — воробьиного слова, мимолетного взгляда, правильно или неправильно упавшего света, одного сна... Перелом болезненно мгновенен, бац — и готово, а дальше — медленное, бесконечно долгое заживание, затягивание ран, срастание костей...

Из магазина, из вино-водочного отдела, Люба вышла с уверенностью, что вернется она сюда совершенно иная и совсем не на смену — вернется, чтобы идти дальше!

Задержалась на секунду в дверях у поисковой листовки: «Шутова Аделина, восемь лет...»

— Прости, Аделина. — Люба искренна и честна. — Мне очень-очень жаль. Я и тебе помогу. Помогу, не забуду, обещаю! Ты только чуток подожди, потерпи...

Сказала, избегая глаз пропавшей девочки, быстро пошла, потом побежала. «Помогу попозже. Перво-наперво другое, главней главного...» Остановилась у Сани Горна не столько отдышаться — Люба совсем не устала, — сколько из-за вида Горниста. В сумерках белоснежные руки скульптуры блестели черным, чернота капала и с почерневшего горна...

Саня постоял за себя.

Считается, что сумерки — трещина между мирами. Как там бабушка говорит? Темнота — проход в царство сна, проводник. Тропинка, коридор между разными реальностями. Теперь Люба знает точно, что с темнотой реальность снов становится ближе, во тьме можно, не закрывая глаз, попасть в мир по ту сторону света...



А на той стороне света Саня Горнист дает отпор хулиганам, вздумавшим от нечего делать отломать у него горн. На той стороне Саня берет на себя, в свои почерневшие и уже не гипсовые руки, славную справедливую миссию возмездия за все слезы и душевные раны его спасительницы. Саня отомстит всем за Любу. Люба Тумба плюс Саня Горн равно Мечь! Равно... смерть?

Трещины на стене ее дома распускаются настоящими, живыми цветами, розами, на той стороне света...

Люба послала Сане воздушный поцелуй и оставшуюся дорогу до дома прошла со стопроцентной уверенностью, что он идет следом, слившийся с темнотой, телохранителем-невидимкой ступая след в след, оберегает ее, стережет.

Букет черных роз на стене дома, пять трещин-бутонов раскрылись перед Любой пятью тысячами ароматных роз.

Запах уносит напрямик в лес, где зеленые сосны и кедры в красно-алых цветах. И голос:

— Эти розы — для тебя!

«Они прекрасны», — не успевает произнести Люба.

Крик, женский, рвущий душу, полный боли и отчаяния крик выталкивает в темную реальность, к дому со стеной распутившихся трещин-роз:

— Убили! Доченьку мою убили! Сердечко мое! Убили! Мамочка родненькая! Убили все-таки! Убили! Уби-и-или-и!

Стебли и лепестки роз обернулись режущей сталью, туго стянули пятиэтажку, раскромсали...

Люба закрыла уши ладонями:

— Раз — Тумба... Я помогу, обещаю! Два — Юмба... Все наладится. Три — Тумба...

Большими шагами в подъезд.

— Восемь — Юмба... Все исправлю. Девять — Тумба... Надо лишь чуть-чуть подождать...

В квартиру, и дверь на два замка.

— Десять...

— Не ты там криком кричала?! — Это мать с порога вместо приветствия. — Хотя чего это я? У тебя же нет детей. Ни живой, ни мертвой дочери нет... Приползешь вот так с работы, уставшая как собака, а дома ни гавкнуть некому, ни пернуть!..

Мать ушла в зал, хлопнув в завершение монолога дверью. Она всегда умела встряхнуть и привести в чувство самым неожиданным способом.

— И тебе добрый вечер, — прошептала дочь.

Разулась, проглотив горький ком слезной обиды. Плюсы есть во всем: родительский укор заглушил крик боли другой матери.

Заглянула к бабуле:

— Привет, ба! Что это с ней?

Баба Валя замахала здоровой рукой: зайди. И шепотом:

— Так это же... годовщина сегодня. Уже не помню точно, какая по счету, как отец-то твой ушел...

«Годовщина», — кольнуло в сердце шипом розы. Люба помнит все дни с момента ее крещения в Тумбу — и забыла день, когда отца в ее жизни не стало.

— Тогда же снег был...

Прошла на цыпочках, поцеловала бабушку в щеку.

— Снег, пух — разве это уже важно?

— Ну да, ну да, — согласилась внучка. — День просто сумасшедший сегодня. Поем да лягу. Опять же чтоб лишний раз глаза не мозолить. Утро вечера всегда мудренее. А ночь все исправит...

Бабушка смотрит из-под свежей цветастой косынки строго, не моргнет:

— Ты только сгоряча не руби, Любушка. На сто раз все хорошенько обдумай, на шаг вперед погляди...

Внучка поцеловала любимую старушку в другую щеку.

— Не думай об этом, ба. Все будет в лучшем виде. Пускай тебе приснится алая роза, а не сопливая коза, — опередила с пожеланием, которое слышала с детства каждую ночь, за редким исключением.

Бабушка улыбнулась:

— Все верно, все так.

И с грустным вздохом:

— Розы твои, знаю, зацвели... Через форточку учуяла. Пусть лучше розы снятся!

11.

Любе не раз попадались тексты с так называемыми техниками заказа сновидений, управления снами, контроля и программирования сознания на просмотр вещего сна и прочее в таком духе.

Запомнилось особо, что вызывать сны в чужой постели строго запрещено, а хорошим подспорьем при заказе сновиденья могут служить материальные проводники, якобы отсылающие в необходимую точку информационного поля. Лучшие проводники — это фото заказанных лиц и вещи, хранящие их запах.

Люба тогда от чистого сердца смеялась над этим. А сейчас взяла фотографию, на которой все они, вся семья: бабушка здорова и улыбается, папа обнимает маму, мама обнимает Любу. Взяла снимок даже не для подстраховки: на сто и один процент была уверена, что все у нее получится. Достала цветное фото из рамки, чтобы, проснувшись, не спутать сон с явью. Прижала к сердцу единственное свидетельство совместного, единого на всех счастья — и, не успев закрыть глаза, оказалась в том далеком солнечном дне с фотографии. Только еще чудо-лес вокруг, весь пронизанный светом.

Дрожит Люба всем телом и душой дрожит, и свет дрожит вместе с ней.

Люба считает без запинки, чтобы точно, чтобы наверняка. Бабуля, помолодевшая лет на двадцать, плетет венок из ромашек — раз. Папа, каким его помнит Люба, играет в догонялки с мамой — два! И три — Саша все в той же джинсовой куртке на голое тело и тут же Саня Горнист в окружении прозрачных людей.

— Все на месте!

Люба дрожит, а солнце все ярче, и свет дрожит и мигает, будто перемигивается с тьмой. Гудит свет, трубит!..



— Мне надо проводить бабулю с отцом! — кричит Люба. — Вывести их из леса!

Запах хвои мешается с ароматом роз. Свет смешал цвета в радужные вспышки, кляксы...

— Считай от сорока до нуля! — Саша исчез с очередной вспышкой.

Вспыхнули и пропали бабушка с папой, и мать, и Горнист, и прозрачная девочка с такими ранищими глазами... Лес обернулся одной зеленой вспышкой, под протяжный вскрик горна зеленый цвет стал красным, следующий сигнал горна поменял красный на черный. Горн взревел, взрывая черноту белым цветом, белым светом.

— Сорок, тридцать девять, тридцать восемь, тридцать семь...

Что-то ударило Любу по спине, и еще раз, и по шее, и опять по спине, больно стукнуло в бок и по плечу...

Из другого света в этот свет Любу в прямом смысле выбила бабушкина клюка.

— Вот тебе и пять, и пятнадцать! — Баба Валя стояла у внучкиной кровати и в лучах рассвета смотрелась великаншей с посохом возмездия. — И двадцать пять! — Деревянная трость опустилась аккуратно на Любин затылок.

Люба стерпела боль, улыбнулась. От бабушки и тумачи, и затрепичины в радость. Бабуля на ногах, бабуля здорова — это главное, а остальное...

— Просила же прежде подумать на сто рядов, Люба! — Баба Валя еще раз стукнула внучку клюкой.

В дверях спросонья не могла понять, что происходит, мать — потерянная, растрепанная, несчастная, совсем не сильная женщина в сером свете не успевшего пробудиться утра.

Люба схватила помолодевшую бабулю и вместе с клюкой утянула к себе в кровать.

Тут и позвонили в дверь.

— Это что, сон?! — Мать едва не кричала. — Мы что, все в чьем-то дурацком сне? Или что, не пойму?!

Еще один настойчивый звонок.

— Кого в такую рань черти принесли!

Мать прошлепала к двери в тапочках на босу ногу, в одной комбинации, а на голове бигуди, и по щекам и лбу желтым налетом ночной крем.

— Ну кто там еще приперся, а?!

Люба обняла бабушку:

— Все хорошо, я все исправила. И еще исправлю, если придется, ба. Не плачь.

Но непослушная баба Валя плакала.

Мать в прихожей:

— Прибью, если это не что-то сверхважное или не конец света! Честное слово, прибью! — открыла дверь.

— Можно? — кольнул сердце Любы — Любаши, так он ее часто звал, — голос отца, и Люба заплакала.

За окном тишину нового утра взорвал торжествующий и воинственный зов горна.

НА СВОЕМ ЯЗЫКЕ

На литературной карте России Воронеж занимает особое место. Стоит ли говорить о Кольцове и Никитине, о Бунине и Платонове, о гениальном Мандельштаме, наконец? Все это Воронеж.

Какой он сегодня? Есть ли особая воронежская эстетика? Не думаю. Литературная школа? Тоже вряд ли. В первую очередь поэтов, чьи стихи представлены вашему вниманию, объединяет молодость, принадлежность к одному поколению. Младшему из нас, Павлу Сидельникову, — двадцать. И все-таки есть что-то помимо этого. Дружба. Общий воздух — мандельштамовский, черноземно-лесостепной. Схожий ритм лирического дыхания.

Центр нашего притяжения — поэт Зоя Константиновна Колесникова, литературное сердце Воронежа.

С годами мы стали независимее друг от друга. У каждого сформировались свои принципы и предпочтения, с которыми все труднее живется и пишется. Это неизбежный и, кажется, вполне правильный путь.

Дарья Князева, Анна Ковалёва, Павел Сидельников, Сергей Рыбкин и Павел Пономарёв — участники Форумов молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, авторы толстых литературных журналов.

Надежда Третьякова и Антон Шамраев в этом смысле выглядят чуть скромнее, но это нисколько не портит их стихи. Наоборот: неискушенность, часто идущая рука об руку с внутренней сосредоточенностью, дает свои результаты.

Главное же в том, что поэзия для многих из нас остается смыслом жизни, помогающим не сойти с ума и верить в завтрашний день.

Василий НАЦЕНТОВ

Дарья КНЯЗЕВА

* * *

Полое солнце дремлет в озябшем воздухе:
белая-белая-белая даль без просини...
Черная сеть наброшена на рыжину.
Мне бы молочную стынть киселя небесного
в пригоршню зачерпнуть.



Мне бы собрать про запас золотого, медного,
 чтобы оно до весны истекало светом бы
 в выпотрошенном доме.
 Но я стою посредине безлюдной улицы
 и ничего из этого не пойму.

И ничего не могу. Только ждать и щуриться,
 как бы оно само разошлось во мне —
 полое солнце, простертое бледным куполом, —
 в начисто обескровленной глубине.

* * *

Арестовали парк до выяснения...
 Но мирно улыбается осеннее
 седое солнце теплым воскресеньем:
 мол, не беда, никто не виноват.

А в листопадно-траурные салочки
 охряные пронзительные бабочки
 гоняют на подсоленном ветру
 и сиротливо грудятся в углу.
 Снаружи за решеткой бродят парочки
 и с завистью, с досадой смотрят, как
 среди клеенок и шпатлевки баночной

 торчат петрово-водкинские мальчики
 (чугунные, возвышенные над!)
 за перекрашенными прутьями оград.

Анна КОВАЛЁВА

* * *

Лист калины коснулся щеки:
 — Я не сплю.

Привет,
 я тоже не сплю.
 О нежном и тонком,
 спасибо, я помню.

У тебя пожелтели края.
Ты себя береги.
Эту тонкую грань
между холодом до
и холодом после.

* * *

глаз укрытый вздрагивающим
веком
непокойный ребенок под одеялом

внутри —
розовое
укромное
утробное гудение жизни
сладкое отсутствие ее цели
каникулы сердца

сон последний на вираже
первой мысли
передние колеса над обрывом

нет
не просыпайся
живи внутри
и не знай
что в мире прямо сейчас
происходит полное затмение
твоего взгляда

Павел ПОНОМАРЁВ

* * *

Я припомнил все, что будет завтра:
Будет сын. И дерево. И дом.
И жасмин второй раз под окном
Зацветет, когда наступит завтра.





Завтра не наступит никогда.
 Вынесены прошлого уроки,
 Вынесены собственные с(т)роки —
 Вынесен, исполнен приговор:
 Дедушкин жасмин снесен на мусор.

Господи, пусти меня во двор —
 Там теперь господствуют чужие.
 Там когда-то деда с бабой жили,
 Там я листья в горсти собирал.

И штакетник обернут в металл
 Листовой. Пожмем друг другу руки —
 Продан двор. И дом. Из дома внуки
 Выбегут, играя в города, —
 И в дальний путь на долгие года.

* * *

И кажется — эта зима не уйдет,
 и кажется — будет снег.
 Но бредит слабеющий мартовский лед,
 и тает разбитый след.
 И слово на воздухе талом мертво,
 и слову спасенья нет —
 да светится льдинками имя Твое,
 да придет сегодня снег!
 Да будет и воля, как на небе, здесь;
 но если в чем есть вина,
 то хлеб наш насущный дай нам днесь
 и долги остави нам.

И кажется — больше никто не умрет,
 и кажется — смерти нет.

Ломается,
 мается
 мартовский лед,
 и тает,
 и тает снег.

Павел СИДЕЛЬНИКОВ

* * *

*А стихи без рифмы — «Это, —
Говорил, — уже эссе».*

Т. Полетаева. Памяти А. Ц.

На своем языке,
как черноголовый щегол-недоучка,
издавать звуки, понятные одному себе.

Это ли не счастье —
ежесекундно заглатывать воздух
и предвкушать собственное дыхание
в надежде, что нечто изменится?

Изменится, если —
проснувшись воскресным утром
во время восхода сентябрьского солнца —
кровать, на которой лежал вчера,
сегодня — окажется новой.

Недоумевая,
нащупать руками-крыльями
свои клеенчатые глаза.
Точка зрения —
комнатная пыль, в которой
и жизнь, и смерть — одно и то же,
если посмотреть под правильным углом.

Не оттого ли
человек говорит на своем языке,
чтобы ему повстречалось чудо?..

...и миг невероятный как свидетель
другого неизведанного края,
где жизнь не началась сначала,
где смерть не кончилась еще.

* * *

...и в моих руках —
чистая тетрадь,
перышко пушистое,
пятнышко родимое.





Так музыка стучится невпопад.

И слышит, это слышит
старший брат,
живущий за пределами России,
где не топчут часики стенные,

но русскими словами говорят.

Надежда ТРЕТЬЯКОВА

* * *

К полувеку полувек
Прирастет — что проще?!
Полулёд и полуснег
На реке за рощей.

Полуправду, полусны —
Всё размоют реки,
Полные ладони тьмы
В нашем странном веке.

Полуголая звезда
Под веслом усталым.
Мне вода сказала: «Да», —
И меня не стало.

* * *

Мне не взлетается. Нет, никак...
Хоть невесомость дана рукам.
Как будто каждый мой легкий шаг —
Не в небо. В пропасть. А там — тоска.
Тоска по лету, теплу ночей,
По зазеркалью неспешных рек,
И ты свободен, и ты — ничей,
А значит, станешь моим навек...
И небо вымокшим решетом

Прольет дожди на твои следы.
И нам покажется, что потом
Случится счастье, где я и ты
Бежим по краю, по острию
У самой пропасти... не спеши...
Но нам лишь кажется...

Я стою
На пепелище своей души.

* * *

Подала тебе сонные руки —
Беспокойно целуют уста.
Словно знают о скорой разлуке,
Словно чувствуют — ах, не та...

Занавески едва коснешься —
Багровеет в тиши рассвет.

— Ты однажды ко мне вернешься?
— ...Нет.



Сергей РЫБКИН

Перекресток тревог

I.

пятнадцать градусов тепла,
двенадцать градусов в бутылке
темно-зеленого стекла,
голландский сыр наколот вилкой,
и не скажу, что жизнь была
лошадкой темной, тенью пылкой
зажженной спички у лица,

курю забытые окурки,
смотрю на звездные обмылки,
какие-то вдали утырки
словами целются в меня
и удаляются, я их
слова со злостью повторяю,



как будто бы во тьму ныряю,
в безлюдье завтрашнего дня

II.

к утру остывшая земля
пуста, и после сна тревога
в груди такая! выдох — ...
и успокоюсь понемногу
*из комнаты придется выйти —
в другую комнату войти*

*иди, мой миленький, иди
наружу*

III.

приду домой, сгорев в поту
от спешки, от побега с поля
проигранной войны в быту
и от бессмысленности боя,
война вблизи-издалека —
во мне, в стране, в себе самой,
*о Лета, долгая река,
отлей мне боли ледяной*

темнеет,
шум оконный стих,
движенье сумерек, Гертруда!
и ничего страшнее их
не принимаешь в ту минуту,
ты словно ими был захлестан
в тревог своих же перекресток

IV.

вот жизнь,
казалось, что ты сломлен,
метафора уже во рту,
и чувством смерти остановлен,
*произноси же немоту,
произноси-произноси —
иже еси на небеси —*

*ты есть, и ты — один
из нас,
мы принимаем*

Антон ШАМРАЕВ

* * *

Костры? Так давай о кострах, чтоб короче и ярче,
да чтобы вода, и туман над водой, и глаза
вязало от чая, как будто пред ними маячит
большое и важное, а присмотреться нельзя.

Да не к чему и ни к чему, но зато под ступнями
пырей и куски чернозема, а прожитый год —
семнадцатый вроде с начала, а то и с конца, кто же знает,
куда занесет.

* * *

Тяжелые веки, и век не сулит перемен
серьезнее перетасовки былых декораций.
Нельзя перебраться, и уж точно нельзя перебраться.
И ты напрягаешь гортань, но давно онемел.

Потом за стеной затихает последний пророк,
а ты барабанишь по трубам и требуешь шума;
но глухо.
За что зацепиться и что побороть —
ни взять, ни придумать.

* * *

Хочешь писать что-то важное.
Но слова дробью отскакивают от бумаги,
разлетаются по комнате,
бьют фужеры,
оставляют трещины в окнах.

Вокруг только стекло
и висящее в каждом шорохе:
куда
ты
лезешь?..



Василий НАЦЕНТОВ

* * *

Или ветер, как наше безумье, неистов,
а листва ураганом кружится, как пламенный остров,
все сбежавшие — слезы —
аполлоновки,
капли на ветках,
дробь, вибрация, трепет.

Боль твоих поцелуев —
пурпурный, алый;
как крыльями, машешь губами,
улетаешь, уходишь, гудишь
пароходом осенним,
отчаянным, сильным.

Нервов хрустальный букетик.
Застывший фонтан одиночества.
Брызги событий.
Уходите скорее и помните, будьте.

* * *

Вровень с веком:
и подробна его перебранка,
и услужлива, как пионерка, —
вздернут носик,
и косы крест-накрест.
Уходящая Годдар.
Стальной, словно сердце, рассвет.

Картинка застыла, но в дальнем углу —
дребезжанье, и хохот, и пальцев сухой перебор —
пробегают, как дождь, —
скальной ящеркой,
буквой картовой —
и теряется в мягкой воде языка.

Здесь грехи, как ночные кошмары, бездомны,
рот, как пламя, — в неоновой нашей постели,



как цветок одинок^й,
как дырка в затылке любви.

р-р-р катится
поклоны осеннему небу
 россыпь слез
в озоновых платицах
 в предгрозовом напряженье
 в разлуке
 распаде
клавиш вязов и ясеней
пауз платанов больших

Как потом разлагается этот рисунок!
Кожа, кости, впечатавшись в контур пространства,
звенят от соленого ветра,
как скелетик над дверью —
 беззубый, смеющийся,
накрытый стаканом оркестр.

Я себя предаю,
я, забывший себя, собираю осколки,
как в детстве бутылки:
из-под водки двенадцать копеек,
из-под пива — по пятьдесят.
Я — подрамник истории,
струсивший циник и бабник,
Мнемозина, мне горько и больно,
 и страшно,
 и страшно,
 и страшно,
 и так хорошо!

— Ляг в ладонь, как листок на осеннюю воду,
и плыви, сочиняя последнюю оду.

Распустившись на ниточки, глобус
цветет, как суровая роза.
И подхватит, как страсть,
как волнение, мерцанье и робость, —
и предательство этой земли,
и ее благодарность.

Игорь ЛАДЫГИН, Юрий ГОНЧАРОВ

ЗИГЗАГИ¹ ГЕНЕРАЛЬСКОЙ СУДЬБЫ

Мы продолжаем исследование Гражданской войны в Сибири, в частности событий в Ново-Николаевске в ноябре-декабре 1919 года, когда произошел мятеж белых русских частей под руководством Е. Н. Пославского и полковника А. В. Ивакина против режима адмирала Колчака. Ранее нам удалось представить общественности много новых интересных фактов (которые приводились, например, в журнале «Сибирские огни» № 2 за 2021 год), но исследование еще далеко от завершения. С каждым новым обнаруженным документом открываются забытые страницы истории кровавой российской междоусобицы и появляются новые вопросы, требующие ответов.

Мы познакомим читателей с одной из таких забытых страниц.

Поскольку часть нижеприведенной информации пока не удалось подтвердить дополнительными источниками и такая возможность вряд ли появится до открытия для исследователей особых архивов, этот материал следует считать не классическим научным исследованием, а скорее неким предположением, гипотезой.

В процессе исследования так называемого мятежа полковника Ивакина удалось узнать, что одним из главных действующих лиц в трагических для Ново-Николаевска событиях декабря 1919 года был генерал бывшей Российской императорской армии Станислав Феликсович Стельницкий.

Кто же такой генерал Стельницкий?

Вот что следует из некоторых документов, которые находятся в Российском государственном военном архиве.

В послужном списке генерала² указано, что он родился 1 декабря (здесь и далее все даты по старому стилю) 1854 года. Станислав Стельницкий был старшим сыном Феликса Осиповича Стельницкого и Эстевии Стельницкой. Его родители были дворянами польского происхождения, католического вероисповедания. У него было два брата: Ян Бронислав Стельницкий, родившийся 20 мая 1857 года, и Юзеф (Иосиф) Стельницкий, родившийся 2 августа 1859 года.

Станислав Феликсович появился на свет предположительно в местечке Негневичи Новогрудского уезда Минской губернии. Предположение основано

¹ Погоны генералов Российской императорской армии имели рисунок плетения га-луна в виде зигзага.

² РГВА, ф. 409, оп. 1, д. 173101. Лл. 12—20.

на том, что именно в этом городе родился и его брат (однако потомки брата генерала ничего не смогли сказать авторам о месте рождения героя нашего повествования).

Станислав Феликсович впоследствии женился на Магдалене Викентьевне Томашевич, уроженке Чернигова. У супругов было четверо детей: дочь Елена, сын Николай, сын Владимир и дочь Лидия. Жена и дети генерала были православными.

Основное образование Станислав Стельницкий получил в военной гимназии в Пскове. В 17 лет, 8 июня 1871 года, он подал документы в Рижское пехотное юнкерское училище, 4 декабря 1872 года ему было присвоено звание ефрейтора. После окончания училища 18 июля 1873 года его направили на службу в 101-й пехотный Пермский полк в Гродно. В том же полку служил потом и его брат.

В 1877 году в чине штабс-капитана Стельницкий отправился на Русско-турецкую войну. За отличия в боях с турками 2 сентября 1877 года награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами.

За храбрость и отвагу, проявленные в битве против турок 24 ноября 1877 года, император наградил его орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами.

После войны Стельницкий продолжил службу в 101-м пехотном Пермском полку. В 1887 году он стал капитаном и был избран членом полкового суда.

За высокие результаты в соревнованиях по стрельбе и за отличное исполнение должностных обязанностей он премировался денежными выплатами.

В 1892 году окончил Офицерскую стрелковую школу в Ораниенбауме.

В декабре 1892 года он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, одновременно произведен в подполковники.

Тридцатого сентября 1895 года его перевели в 157-й пехотный Имеретинский полк, дислоцировавшийся в Бобруйске, на должность командира батальона. В этом полку ему доверили стать председателем офицерского суда чести.

За время службы неоднократно откомандировывался в состав судов в Бобруйске и Вильно.

Приказом от 30 января 1902 года назначен командиром Семипалатинского резервного батальона, куда полковник Стельницкий прибыл 14 мая 1902 года.

Второго февраля 1904 года, после того как в Сибирском военном округе началась мобилизация, Семипалатинский батальон был развернут в 11-й пехотный Сибирский Семипалатинский полк. Во главе этого полка Стельницкий отправился на Русско-японскую войну.

В ходе войны Станислав Феликсович проявил себя храбрым и умелым командиром. Был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами, орденом Св. Георгия 4-й степени, золотым Георгиевским оружием «За храбрость». Вверенный ему полк не раз сражался вместе с Енисейским полком, который затем прибыл в Ново-Николаевск. Стельницкий был лично знаком с некоторыми офицерами, которые затем продолжили службу здесь, в нашем городе.

За отличия в боях с японцами произведен в генерал-майоры с назначением командиром 2-й бригады 3-й Сибирской пехотной дивизии³.

После окончания Русско-японской войны генерал Стельницкий был назначен генерал-губернатором в Челябинск. В декабре 1905 года город стал административным центром временного генерал-губернаторства Курганского,

³ РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 173101. Л. 15.





**Генерал от инфантерии
С. Ф. Стельницкий.**

Фотография с сайта www.alamy.com

Тюменского и Челябинского уездов. В дальнейшем Станислав Феликсович служил в западных губерниях Российской империи на должности командира бригады и был удостоен ряда орденов.

В декабре 1913 года генерал Стельницкий получил третью группу инвалидности (сказались контузии и ранения), а в 1914 году с производством в генерал-лейтенанты вышел в отставку.

Согласно послужному списку, генерал не имел недвижимого имущества.

В связи с началом Первой мировой войны генерал-лейтенант Стельницкий был снова призван на службу и 22 сентября 1914 года назначен командующим 58-й стрелковой дивизией.

За командование дивизией и личное руководство войсками левого фланга войск, блокировавших крепость Перемышль, в том числе за пресечение попытки прорыва блокады крепости 6 марта 1915 года и взятие в плен 84 офицеров и 3107 солдат противника, 3 ноября 1915 года Николай II наградил генерала Стельницкого орденом Св. Георгия 3-й степени.

В дальнейшем командовал армейским корпусом, дослужился до командующего Особой армией, был произведен в генералы от инфантерии (выше в Российской императорской армии был только чин генерал-фельдмаршала. — *Ред.*), награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами и орденом Белого Орла с мечами.

Последний документ из личного дела генерала содержит аннотацию за подписью командующего 8-й армией генерала А. Каледина и начальника штаба генерала Н. Строгова: «На службе у этого офицера не было оснований лишать его права на получение нагрудного знака безупречной службы».

Таким образом, перед нами возникает портрет храброго боевого генерала, отмеченного высшими военными наградами.

Тринадцатого ноября 1917 года Военно-революционный комитет в Луцке с помощью войск, вызванных с фронта, взял власть в городе и фактически снял генерала с командования Особой армией.

Тринадцатого апреля 1918 года он покинул армию в связи с ее роспуском советской властью.

Сведения о его жизненном пути после 1917 года скудны и отрывочны, однако для интересующихся историей Гражданской войны в Сибири они представляют несомненный интерес.

Итак, как же сложилась его судьба после так называемого октябрьского переворота 1917 года?

Далее авторы будут использовать информацию из различных, не всегда подтвержденных другими данными источников. О последующей судьбе генерала упоминается лишь в одном публичном источнике — справочнике историка К. А. Залесского, где утверждается, что в период Гражданской войны, в

1918 году, генерал Стельницкий служил в армии Украинской державы у гетмана Скоропадского. Других подтверждений данному факту авторам найти не удалось.

Между тем в Российском государственном военном архиве удалось разыскать любопытный документ — заявление генерала от 7 августа 1918 года о начислении пенсии: «Как раненый II группы прошу пенсию в размере 100 % от заработной платы, полученной за должность командира корпуса, на котором я пробыл 2 года 3 месяца»⁴.

В это время генерал проживал в Петрограде, где власть принадлежала Совету комиссаров Северной области. Четвертого сентября 1918 года советской властью генералу Стельницкому было назначено пенсионное жалованье.

Учитывая то, что к этому времени были отменены все чины, награды и связанные с ними установления царского времени, а многие генералы были казнены за одно лишь наличие генеральского звания, можно сделать предположение, что пенсия Стельницкому была определена советским правительством не за заслуги перед Российской империей, а за нечто другое — например, службу новой власти.

Чем в это время занимался генерал Стельницкий, авторам узнать не удалось. В декабре 1919 года С. Ф. Стельницкий оказался в белом Ново-Николаевске, где был назначен ответственным за эвакуацию войск, учреждений и ценностей.

Согласно информации польского историка А. Леховского, почерпнутой из полицейского досье, к 1919 году генерал женился во второй раз, официально или нет, авторы утверждать не могут. Его избранницей стала Мария Рачковская, ранее работавшая зубным врачом в корпусе, которым командовал генерал⁵.

Интересен тот факт, что жена приехала к нему в белую Сибирь из красного Петрограда через линию фронта...

Ряд фактов, подтверждение которым находится за стальными дверями архива советской разведки, косвенно указывают на то, что генерал служил в Русской армии адмирала Колчака в качестве тайного советского агента. Возможно, во многом благодаря ему эвакуация ценностей из Ново-Николаевска была сорвана и Красная армия взяла здесь богатые трофеи. Согласно воспоминаниям бывшего военного комиссара 4-й Вяземской артиллерийской батареи 27-й Омской стрелковой дивизии 5-й Красной армии Л. А. Краснопольского, «больше 30 тысяч солдат и около 2 тысяч офицеров, штабы 2-й и 3-й колчаковских армий почти в полном составе остались в городе безоружными в качестве пленных. Захваченные нами трофеи трудно и подсчитать: более 200 орудий, в том числе вся тяжелая артиллерия Колчака, 2 бронепоезда, 5 броневиков, около 1000 пулеметов, более 50 000 винтовок, 5 миллионов патронов и 3 миллиона снарядов. Были также захвачены все интендантские артиллерийские и инженерные склады фронта, огромное количество разного имущества»⁶.

Стельницкий не стал отступать с белыми войсками в Забайкалье. Согласно данным некоторых исследователей — попал в плен. Возможно, учитывая его предполагаемую работу на советскую разведку, он просто дождался Красную армию.

⁴ РГВА, ф. 409, оп. 1, д. 173101. Лл. 1—2, 10.

⁵ <https://poranny.pl/tragedia-w-trojkiacie-milosnym-maz-zabil-zone-jej-kochanka-i-popelnil-samobojstwo/ar/5340844> (дата обращения: 18.02.2020).

⁶ <https://www.universalinternetlibrary.ru/book/26308/ogl.shtml?ysclid=I9az0aruvx802681094> (дата обращения: 19.12.2021).



Успех Новониколаевской операции был обеспечен не столько победами на поле боя, сколько блестящей работой разведки Красной армии, принявшей участие в так называемом мятеже полковника Ивакина и в дезорганизации колчаковского тыла, в том числе путем использования международных связей.

Советской властью генералу Стельницкому было позволено жить в Белоруссии в предоставленном ему в пользование имении, а позже репатриироваться в Польшу.

Согласно информации польского историка А. Леховского, генерал Стельницкий появился в Белостоке (Польша) около 1922 года вместе с женой Марией Рачковской и ребенком. Мария Рачковская была в два раза моложе генерала. Стельницкий устроился интендантом в военный госпиталь (в это время ему было уже 68 лет), а Мария — стоматологом в Белостокскую кассу здравоохранения. Вскоре госпиталь был закрыт, и генерал стал работать в Кредитном банке Белостока⁷.

В 1923 году в Белосток прибыл тридцатилетний беженец из большевистской России Николай Акимов. Согласно версии белостокской полиции, между Акимовым и женой генерала возникли романтические отношения. Акимов навещал семью Стельницких почти каждый день. В течение шести месяцев генерал терпеливо переносил измены супруги. После он направил Акимову категорическое письмо с требованием прекратить встречи с женой. Разговор с неверной супругой закончился рукоприкладством. В конце 1923 года генерал купил пистолет парабеллум. Он рассказал друзьям о романе своей жены и добавил, что пуля точно решит проблему. Боевой генерал решил отстоять свою честь с оружием в руках, как на полях сражений, в которых он принимал участие...

Первого января 1924 года он застрелил свою неверную жену, ее любовника и покончил жизнь самоубийством.

Судя по заметкам в белостокской прессе того периода, симпатии жителей Белостока были на стороне генерала...

Имеется небезосновательное предположение, что на самом деле генерал был убит, а все остальное было инсценировкой для прикрытия ликвидации. Авторы не будут комментировать эту информацию и предоставлять ссылки на источники. Возможно, когда-нибудь соответствующие архивы будут рассекречены и правда станет достоянием общественности.

Потомки генерала ныне проживают в Бельгии.

Польским исследователем по просьбе авторов было найдено место захоронения генерала. Возможно, когда-нибудь на его могиле будет восстановлен памятник. Генерал Станислав Феликсович Стельницкий заслужил его на полях сражений Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войн, в которых лично принимал участие.

⁷ <https://poranny.pl/tragedia-w-trojkacie-milosnym-maz-zabil-zone-jej-kochanka-i-popelnil-samobojstwo/ar/5340844> (дата обращения: 18.02.2020).

Народные мемуары

Ирина ЛЕВИТ

**АНГЛИЯ ПО-СИБИРСКИ,
или ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНГЛИИ,
КОГДА ТАМ ПОЧТИ НЕ БЫЛО РУССКИХ,
ТЕМ БОЛЕЕ СИБИРЯКОВ**

Несколько предварительных слов

Обычно принято писать так: «Все события и персонажи данного повествования выдуманы, любые совпадения с реальностью следует считать случайными».

Я же напишу иначе: «Все события и персонажи — совершенно реальны, включая имена и названия, и даже мои мысли и чувства лишены малейших фантазий, что, допускаю, может показаться странным, учитывая, сколько минуло лет».

Иными словами, все рассказанное здесь — чистейшая правда.

А вот и мы!

— *Боже мой! Если б ты знала, как я хочу приехать в Россию! Всю жизнь мечтаю приехать в Россию!* — вздыхает Маша Баркиниоу.

— *В Советский Союз?* — уточняю я.

— *Ну да, конечно, в Советский Союз! В Россию! Совсем маленькой девочкой мечтала, представляешь? У вас был Сталин, а я спрашивала папу: «Когда мы поедем в Россию?» А моя нянька — она была очень смешная! — говорила: «Маше надо похудеть. Ее надо посадить на идиёта». Это она так слово «диета» произносила. «Толстых девочек в Россию не пускают. В России плохо питаются, и все дети худые. Там все равны, там все должны быть одинаковыми, поэтому ты не можешь быть толстой». Да-а... Теперь мне пятьдесят четыре, а я еще больше мечтаю! Помнишь, у Чехова в «Трех сестрах» — «В Москву! В Москву!»? Вот и я: в Москву, в Москву! А еще в Петербург! Обязательно в Петербург! Ну хорошо, пусть в Ленинград! Какая разница?*

— А в Сибирь ты не хочешь?²
 — В Сибирь?.. Туда ссылали на каторгу... И там очень холодно...
 — В Новосибирске, где я живу, каторги нет. И это даже не север Сибири. Конечно, месяцев пять зима, но в Петербурге-Ленинграде тоже климат не ахти.

— Да-да, я знаю. Но все равно хочу на Неву. Там сохранился наш дом. И дворец дядюшки Феликса тоже.

— Какого дядюшки Феликса?²

— Князя Феликса Юсупова.

— Того самого, который с товарищами убил Григория Распутина?² — изумляюсь я.

— Ну да. Мы родственники, — произносит Маша буднично. — В начале шестидесятых я навещала дядюшку Феликса, пыталась разузнать, правда ли, что он лично убил Распутина?² Ведь об этом сильно поговаривали... Но он только улыбался... Впрочем, — она тоже улыбается, легко, без сожаления от неузнанной тайны, — какая разница?² — И тут же добавляет горестно: — Неужели я никогда не смогу приехать в Россию?²

Газеты Нориджа (если читать Norwich по буквам, получалось «Норвич», но это ведь английский язык: пишется «Манчестер» — читается «Ливерпуль») сообщали о том, что русские привезли в этот английский город самых красивых девушек. Причем из далекой Сибири, где, вероятно, и живут самые красивые девушки.

Это было, конечно, сильным преувеличением. Среди двух с лишним десятков молодых туристов из Новосибирска были девушки и красивые, и обыкновенные, и вообще так себе. Но то по советским меркам. А по британским... Да простят меня жительницы гордого острова, лошадеподобная Диана Спенсер, незадолго до нашей поездки ставшая женой принца Чарльза, на общем фоне выглядела первой красавицей Соединенного Королевства. Внешность женщин — это не то, чем могла гордиться Великобритания.

Но главным, что взбудоражило жителей столицы графства Норфолк, были не прелести приехавших девушек, а то, что русские в принципе приехали.

«Русские!» — с интересом.

«Русские?» — с удивлением.

«Русские...» — с опаской.

Это был октябрь 1981 года.

Уже почти два года шла война в Афганистане, о которой англичане знали больше, чем те, чья страна ввела туда войска, а самое главное — по опыту Британской империи понимали, что победить в этой войне нельзя.

Уже в Польше действовал оппозиционный профсоюз «Солидарность» Леха Валенсы, и англичане говорили, что советские коммунисты вот-вот введут в Польшу свои танки, как это было с Чехословакией в 1968-м.

Уже демонстрировала свой крутой нрав премьер-министр Великобритании консерваторша-реформаторша Маргарет Тэтчер, к которой англичане относились очень неоднозначно, а большинство жителей Нориджа и вовсе плохо, поскольку на выборах там победили лейбористы.

Уже наступил тот этап холодной войны, когда оставалось менее полутора лет до знаменитой речи друга Тэтчер, президента США Рональда Рейгана, в которой он назвал Советский Союз империей зла.



— Вы должны иметь в виду, — наверное, в сотый раз напутствовал нас уже в Москве, в центральном офисе Бюро молодежного туризма «Спутник», очередной «ответственный товарищ», — что у Советского Союза в Европе сегодня самые сложные отношения именно с Великобританией. Туристический обмен между нами практически прекращен. В нынешнем году всего две группы. Весной ездили из Москвы, и вот сейчас, осенью, выбрали вас, сибиряков. — «Ответственный товарищ» с недоумением оглядел избранных (дескать, какого лешего «этих», могли бы снова из Москвы, своих желающих полно) и, словно опомнившись, продолжил тоном пламенного трибуна: — Вы, которым выпала высокая честь представлять нашу страну за рубежом, должны понимать, какая на вас лежит ответственность! Но сибиряки... — Трибун запнулся (не исключено, про себя чертыхнувшись: «Надо же, такую блатную поездку кинули этим медведям!») и провозгласил почти надрывно: — ...всегда были впереди! Вспомните Великую Отечественную войну, сибирские дивизии! Они отстояли Москву! И теперь вы должны отстоять репутацию нашего государства, можно сказать, в стане врага! А потому вы обязаны быть на высоте! На самой высокой высоте! Да... — Тут взор его помрачнел и голос посуровел. — Возможно всякое... вплоть до провокаций... Так что бдительность, бдительность и еще раз бдительность! Вы должны быть готовы! Вы готовы? — призвал он инструктируемых строго, словно пионеров на торжественной линейке.

— Всегда готовы! — легкомысленно хихикнул кто-то.

«Ответственный товарищ» спринтерским взором обежал наши сплоченные ряды, к счастью, хохмач тоже оказался шустрым, сделал морду валенком и остался неразоблаченным. А мог бы со своим чувством юмора отправиться не в Англию, а назад в Сибирь...

Иными словами, нас отправляли в Англию, словно в стан врага, где, впрочем, многие готовы были проявить свой героизм, но досталась эта миссия сибирякам.

В свою очередь англичане, если верить тому, что писали в газетах города Нориджа, восприняли приезд русских как событие тоже не лишнее опасности, однако же удивительное, интересное и очень притягательное.

* * *

Русских, а вернее, советских — и это принципиальное уточнение! — в Норидже практически не видели никогда. О жителях овечьей разными страшилками Сибири даже слышали очень немногие. А тут — целая команда! Вот ведь диво дивное! Причем особо дивное потому, что, плохо представляя себе, как выглядят русские-советские наяву, город Норидж имел школу и факультет в университете, где преподавали русский язык и литературу!

Именно на этом факультете «разговорный русский» вела потомок русских князей Маша Баркиншоу. Почему-то она сразу «пошла на меня» — решительной поступью, неся на каблуках высокую статную фигуру в чем-то ярком и развевающимся, улыбаясь круглым и тоже весьма ярким лицом. Миссис Баркиншоу была немолода, однако, чуть позже узнав, что по советским меркам она почти пенсионерка, я изрядно удивилась. Большинство моих соотечественниц в возрасте за пятьдесят в те годы не просто сходили — скатывались! — в старость. По крайней мере, тогда мне казалось именно так. Но Маша производила впечатление очень даже цветущей дамы, поэтому я не испытала ни малейшей неловкости, когда она, годившаяся мне в матери, сказала:

— Я — Маша Баркиншоу. Просто — Маша. И, пожалуйста, обращайся ко мне на «ты».

По-русски она изъяснялась отменно. Без малейшего намека на «иностранщину», без того подчас едва уловимого интонационного и лексического оттенка, который указывает, что человек свободно владеет языком, но для него этот язык чужой.

В нашей группе было несколько человек, прекрасно знавших английский. В том числе главная переводчица «Интуриста» Ольга, имевшая (в отличие от большинства членов делегации) богатую практику разговорного общения с носителями языка.

— Великолепно! — восхищались Ольгой британцы.

— Очень хорошо! — делали они комплименты двум Наташам, преподавательницам английского.

И только на одного человека смотрели озадаченно:

— Где вы так выучили наш язык?

— В советской школе! — бодро отвечал Эдик, студент факультета иностранных языков пединститута, сроду не получавший по английскому выше четверки, вероятно, потому, что, по мнению преподавательниц Наташ, постоянно делал грамматические ошибки.

— Поразительно! — изумлялись англичане. — Правда, — отмечали самые чуткие, — у вас австралийский говор.

— Вот такое у нас в Новосибирске замечательное образование! — вдохновенно врал Эдик.

Не мог же он признаться «представителям вражеской державы», что в детстве несколько лет прожил в эмиграции в Австралии и австралийский английский язык стал для него родным. А кто говорит на родном языке, соблюдая все грамматические конструкции? Да никто! Абсолютно грамотно изъясняется только хорошо обученный чужак.

Маша в России никогда не была, но русский язык воспринимала как родной. Она правильно выговаривала даже звук «щ», который не встретишь ни в одном распространенном языке и если научишься произносить, то с огромным трудом. Борщ, щепотка, щёлочь... Сколько старательных иностранцев «надорвались» на этом заковыристом звуке.

— Мне сказали, что ты — журналист. Значит, ты все знаешь про жизнь в России! — Она смотрела на меня с жадной надеждой. — И сможешь мне все рассказать!

— Ну-у... я знаю далеко не все...

«И уж точно далеко не все расскажу», — мысленно добавила я, вовремя вспомнив напутствие «ответственного товарища»: бдительность, бдительность и еще раз бдительность!

— Все равно! Я много лет не видела русских... настоящих русских... которые советские... А когда Арчи, наш профессор Арчи Тейт, мне позвонил и сообщил, что вы приезжаете... Что придете к нам в университет, на наш факультет!.. Я была так счастлива! Арчи! — закричала она по-русски. — Арчи, идите сюда!

...Арчибальд Тейт, которого все называли коротко — Арчи, невысокий, поджарый, с мягким голосом и внимательными глазами, спокойный в движениях, сдержанный в эмоциях, интеллигентный в словах и поступках, был в свои тридцать семь лет не только университетским профессором, но и крупнейшим в Европе специалистом «по Луначарскому», виднейшим знатоком драматургического наследия первого советского наркома просвещения.

— Как?! — поразила я, три года назад окончившая факультет журналистики Уральского госуниверситета в Свердловске, где давали солидное гуманитарное образование. — Луначарский писал пьесы?! Ни о чем подобном я не слыхала!

— Имел такую слабость, — на великолепном, но не абсолютно чистом русском языке просветил меня Арчи.

— Странно... Мы изучали в университете всякую белиберду, которую писали в двадцатых-тридцатых годах полуграмотные пролетарские поэты и писатели...

Тут я едва не подавилась. Идиотка! Что я несу?! Представителю капиталистического государства! Про наших пролетарских творцов! Как там их фамилии?!.. Ну, во-первых, Демьян Бедный! Тупизм полный, прости господи! Или — Гладков. Его шедевр под названием «Цемент» я даже ради экзамена не смогла одолеть до конца. А еще писателю еще со смешной фамилией Малышкин! Как там его роман назывался?!.. Забыла! Но помню, подавилась первыми страницами. Даже общепризнанный Маяковский сочинил чушь про «крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: что такое хорошо и что такое плохо?». Ну и далее по тексту с подробным перечислением, как должен поступать образцовый мальчик, а как не должен. Типа ходить грязным — смертный грех, а мыть руки — честь и хвала. Занудно! Назидательно! Топорно! Какой-то хохмач у нас на факультете этот долбающий прямо в детское темя стих ехидно переиначил. В результате чего тот стал начинаться словами: «Крошка сын к отцу пришел, и сказала крошево: хорошо-то хорошо, да ничего хорошего».

— Я имею в виду, — начала я грамотно «отъезжать», — что революция вдохновила многих людей на литературное творчество и появилась целая плеяда поэтов и писателей, чьи произведения я, безусловно, читала. Но... я никогда не читала пьесы Луначарского и никогда не слышала, чтобы в наши дни их ставили в каком-нибудь театре.

— Это естественно, — спокойно кивнул Арчи, деликатно пропустив мимо ушей политически некорректное высказывание про белиберду полуграмотных пролетариев. — Луначарский писал плохие пьесы. Критики того времени его жутко ругали. Но как он, особенно в публичных дискуссиях, защищал свои пьесы!.. О!.. Это было великолепно! Я думаю, Луначарскому следовало заниматься драматургией только для того, чтобы окружающие могли насладиться его ораторским блеском!

Впрочем, этот разговор состоялся позже, а тогда, когда Маша крикнула «Арчи, идите сюда!», профессор мгновенно материализовался из-за ее спины со словами:

— Не кричите, пожалуйста, Маша. Я здесь.

— Вот! — не снижая голосового накала, воскликнула Маша, ухватила меня за ладонь и потрясла ею чуть ли не перед носом профессора Тейта. — Это Арчи! А это Ира! Вы должны обязательно познакомиться поближе!

И она, раскинув руки, в которые мы оба попали, как в клешни, подтолкнула нас друг к другу, сократив дистанцию до неподобающих для истинных британцев размеров.

Я это снесла спокойно, а Арчи вздрогнул, покосился на Машу и безнадежно вздохнул.

— Очень приятно, — сказал он тем не менее совершенно искренне.

В этот момент Машу кто-то окликнул, и она, протараторив: «Я сейчас, подождите меня», ушагала вглубь коридора.



Арчи Тейт, который пусть с натяжкой, но годился Маше в сыновья, проводил «отцовским» взглядом удаляющуюся спину и признался:

— Это я, когда узнал, что ваша делегация посетит наш факультет, пригласил Машу. И когда прочитал, что среди членов делегации есть журналист, сообщил Маше... — Он посмотрел на меня выжидательно: дескать, не нарушил ли тем самым правила приличия?

Я благосклонно покивала, и профессор Тейт продолжил каким-то извиняющимся тоном:

— Понимаете, Маша — человек своеобразный... Не совсем... — он замялся, — привычный для нас... британцев... Некоторые считают, что она... э-э-э... — Арчи запнулся, явно подбирая соответствующее слово, и наконец подобрал: — С чудиками!

— С чудачествами, — поправила я.

— А?! Да! С чу-да-чест-ва-ми! — выговорил он старательно. — Да-да, с ними. Но это, я думаю, объясняется просто. Это потому, что Маша — русская. Самая настоящая русская!

Ну конечно, неприязненно подумала я, если с «чудиками», то, естественно, русская. Кто же еще?

— Я, вероятно, неправильно выразился, — смутился оказавшийся на редкость чутким профессор Тейт. — Просто русский характер... он более открытый, непосредственный, независимый от условностей... У нас живут еще несколько русских, но они другие, они всю жизнь прожили в Англии... А Маша приехала около двадцати лет назад.

— Она эмигрантка? — насторожилась я, вспомнив предупреждения «ответственного товарища» по поводу возможных провокаций.

— Эмигрантка?.. — задумался Арчи. — Кажется, она приехала из Франции.

— А-а-а... не из Советского Союза?..

— О нет! В Советском Союзе да и в России она не была никогда. Это ее родители жили в России... До революции... — И тут же заговорил приглушенно, словно оправдываясь: — Но я прошу вас понять... Ее родители были очень знатными людьми. Они были князьями! И, кажется, были приближены к вашему царю.

Тут он смутился, растерялся и даже, как мне показалось, испугался. Ну вот, наболтал этой русской-советской, да еще журналистке, а значит, не исключено, коммунистке, про княжеское прошлое Маши, да еще про царя, расстрелянного этими самыми коммунистами... Это ведь в родной Англии аристократы в цене, а в России — клеймо. Да она с Машей не то что общаться — здороваться не станет. Побойтся... И других предупредит. А Маша так рассчитывала... так радовалась, что настоящие русские приезжают! Н-да... а еще профессор... знаток России... человек с хорошим английским воспитанием...

Как ни старался Арчи Тейт «держать лицо», оно у него предательски «терялось», и тогда я сказала преувеличенно бодро:

— Какая интересная биография! Будет очень интересно пообщаться!

В конце концов, на «инструктажах», полагавшихся перед поездкой в капиталистическую страну, в том числе на встрече с «ответственным товарищем» в Москве, нам сто раз указали, что мы не просто туристы, а пропагандисты советского образа жизни. Однако ни словом не обмолвились, что нельзя общаться с потомками русских князей. А разве не им мы в первую очередь должны нести идею нашего советского — самого лучшего — образа жизни?

— О, конечно! — обрадовался Арчи. — Сразу видно, что вы очень умная и воспитанная девушка!

Появилась Маша, со смеющимся лицом. Следом решительной поступью промаршировала дама, смахивающая на гвардейца, а за ней более степенно выкатились человек пятнадцать юношей и девушек.

«Гвардейская дама» распахнула рот в «улыбке радушия», продемонстрировав крупные лошадиные зубы, и хорошо поставленным голосом провозгласила что-то по-английски.

— Друзья! Прошу всех в зал! Наша встреча с преподавателями и студентами факультета русского языка и литературы начинается! — выкрикнула приставленная к нашей группе переводчица Гейл, миленькая, светленькая «крольчиха», которая называла нас исключительно «друзьями» и весьма прилично изъяснялась по-русски.

Зал я представляла себе либо комнатой с большим строгим столом, со стульями вокруг и запасными «сидячими местами» вдоль стен, либо актовым залом со сценой, трибуной и креслами для публики.

Все оказалось не так. Зал представлял собой уютное кафе с барной стойкой в углу, паркетным «пяточком» посередине, окруженным мягкими креслами и столиками, на которых располагались чайные и кофейные чашки с блюдцами, а также тарелками с изысканными бутербродиками, воздушными кексами и затейливыми пирожными.

Был только полдень, а нам предстояло второе по счету (после встречи в школе с углубленным изучением русского языка) «кофечаепитие» с соответствующим «перекусом». И это не считая классического английского завтрака утром — овсяных хлопьев с молоком, яичницы с беконом, жареных тостов с соленым маслом и цитрусовым конфитюром. Тосты с соленым маслом и цитрусовым конфитюром, которых прежде я никогда не пробовала, оказались изумительно вкусными.

Кстати, на «предварительных инструктажах» нас предупреждали: англичане — люди аскетичные и прижимистые. Кормить будут скудно, но не вздумайте требовать добавки. Готовьтесь похудеть.

Мы приготовились затягивать пояса, а в итоге были вынуждены их распускать. Аскетичные и прижимистые англичане не только кормили нас на убой три раза в день, но и сопровождали каждое мероприятие (а их порой насчитывалось до семи в день!) «кофечаепитием» со всем вытекающим гастрономическим сопровождением.

Маша села за столик рядом со мной. Затем перегнулась через кресло и, ухватив за полу пиджака профессора Тейта, указала ему место по другую сторону от меня. Сбоку скромно уместились двое студентов.

«Гвардейская дама», которая оказалась деканом факультета русского языка и литературы, вступила на «пяточок» посередине зала и, щепляясь языком за зубы, провозгласила по-русски с дичайшим акцентом:

— Я приветствую вас, уважаемые русские гости из далекой Сибири!

После чего под аккомпанемент переводчицы начала толкать речь. Речь была «полагающаяся по случаю» — такие произносят на всевозможных официальных и полуофициальных встречах: особо ни о чем, но все очень прилично.

— Она ни черта не знает по-русски, — шепнула мне в ухо Маша. — Эти несколько слов зубрила неделю.

— И она руководит таким факультетом? — удивилась я.



— Что ты! Она потрясающая! — горячо заверила Маша. — Если бы не она, факультет давно бы закрыли! В начале 1960-х, когда в космос полетел Гагарин, в Англии стал популярным русский язык. Тогда появились наш факультет и специальная школа! А теперь... — Маша тяжело вздохнула. — Желающих все меньше и меньше... И учатся все хуже и хуже... Нас несколько раз уже пытались закрыть. Но она!.. Бьется за сохранение, как лев, и у меня пока есть работа.

Про «учатся все хуже и хуже» стало понятно через несколько минут, после финальных слов деканши, что в зале собрались лучшие студенты факультета, которые готовы ответить на вопросы на родном для гостей языке.

Услышав это, гости, раздосадованные провальной встречей в «спецшколе», где не смогли объясниться по-русски не то что с учениками, но даже с их учительницей, воспряли духом. Ах, как мило! И уж точно — обнадеживающе! Не школяры, пусть и старшеклассники, и даже не училка, бледная поганка, а студенты, причем лучшие!

Из наших десяти фраз, простых по конструкции и произнесенных с особой душевностью едва ли не по слогам, лучшие студенты поняли от силы две. И то путем коллективного напряжения. Их ответы были соответствующие — наши внешне благодарные лица с большим усилием скрывали распирающий нас изнутри смех.

Маша вновь тяжело вздохнула, профессор Тейт покраснел, а деканша встревоженно завертела головой: что такое? что-то не так?

И тут на «пятак» выскочил Эдик. Он умел каким-то неожиданным образом «выскакивать» — подчас некстати, а порой в самый раз. В данный момент он сумел очень вовремя выкрутиться за всех нас.

— Молодцы! — проорал он радостно. — Русский язык — очень трудный язык! Самый трудный из европейских языков! А вы...

Хвалебную суть его короткого и очень эмоционального спича я уловила только по интонации, поскольку Эдик вещал на английском языке.

От похвалы (разумеется, совершенно незаслуженной) студенты-русисты расцвели, а их педагоги, за исключением понимавших что почем Маши и Арчи, расплылись в благодарственных улыбках. И тут опять слово взяла деканша:

— Молодой человек из России великолепно владеет английским! Я просто поражена! Уверена, — обратилась она к своим питомцам, — вам осталось приложить еще чуть-чуть усилий — и вы сможете говорить по-русски так же!

— Все-таки она — потрясающая! — хихикнула Маша. — Сравнила божий дар с яичницей.

Арчи вновь зарумянился:

— Маша, вам лучше не упоминать эту поговорку. У нее есть подтекст... Для некоторых он может показаться неприличным.

— Ах, бросьте, Арчи! — отмахнулась Маша. — Так говорил даже мой папа. Папа имел блестящее воспитание. А вы слишком щепетильничаете.

— Сче-пе... Что? — очень серьезно спросил профессор Тейт. Такого слова он явно не знал. В отличие от Эдика или Маши, в его гладкой, почти без акцента русской речи все же угадывался иностранец. К примеру, звук «щ» произнести чисто у него не получалось. — Сче-пе... — повторил он, явно сиюсь вспомнить и выговорить новое слово.

— Я вам потом запишу на бумаге, — пообещала Маша, перегнувшись через меня и едва не ткнувшись губами в профессорское ухо. — А сейчас тихо! Смотрите, они будут давать концерт.

И в самом деле, концерт дали. Аж из четырех номеров! Первые два забылись почти тут же, а вот два других...

Все на тот же «пяточок» вышла девушка в яркой длинной хламиде, перетянутой веревкой под грудью, с широкими лямками, из-под которых выглядывали рукава белой футболки. Вероятно, этот наряд означал русский сарафан. Впрочем, из-под импровизированного сарафана тоже кое-что выглядывало — полинялые джинсы и кроссовки. Девушка обвела нас светлым возвышенным взором, почему-то уставилась на меня и принялась декламировать, заламывая руки на сарафанной груди:

— Я помню чудное мгновенье! Передо мной явилась ты! Как мимолетное виденье! Как гений чистой красоты!..

Она акцентировала каждую фразу, не скупясь на восклицательные знаки, с трудом прожевывая слова, но с необыкновенным чувством.

Мне стало не по себе. Все мы знали (в школе проходили), что знаменитое стихотворение Пушкина посвящено Анне Керн, то есть это любовное послание. А в данном случае его адресовали как бы мне. Конечно, я понимала, что девушка-красавица вперилась в меня случайно, поскольку я находилась между двух ее преподавателей, а ей, вероятно, нужно было визуально найти «точку опоры», вот я и оказалась этой «точкой», в которую она устремила пыл и страсть. Однако выглядело это несколько двусмысленно.

— После концерта она подойдет и возьмет тебя под ручку, — с веселым ехидством прошипел сидевший сзади меня Сережа — самый старший среди нас и душа группы.

Еще несколько дней назад мне бы и в голову не пришло, что «под ручку» может быть предметом для ехидства. Многие русские женщины ходили, зацепившись руками друг за друга, особенно зимой, в гололед. Но в первый же вечер в Англии нас вежливо, однако без пояснений предупредили: не следует, девушки, так делать, не принято.

Просветила нас главный переводчик «Интуриста» Ольга, которая работала с самыми разными иностранцами и потому была в курсе. Оказывается, если девушка на Западе пойдет с подружкой под ручку, то их сочтут лесбиянками. Такой ярлык в СССР (да и Англия была еще по этой части очень консервативной) считался ужасом и жутким неприличием. Хорошо хоть, что, в отличие от «голубых» мужиков, для женщин нетрадиционной ориентации в Уголовном кодексе статьи не было. Их просто признавали больными.

Между тем девушка в сарафане закончила объясняться в чувствах мне (вернее, Анне Керн) на таком надрыве, что я убоялась, как бы ее удар не хватил. Но ничего, обошлось. В итоге ее утопили в буре оваций. Чтица благодарно улыбнулась и поклонилась в пояс. Вероятно, поклон был связан с тем, что, по мнению отдельных англичан, у русских принято благодарить, бухаясь лицом в колени. При этом длинный пушистый «хвост», торчащий из девчоночьей макушки, лихо подмел пол на «пяточке». И весьма кстати. Потому что следом на «пяточке» началось такое...

Сначала вырубил свет. Потом сверху, со всех сторон, вспыхнуло множество прожекторов, разноцветные лучи заметались по стенам, полу, нашим головам и мощным пучком сошлись в центре зала, осветив белокожего блондина в черном блестящем трико и чернокожего парня в таком же, но белом трико. А дальше возникла музыка... Именно — возникла. Полилась непонятно откуда и растекалась непонятно как, похожая не на перебор нот, а на перезвон небесных колокольчиков. Нечто космическое, таинственное... Под эту мелодию парни

начали двигаться, синхронно перебирая ногами и руками, «переламываясь» телами, словно были не людьми, а роботами, но не из металла, а из тугой резины. Парни замерли в финальной «механической» позе, и тут на нас сверху обрушились звуки какого-то бешеного оркестра. Танцоры тоже словно взбесились: принялись крутиться на месте, выделявая немислимые па, после чего рухнули на пол, только что подметенный «хвостом» любительницы поэзии, и, выбрасывая в стороны руки и ноги, начали вертеться на попе, на животе, на спине, на голове...

— Это у нас новый танец, — шепнула Маша. — Станный, правда? Брейк-данс называется. Но вообще-то красиво...

Я кивнула. И странный, и красивый... В СССР он пришел только через несколько лет...

Танец закончился, зажегся свет, и мы зашлись в искренних овациях.

— Спа-си-бо! — так же синхронно, как только что танцевали, провозгласили парни по-русски.

Кланяться в пояс не стали — просто покивали головами. И впрямь — с чего им челом бить? Они уже и так «побились» всеми частями тела. Достаточно для услаждения русских гостей.

— А мои родители считали неприличным даже танго, — поделилась Маша. — Они очень многое считали неприличным. Что поделаешь, их воспитывали для определенной жизни...

— Для какой — определенной? — поинтересовалась я.

— Для княжеской...

Подрубленные корни

— Я урожденная светлейшая княжна Ливен. Русская княжна со шведской фамилией, которая родилась в Болгарии. Забавно, правда?

Маша улыбается — без грусти, без обиды, без сожаления... легкой улыбкой детских воспоминаний, которые так далеки от нынешней жизни, что, кажется, ничего и не было вовсе.

— Родителей выгнала революция. Как и многих...

И вновь без грусти, без обиды, без сожаления...

— В Болгарии мы не были богатыми, но и бедными не были. Грех жаловаться, мы нормально жили в Болгарии. Впрочем, не стоит говорить о моих родителях...

Спустя несколько десятилетий я задаю себе вопрос: почему так спокойно, так несвойственно для естественного журналистского любопытства отмахнулась от информации о Машиных родителях? Не стоит о них говорить? Ну и ладно... Их уже давно нет в живых, и это дело прошлое...

Я еще в ранней юности слышала про князей Ливенов, но как звали Машиного отца, не помню. Или никогда не знала. Это ведь в России привыкли к именам-отчествам, а в Англии скорее упомянут титул. Вот титул был, а имя где-то растворилось.

На какой веточке в разветвленной кроне генеалогического древа князей Ливенов уместилась Маша, не могу понять до сих пор, хотя теперь стало очень даже интересно. Неисчерпаемый кладезь интернета выдал на эту тему море информации, но больше из далекой истории, из века двадцатого — незначительные бризги. Или я не докопалась до потаенных уголков этого кладезя?

Имя отца Маши так и осталось для меня тайной. Но кое-что я узнала. Во-первых, Маша не просто княжна, а светлейшая княжна — среди Ливенов имелись и те и другие. Во-вторых, после революции 1917 года ее родители жили в Болгарии, где и появилась на свет Маша то ли в конце 1926-го, то ли в 1927 году.

В интернете я нашла только информацию про светлейшего князя Андрея Александровича Ливена, который родился в 1884 году, в 1914 году был предводителем дворянства Коломенского уезда Московской губернии, после революции воевал в белой армии, эмигрировал в Турцию, затем попал в Болгарию, где посвятил себя церкви, дослужившись до протоиерея, параллельно став поэтом, музыкантом и художником-карикатуристом. В период, когда родилась Маша, Андрей Александрович был секретарем Епархиального совета при управлении русскими православными общинами в Болгарии. Умер в 1949 году.

Там же я обнаружила упоминание о его дочери Елене, известной как игуменья Серафима, всю жизнь прожившей в Болгарии. Но ни единого слова о дочери Марии. С чем это связано? С тем ли, что, в отличие от основательницы женского монастыря Елены-Серафимы, Мария выбрала самую обычную (а потому малоинтересную для летописцев) мирскую жизнь? Или с тем, что отцом Маши был не светлейший князь Андрей Александрович, а кто-то другой из Ливенов, также избравший самую обычную стезю? Об этом сегодня можно только догадываться.

Обидно, что я все могла узнать у Маши. Но не узнала. Не разуверила ее в том, что эти фамильные подробности мне без надобности. Не раскрыла «книгу судеб», оказавшуюся у меня под носом.

«Почему? Отчего?» — вопросы, которые сейчас задаю себе в изумлении. Но это сейчас. А тогда... все было, в общем-то, просто. Тогда меня такие темы не занимали. Совсем.

Интерес к аристократии провис меж двух времен, как облезлый и дырявый старый гамак меж двух усохших берез — в нем легко запутаться, но трудно обрести комфорт.

В 1980-х в СССР наступило время, когда «князья с графьями» перестали поголовно восприниматься как монстры, кровопийцы, лютые враги трудового народа или просто изнеженные бездельники, неспособные шагу ступить без прислуги. Советские идеологи реабилитировали аристократов, отличившихся в войне с Наполеоном, и возвели в ранг героев высокородных декабристов. Уже перестал смущать графский титул Льва Толстого, чей писательский талант вознесли на особый пьедестал слова Ленина о том, что создатель романа «Война и мир» есть «зеркало русской революции». С пониманием начали взирать на Ивана Грозного, с добродушной улыбкой вспоминать самодержицу всероссийскую Екатерину Великую, а Петра Первого вовсе причислили к плеяде выдающихся государственных деятелей прошлого.

Но... Еще не наступило время, когда «князья с графьями» махом превратились в цвет русской нации, перед которым неблагодарные потомки должны бухаться на колени. Не потянулись в дворянство толпы «дворовых людей», а кухаркины внучки и лакейские внуки не ринулись доказывать, что их предки пусть тайно, в греховных связях, но помечены аристократической кровью. Еще не превратились в знак избранности титулы, купленные за углом по сходной цене.

Начало 1980-х было временем пограничным между пренебрежением к родовитости и ее восхвалением, пока еще преобладало безразличие к родовым



корням в общем и аристократическим отрокам в частности. А я была типичным представителем своего времени, равнодушным к чужой генеалогии, пусть и одобренной «голубой кровью». Да что там к чужой! К своей собственной тоже, в которой высокородность не просматривалась, но небезынтересное было.

Мой отец родился в 1908 году в Клинцах. Ушел на пенсию в 81 год, а работать начал сразу после Октябрьской революции. От великой семейной бедности был вынужден с девяти лет вкалывать на камвольной фабрике, одновременно учась в школе. Нищие детство и юность отец вспоминал долгие годы, а я, росшая в уже вполне благополучной семье директора предприятия, думала: как хорошо, что мы живем при советской власти, давшей беднякам возможность выбиться в люди!

При этом меня не смущало то, что папина мама и моя бабушка Ханна Эммануиловна, которая никогда не расставалась с книгой, до революции успела окончить гимназию. А ведь я знала, что в гимназию даже еврейских мальчиков принимали только по квоте или за большие деньги, а уж что говорить о девочках! В моем «просветленном» советском сознании дореволюционное гимназическое детство бабушки мирно уживалось с послереволюционным голодным детством ее сына.

При этом я «с чувством глубокого удовлетворения» воспринимала рассказ о том, как дедушка Абрам, умерший задолго до моего рождения, отказался от предложения тестя вместе с братьями жены эмигрировать в 1916 году в Северо-Американские Соединенные Штаты. Долго ли дедушка раздумывал, история умалчивает, но окончательное решение было принято после совета со старшим сыном, моим отцом, которому на тот момент не исполнилось и восьми лет!

«Стоит ли нам уезжать?» — спросил Абрам и получил ответ, что не стоит, потому как здесь наша родина. (Известный анекдот «Здесь наша родина, сынок!» распространился спустя десятилетия, так что мой папа вполне мог претендовать на авторские права.) «Устами младенца глаголет Бог», — заявил дед. А юный патриот вскоре отправился зарабатывать семье на хлеб.

Гимназия, отвергнутая Америка, многолетняя бедность долгие годы существовали в моей голове в параллельных измерениях, не вызывая стремления разобраться в деталях. И только в конце 1980-х, в период расцвета гласности, стали известны любопытные факты.

Выяснилось, что мой прадед, Эммануил Фарберов, был умным и богатым человеком, который не только хотел, но и смог обеспечить своим детям, в том числе дочери Ханне, хорошее образование. А сыновей отправил в Америку перед революцией не просто в поисках лучшей доли, а в предчувствии тяжелых испытаний на родине. Причем дал им с собой слитки золота и взял обещание, что, обустроившись, они перевезут за океан близкую родню.

Не перевезли. Хотя честно старались вплоть до 1932 года, пока советские родственники, обнищавшие и запуганные, не прервали с новоявленными американцами всякие отношения.

Но все это, повторяюсь, я узнала только в конце 1980-х. А до того удовлетворялась информацией, какую имела, не утруждая себя излишней любознательностью.

Папа начинал с мальчишек-разнорабочих, а к тридцати годам руководил фабрикой? Показательная история советского человека!

Светлейшая княжна Ливен не «нагружает» меня рассказами о своих родителях? Для советского человека аристократия — давно ушедшая эпоха!

Однако вот ведь что забавно... Эпоха, которую я считала изрядно пронафталиненной, вынырнула из прошлого, величаво повела плечами и... весело подмигнула.

* * *

— Арчи, — сказала я, — мне всегда казалось, что в Англии к женщинам обращаются — «мисс» или «миссис».

— Совершенно верно, — подтвердил профессор Тейт.

— А почему ко мне обращаются — «леди»?

Арчи, как всегда, улыбнулся смущенной (словно извиняющейся за вторжение на чужую душевную территорию) улыбкой:

— Это понятно. К тебе, — я с самого начала настояла, чтобы мы перешли на «ты», — так обращаются потому, что считают девушкой из соответствующей семьи. Тебя считают леди.

— Меня?!

— Ты очень хорошо и дорого одета. Так у нас одеваются только леди, — серьезно пояснил Арчи.

Сегодня подобным заявлением никого не удивишь. Сегодня можно стать «как леди» в течение пары часов, если не жалко денег на шмотье, якобы сотворенное в Париже, хотя на самом деле — в Китае. Но тогда...

Сохранявшаяся по сию пору страстная любовь к нарядам, давно отплавившая в Европе, не говоря об Америке, — почти генетическая болезнь россиян, которые были вынуждены десятилетиями довольствоваться серым ширпотребом или, не имея знакомств в торговой сфере, вбухивать невероятные деньги в какие-нибудь джинсы, добытые у фарцовщика. Помню, что в конце 1970-х, когда ежемесячная зарплата в 150 рублей считалась приличной, джинсы у спекулянтов стоили 350 рублей.

Именно приобретенные (не за великие деньги, но по великому благу) штаны американских ковбоев, а также мелкорубчиковый вельветовый костюм, самолично сварганенный из двух домашних халатов (вельвет купили несколькими годами ранее, когда он еще не превратился в писк моды, а считался дешевой тканью), были предметами моего особого шика.

Но для англичан шиком оказалось другое — сшитое на заказ из хорошего и отнюдь не дефицитного драпа пальто, кожаные сапоги на высоких каблуках и велюровая шляпка с извлеченной из запасников моей мамы, вновь вошедшей в моду вуалеткой.

— Ты шикарно одета, — воздал должное профессор Тейт. — Посмотри, как вокруг одеваются... особенно молодежь... Джинсы, вельветовые куртки, кроссовки... Все это... м-м-м... — Арчи задумался, подбирая нужное слово, и подобрал: — Шир-по-треб! И как одета ты!.. У тебя очень дорогая одежда! Как у настоящей леди! Я имею в виду вот это... — Он обвел взглядом пальто, сапоги и шляпку с вуалеткой, скромно опустив виденные на мне джинсы и бывшехалатный костюм.

Спустя несколько дней, уже в Лондоне, я и впрямь почувствовала себя леди. Нашу группу привели к официальной королевской резиденции — Букингемскому дворцу на встречу с депутатами парламента от лейбористской партии. Привели несколько раньше условленного времени, а потому отпустили погулять поблизости. Мы и погуляли: вместе с интуристовской переводчицей Ольгой устремились в открытые ворота близлежащего парка.



О, это был настоящий английский парк — такой, каким мы его себе представляли: с могучими деревьями, идеально подстриженной травой, тщательно выметенными аллеями и до блеска отполированными скамейками. Но при этом — абсолютно безлюдный. Почему-то нас это нисколько не удивило. По крайней мере, сначала.

Удивило другое. Минут через пятнадцать одиночного фланирования нам встретилась элегантная дама, рядом с которой трусила борзая, причем без поводка. За несколько дней пребывания в Англии мы почти не видели среди белого дня собак, к тому же без поводка. И тем более никто просто так на улице с нами не здоровался. А тут дама послала нам наилюбезнейшую улыбку и сказала:

— Добрый день, леди.

Мы отреагировали подобающим образом: разве что книксен не сделали. После чего разошлись с дамой в разные стороны.

На обратном пути, почти у самых ворот, нам попался навстречу еще один человек — на сей раз мужчина, тоже весьма элегантный, правда, без собаки, но в шляпе и с зонтом в виде трости.

— Здравствуйте, леди, — проговорил джентльмен, приветственно приподняв шляпу. Мы отвесили полупоклон.

— Вот она, истинная английская вежливость! — умилилась я.

— О да! — подтвердила Ольга, не раз по долгу службы общавшаяся с англичанами.

— Только почему в таком шикарном парке нет народа? — озадачилась наконец я и оглянулась на ворота, открывавшие доступ в это рукотворно-природное великолепие.

— Не ценят... — вознамерилась выдать соответствующий комментарий Ольга, но неожиданно осеклась, уставившись на аккуратную табличку, прикрепленную к воротам. — Знаешь, что тут написано? — проговорила она удивленно.

— Что? — изумилась я Ольгиному удивлению.

— Вход в парк только для гостей королевской семьи!

Тут мне вспомнилось, о чем я читала в книге об Англии известного журналиста: если написано, что вход только для выпускников Итонского колледжа, никто другой и не войдет.

У входа в парк не было охраны — просто предупреждающая табличка. Мы оказались в парке, и нас приветствовали как людей, имеющих на то право. Возможно, мои драповое пальто и шляпка с вуалеткой были дополнительным подтверждением этого права.

Милый, милый КГБ...

— Как хорошо, что ты смогла приехать в Англию. Наверное, это было очень сложно? Ведь не каждый может вот так — захотеть и приехать?.. — спрашивает Маша.

«Конечно, не каждый, — думаю я, — а только тот, кто мощный блат найдет».

(Сейчас человеку моего тогдашнего возраста многоходовые операции по добыванию зарубежной туристической путевки кажутся нелепыми. Проблема может быть только одна — финансовая. А в те далекие советские годы хоть на мешке с деньгами сиди, черта с два без соответствующих

знакомств, поклонов и нервотрепки купишь путевку в Болгарию, не говоря о капстране.)

— В общем-то да, сложно... слишком много желающих... — отвечаю я туманно.

— А у нас ездят в Россию. Это, конечно, недешево, но у меня есть средства. И я бы с такой радостью!.. — Маша мечтательно смотрит вдаль, словно именно где-то там явственно просматриваются то ли башни Кремля, то ли стены Зимнего дворца, то ли просторы Сибири.

— Так что тебе мешает? Возьми и приезжай!

Мечтательный взор Маши меркнет, откуда-то из глубин ее глаз всплывает и застывает испуг — не внезапный, острый, а какой-то привычно-обреченный.

— Я не могу, — говорит она тихо и озирается, словно опасаясь, что кто-нибудь подслушает. — Если я приеду в Россию, меня сразу схватит КГБ.

По идее, мне, труженнику идеологического фронта, основательно навздрюченному перед поездкой «ответственными товарищами», следовало бы перепугаться от подобного заявления и возможных последствий знакомства с этой княжеской теткой, но я лишь впадаю в изумление.

— КГБ?! Тебя?! За что?!

— За то... — Маша на мгновение замирает, а затем шепчет напряженно: — ...что я невозвращенка. А значит, преступница.

«Невозвращенец» — страшное слово советской эпохи. Человека выпустили на короткое время на Запад, а он не захотел возвращаться, уперся ногами в чужую капиталистическую землю, убежища запросил. Негодяй, мерзавец и подлец! У меня имелась одна знакомая «невозвращенка» — одноклассница Лида, которая в 1979-м поехала в гости к родственникам в ФРГ да там и осталась. Вопреки расхожим представлениям, никто из нас, подружек-одноклассниц, от этой дружбы не пострадал. Пресловутый КГБ нас даже для беседы не вызывал. А Лида по-прежнему поддерживает с нами отношения и пусть изредка, но приезжает в гости в родной Новосибирск.

— Как ты можешь быть невозвращенкой, если ты никогда не жила в Советском Союзе? — недоумеваю я.

— Да, не жила, — соглашается Маша. — Но я жила в Болгарии, которая после войны стала социалистической. И я оттуда сбежала во Францию! В Англию приехала в начале 1960-х из Франции... Понимаешь, — начинает она оправдываться, — после войны советские власти сказали всем русским: «Возвращайтесь». Настоятельно так сказали. И даже советское гражданство сразу пообещали. Но ведь русские эмигранты в то время были кем? В основном бывшими белогвардейцами. Я совсем молодая была, но мне умные люди посоветовали: «Не вздумай! Сразу в лагерь попадешь». Умные люди тогда хорошо понимали про лагерь для бывших белогвардейцев. Да и для детей их тоже. Я очень хотела в Россию. Очень! Но я сбежала... — Маша вновь опасно оглядывается, вздыхает. — Поэтому, если я сейчас приеду в Россию, меня сразу съапают Комитет! Государственной! Безопасности! — произносит она, тщательно (вероятно, для пуцега моего осмысления) проговаривая каждое слово. — Ведь получается, что я невозвращенка.

— Глупая ты! — заявляю я непочтительно и с внутренним облегчением. — Лет-то сколько прошло! Сталин давным-давно помер. Те лагерь



лесом заросли. И вообще времена изменились. Думаешь, КГБ делать больше нечего, кроме как за тобой охотиться?»

— О-о-о... — Маша качает головой, смотрит на меня с сочувствием умудренного человека. — Ты слишком плохо знаешь ваш КГБ... К счастью, наверное...

В любой советской туристической группе были свои соглядатаи. Официальные и неофициальные.

Первый из официальных — руководитель группы, обычно партийно-комсомольский функционер, за все отвечающий, а потому балансирующий на двух стульях: вроде на отдыхе за государственный счет, а вроде и в делах многотрудных да опасных. Не приведи судьба, какой катаклизм случится или кто финт выкинет, на родине руководителю первому башку оторвут.

Номером вторым был «пропагандист» (именно так подобного человека называли официально) — как правило, тоже партийно-комсомольский функционер или шибко блатной, получивший путевку бесплатно. Пропагандисту вменялось в обязанности заниматься... пропагандистской работой. Что это такое, оставалось загадкой, поскольку никакая политическая, идеологическая деятельность за границей не позволялась. Впрочем, на сей счет никто не замудрялся. Все знали, что пропагандист — человек из «своих», которому просто преподнесли подарок в виде дорогой туристической путевки, но, в отличие от руководителя группы, никакими реальными обязанностями не нагрузили, разве что поручением приглядывать за товарищами по группе и «сигнализировать» куда надо.

Эти двое были ясны и понятны всем. Они могли оказаться пакостными личностями, а могли — приличными людьми, старающимися никому не портить отдых. Но они были «при исполнении», а значит, несколько наособицу. С ними общались, но ухо держали востро.

Однако предполагался еще один — неофициальный, растворенный в коллективе, занимающий в нем отдельное место. Этот человек имел реальное имя, но не реальную биографию, вроде бы обычный отдыхающий, а на самом деле — засекреченный труженик всемогущего ведомства. По всеобщему убеждению, каждую туристическую группу, отправляющуюся в капстрану, тайно сопровождал сотрудник КГБ.

В действительности не всегда складывалось так, но мнение на сей счет было стойким и безоговорочным: тайный сотрудник непременно должен наличествовать, имея главной целью за всеми бдить (составляя затем на каждого соответствующее донесение), незаметно страховать от «неправильного» поведения, а в случае крайней нужды, например при чьей-либо попытке зацепиться за чужую страну, противодействовать антисоветским проявлениям.

Нельзя сказать, чтобы такой тайный сотрудник априори считался врагом. Все выезжающие в капстрану были заранее тщательно проверены, хорошо понимали «правила игры» и к гипотетическому представителю «конторы» (а именно так было принято называть КГБ) относились не столько с враждебностью, сколько с настороженным любопытством. Что за фрукт? Каков на вкус, на цвет, на запах?..

Понять — что за фрукт, а также определиться по поводу вкуса, цвета и запаха хотелось почти всем, поэтому поиски «нелегала» превращались в своеобразный ритуал. Своего рода игру, смахивающую на ставшую спустя годы



популярной «Мафию». По законам игры роль агента КГБ примеряли чуть ли не на каждого.

Однажды вечером мы засиделись в гостиной допоздна — переводчица Ольга, бывший австралиец Эдик, красавец студент Саша, вузовский преподаватель Сережа, доцент кафедры истории КПСС Женья и я. Трепались о чем-то незамысловатом, смеялись... в общем, расслаблялись.

На соответствующую тему разговор вынул с жалобы Эдика.

— Ребята, скажите, почему так? Ко всем относятся как к нормальным людям, а меня вечно шерстят. Этот тип в Москве, который нам инструктаж устраивал, хоть к кому-то после подошел? Нет? А ко мне прицепился. Выспрашивал: в каком вузе учусь, с какой стати факультет иностранных языков выбрал и почему захотел в Англию непременно поехать? Ну, я ему объяснил: то да се, английский язык — моя будущая специальность... А он физиономию покривил. Как будто я грех какой совершил. Перед отлетом, помните, в Мавзолей Ленина нас повели? Сколько в этой длиннющей очереди народа плелось? Тьма-тьмуца! Но только меня «люди в штатском» тормозили. Аж два раза! Первый раз паспорт проверили. Второй раз облапали. Они что, пулемет под курткой искали? А здесь?.. Эта шушера с разноцветными волосами, панки местные, кому из вас стали плакат «Крыса Тэтчер» совать? Никому! Исключительно мне! А в Британском музее? Всех спокойноенько пропустили и только меня чуть ли не обыскали. Ну вот и объясните, чего ко мне все цепляются?

— Понимаешь, Эдик, — деликатно начала Ольга, основательно выученная работой в «Интуристе», — ты вроде бы как все, но твой вид...

— А что мой вид?! — немедленноотреагировал Эдик. — У меня что, башка разноцветная, как у панка?!

Ольга внимательно оглядела Эдика, словно выискивая красно-сине-зеленые пряди, сказала туманно:

— У тебя вид человека несколько иного... более раскованного, чем все остальные...

— Ты не похож на советского человека! Из тебя так и прет твое заграничное прошлое! — сообщил Саша с радостью ребенка, сделавшего очередное детское открытие. В сущности, он, красивый, любознательный, всего на год перешагнувший двадцатилетие, и был ребенком, искренне считающим себя очень взрослым.

Эдик был не намного старше Саши, но то ли австралийское прошлое с обрушившимся на него советским настоящим, то ли природное устройство характера создавало ощущение, что этот парень куда более умудренный.

— Ты чего несешь?! — возмутился Эдик и опасливо обежал глазами гостиную, в которой никого, кроме нас, не просматривалось.

— Вот дурак-то я! — мгновенно понял свою оплошность Саша. Дураком он не был, но наивностью отличался, а потому с энтузиазмом спросил: — А среди вас, ребята, случайно нет кагэбэшника?

— Вот как раз среди *меня* его и искать! — фыркнул Эдик.

— Нет, ты не подходишь, — согласился Саша. — У тебя не та биография. Таких в КГБ не берут, — веско изрек он.

— А каких берут? — с иронией поинтересовалась Ольга.

Саша посмотрел на нее вьедливо.

— Ну... таких, как ты, например. А что? Английский знаешь всюю... В «Интуристе» числишься... Постоянно с иностранцами... Всё как надо! А?





— Примитивно мыслишь, — поморщилась Ольга. — Так топорно КГБ не работает.

Она умолчала, что замом управляющего «Интуриста» был подполковник госбезопасности и это не являлось особым секретом.

По идее, Саше следовало поинтересоваться, откуда Ольга знает, что для КГБ топорно, а что — нет, но он не собирался сосредотачиваться на нюансах, воодушевившись игрой в угадайку.

— Ладно! — легко отмахнулся он от «подозреваемой» и почти плотоядно уставился на меня. — А вот ты? У тебя классная легенда! Ты якобы журналистка. Можешь все высматривать, выведывать, вынюхивать, со всеми общаться, вопросы разные задавать... И никто тебя не заподозрит! Разве нет?

— Она действительно журналистка. Безо всяких «якобы», — неожиданно вступился за меня Женья, доцент кафедры истории КПСС, человек степенный и, по меркам нашей группы, «возрастной», тридцатипятилетний. — Я ее статьи регулярно в областной газете читаю. И даже недавно в институте встречал, она с нашим ректором шла по коридору.

— А-а-а... Ну тогда конечно... — легко признал ошибочность своих предположений Саша, который явно решил, что я не могу полдня служить в КГБ, а полдня — в газете. И тут же заинтересовался самим Женьей. — А вот кто подтвердит, что ты действительно историю преподаешь? Может, у тебя это отмазка такая? Вот расскажи нам что-нибудь интересное про КПСС!

— А ты способен меня на незнании предмета поймать? — хмыкнул доцент.

— Ну-у-у... — Саша замялся, после чего честно признался: — Я на экзамене по истории КПСС трояк получил.

— Тогда тебе придется поверить мне на слово, — сказал Женья.

— Придется, — кивнул Саша и задумался. В данной компании список «подозреваемых» для него закончился.

— Ты еще по мне не прошелся, — напомнил Сережа.

— По тебе?! — изумился Саша. — Не-е-е... вот ты совсем не подходишь!

— Это еще почему? — вроде как даже обиделся Сережа.

— Да ты что?! Ты ж такой классный мужик! Ты не можешь быть кагэбэшником!

Наверное, теперь уже нам, подозреваемым и оправданным, следовало обидеться. Поскольку получалось, что Серега — классный парень, а мы вроде как подпорченные. Но мы не обиделись. Мы развеселились. Ведь это было истинной правдой: Сережа, самый старший в группе, ему было тридцать семь лет, человек компанейский, остроумный, обходительный, всем помогающий и умеющий сгладить любые острые углы, с первых дней стал всеобщим любимцем. Причем не только у нас, но и у англичан.

— Вот уж кто-кто, а Серега вне подозрений! — уверенно провозгласил Эдик и многозначительно подмигнул Сереже.

* * *

Спустя годы я узнала, чем была сцементирована подобная уверенность. Оказалось, что сомнительный и для своих, и для чужих Эдик впрямь не был белым и пушистым. По советским, естественно, меркам. Помнится, перед поездкой каждому из нас обменяли рубли на 42 фунта стерлингов. Бери и ни в чем себе не отказывай! При этом Эдик тайно вывез из Советского Союза пятьдесят

то ли австралийских долларов, то ли голландских гульденов. Сейчас над этим можно посмеяться. Но в то время, когда рядовой советский человек за одно обладание валютой, не говоря о попытке вывести ее за рубеж, мог отправиться в тюрьму, деяние Эдика было способно вызвать оторопь. Сумасшедший! Он рисковал махом перечеркнуть всю свою жизнь.

Эдик, однако, рискнул, его контрабанда пересекла границу, но возник вопрос: как эти доллары-гульдены превратить в родные для британцев фунты стерлингов? Ответ имелся лишь один: обменять в банке. Памятуя, что для многих он выглядит сомнительной личностью, Эдик не решился отправиться в банк в одиночку и выбрал себе в компаньоны Сережу. «На тебя все хорошо реагируют, ты для всех совершенно благонадежный», — пристал с уговорами обмиравший от страха Эдик, и добряк Сережа не смог отказать.

Операция прошла успешно, в глубочайшей тайне и без последствий для Эдика. Естественно, он был готов кровью расписаться в благонадежности Сережи. Да никто в ней и не сомневался.

В итоге «мозговой штурм» на тему «угадай кагэбэшника» уперся в тупик. Перебрав всех членов туристической группы, мы сошлись во мнении, что ни один не подходил на роль тайного агента, а посему его в нашем коллективе нет. «Соответствующие инстанции» возложили всю ответственность на руководителя группы, завотделом обкома комсомола Марию, которой по итогам поездки предстояло на каждого из нас написать характеристику-донесение. Несмотря на функции официального соглядатая, Марию вполне можно было считать славной женщиной. Ее положительный образ портило одно — она периодически чего-нибудь страшно пугалась и на этой почве начинала нехстати будоражиться, суетиться и всех напрягать. В такие минуты наша сплоченная группа приводила в действие беспроектный сценарий: напускала на нее Сережу, который, словно опытный психотерапевт, утихомиривал мятущуюся душу.

Но... сотрудник КГБ в нашей группе тем не менее был!

* * *

Раскрыл этот секрет студент Саша. Точнее — его мама, директор гостиницы, где находилась самая лучшая в Новосибирске сауна. Рассматривая фотографии, сделанные сыном, она вдруг ткнула пальцем в один из снимков:

— А это кто?

— О-о-о!.. — залился соловьем Саша, но мама, выслушав радостную трель, тут же обломала соловью крылья:

— Это майор КГБ. Он с сослуживцами несколько раз к нам в сауну приходил.

Произошло это буквально накануне первой после поездки встречи нашей группы. Так что встреча началась со всеобщего шока.

— Всеобщий любимец Сережа?! Майор КГБ?!

По молодости лет и сугубо теоретическому представлению о спецслужбах мы не понимали, что таким всеобщим любимцем и должен быть профессиональный «нелегал».

Уже благополучно сдавшая свой пост руководительница группы Мария была немедленно призвана к ответу. Уж она-то точно должна была все знать с самого начала. Но закаленная комсомольскими боями женщина свое знание засунула в рот и проглотила, словно партизан сверхважное донесение, так что врагу не



досталось ничего. «Пропагандиста» тоже взяли в оборот, но он ловко увернулся от перекрестного обстрела, не получив даже легкого ранения. Как выяснилось, он был не в курсе и потому обиделся — чай, не рядовой товарищ, «компетентные органы» могли бы проинформировать.

Самое большое потрясение испытал Эдик. Мы тогда не знали про его доллары-гульдены и озадачились: с чего вдруг он возбудился сверх всякой меры?

Поохав и поахав, припомнив детали совместного отдыха, мы пришли к выводу, что регулярное усмирение нашей перманентно дергающейся руководительницы и куда большая, чем ожидали, легкость и свобода путешествия — в первую очередь заслуга Сережи. Пусть он майор КГБ, но и среди таких майоров есть классные парни.

Сережа явился на встречу с опозданием и был встречен не с настороженностью и гневом, а с веселым азартом, которым сопровождался рассказ о том, как его, тайного агента, застукали в бане. Свое разоблачение Сережа воспринял достойно и даже с юмором. Посмеялся над моим ехидным замечанием, дескать, вот так прокалываются советские разведчики, после чего спросил:

— Ребята, вам плохо отдыхалось? Нет? Неприятности у кого-нибудь после были? Нет? Так какие проблемы? — И заверил: — Вы все молодцы! Ни к кому никаких претензий. Так что расслабьтесь!

Тут он приобнял Эдика и похлопал его по спине. Никто значения этому похлопыванию не придал. Кроме самого Эдика, который понял: его валютные махинации майор КГБ сохранил в секрете.

* * *

Еще во время поездки у меня с Сережей сложились приятельские отношения, которые не разрушило его разоблачение. Поэтому именно к нему я пошла за советом, когда спустя три года, в 1984 году, опять по великому благу добыла путевку в круиз по Северному и Балтийскому морям. Дания, Англия, Франция, ФРГ — мечта, а не поездка!

В Лондон, специально для встречи со мной, из Нориджа намеревались приехать на два дня Маша Баркиншоу и Арчи Тейт. Вопрос мой был прост: что мне надо для этого сделать?

— Значит, так, — принялся инструктировать Сережа. — Не вздумай встретиться с ними тайком.

— Разве я с ума сошла?!

— Да, ты такой глупости делать не будешь, — воздал мне должное майор КГБ. — А предпримешь следующее. Как только ступишь на корабль, проинформируй руководителя группы, что в Лондоне тебя ждут хорошие знакомые, с которыми познакомилась в прежней поездке.

Моя физиономия мгновенно скисла. Предварительное общение (беседы, инструктажи и далее по схеме) с руководителем нашей группы надежд не внушало. Если прежняя руководительница создавала впечатление перепуганной курицы, то очередной комсомольский начальник — надутого индюка. Такой величественный, многозначительный, с въедливым «ленинским» прищуром...

— Ну, проинформирую, и что дальше? — спросила я уныло.

— Дальше поинтересуешься: на кого писать заявление с просьбой о разрешении? Если вдруг вожак вашей стаи начнет вилять — ты ж понимаешь, на кой черт ты ему сдалась со своими сомнительными знакомствами? — проявишь

осведомленность: дескать, ты в курсе, что писать надо на директора круиза. Если твой комсомолец удивится, откуда, мол, знаешь, как-нибудь хмыкни неопределенно, плечом поведи, в общем, нагони пурги. Ты это умеешь. Только не переусердствуй! Настроичи заяву и передай ее руководителю на глазах еще нескольких человек, чтобы он не пытался отвертеться. Потом он тебе выдаст решение директора круиза. Такова технология, твой туристический босс ее знает.

— А решение будет положительным? — вдохновилась я.

Сереза развел руками:

— Тут ничего гарантировать не могу. Как масть ляжет.

— Может, мне с директором круиза самой поговорить? — принялась я искать варианты, но Сереза инициативу враз погасил:

— Ты всерьез считаешь, что самый главный здесь — директор? Не будь наивной! Самый главный, по крайней мере в твоем деле, — это мой коллега. Поскольку вас, круизников, собирают со всей страны, наверняка отправят кого-то из Москвы. Как его формально обзовут, сказать трудно, но от него все зависит.

— Поня-а-атно... — вновь скисла я. — Попадется типа тебя, будет все в порядке. А попадется какой придурок...

— Остается надеяться на лучшее, — философски изрек Сереза.

* * *

От Копенгагена до Лондона мы шли в течение полутора суток. Упаси бог сказать моряку, что он плавал! Настоящий моряк вас тут же утопит в том, в чем он плавал, потому что он может только идти и никак иначе — по воде аки посуху. Но и сказать «шли» было бы лживо по отношению к действительности.

Спущенный на воду в 1939 году голландскими кораблями турбоэлектроход «Балтика», прославившийся тем, что на нем Никита Хрущев совершал визит в Америку, а ныне отданный четырем сотням туристов, не шел, не плыл, а неистово продирался сквозь беснующеся Северное море. Всем было объявлено про шторм в семь баллов. На самом деле было почти девять, и капитан более суток не покидал капитанского мостика.

Впрочем, разница между семью и девятью баллами для подавляющего большинства пассажиров не играла никакой роли — несчастные жертвы морской болезни лежали в лежку. Почти четверть корабельной команды тоже пребывала в ужасном состоянии, потому как это были обычные люди, пусть и «при исполнении». В свое время на «Балтике» больше двадцати лет служил то ли старпомом, то ли боцманом моряк, которого при малейшей волне начинало выворачивать наизнанку, но он любил море, как родную маму, и все терпел, несмотря на то, что море ему было злой мачехой.

Про девятибалльный шторм, капитана, старпома-боцмана и команду (в основном скрытую от пассажиров в трюме и не смевшую без особой нужды появляться перед их глазами) мне рассказал Борис, по должности — пассажирский помощник капитана.

Он не мог со мной не познакомиться. Как можно обойти вниманием пальму, зеленеющую среди тундры, или обезьяну, вышивающую «крестиком»?.. Или одинокую девицу, блуждающую на расплзающихся ногах по кораблю, периодически заваливающуюся на стены, цепляющуюся за наглухо привинченные предметы, но совершенно трезвую и бодрую?



Корабль метался в разные стороны, вздыбливался и падал вниз, а девица танцевально-балансирующей походкой перемещалась от барной стойки к столику, стараясь не расплескать кофе.

— Юра! — заорал помощник капитана бармену. — Кто разрешил во время качки кофе продавать?!

Оказывается, кофе во время качки — это ужас и кошмар, но я об этом не знала.

— Так она уже не первую чашку! — с азартом заключившего пари зрителя отрапортовал бармен. — Ей хоть бы хны!

И это было правдой. Я никогда больше не попадала в шторм и даже в легкую качку, не знаю, как бы отреагировала на это сейчас, но тогда мне было действительно хоть бы хны. Где-то в каютах в полубоморочном состоянии лежали мои несчастные товарищи, заплатившие большие деньги за удовольствие терпеть морскую болезнь, а я испытывала неудобство исключительно по причине дефицита общения.

Естественно, я обрадовалась удачному обстоятельству, что пассажирский помощник капитана, представившийся Борисом, не смог пройти мимо такого «экспоната».

Уже через пять минут мы мило болтали, через два часа чувствовали себя едва ли не друзьями, а проведенный вместе вечер стал самым приятным за все время моего пребывания на корабле.

В какой-то момент, когда я принялась о чем-то допытываться на предмет корабельных тонкостей (уж и не упомяну, каких именно и почему меня это интересовало), Борис вдруг сказал:

— Вообще-то я на корабле только третий месяц. А до этого в управлении работал.

— Морского пароходства? — поинтересовалась я.

— В Ленинградском управлении Комитета государственной безопасности, — уточнил он. — Я майор. Только прошу: пусть это останется между нами.

— Майор! КГБ! — возликовала я. — Конечно, между нами!

Борис даже слегка опешил.

— А чего ты обрадовалась?

— Так это то, что нужно!

И я поведала о своих англичанах, а также о заявлении, судьба которого мне неизвестна, хотя завтра утром мы уже придем в Лондон. Борис, конечно же, должен быть в курсе, небось, гадает, кто такая эта заявительница, а вот и она!

Сережа говорил, что надо надеяться на лучшее. Кажется, мои надежды сбылись! Но...

— Это не по моей части. Моя вотчина — корабль. И по поводу твоего заявления я не в курсе, — «притушил» мой энтузиазм Борис. Посмотрел на мое померкшее лицо и добавил: — Но я тебе помогу. Мы сейчас пойдем к директору круиза, я вас познакомлю, поболтаешь с ним, все выяснишь... Твое заявление должно быть у него.

Директор круиза, «в миру» начальник отдела ЦК ВЛКСМ, оказался товарищем закаленным. Человек, прошедший мощные комсомольские штормы, морской шторм, судя по всему, воспринимал как бултыхание в ванной. Его круглое лицо сохраняло здоровую розовость, сытенький животик успешно принимал обильную пищу, и весь он походил на сочное яблоко, созревшее не столько для потребления, сколько для любования.

— О-о-о, Борис!.. — потек он сладким соком. — Заходи, заходи... поужинаем вместе. — И, с любопытством воззрившись на меня, едва ли не пропел: — Какая с тобой славная девушка!.. Милости прошу к нашему шалашу!

Я быстро, но хватко оценила «шалаш» — шикарный двухкомнатный «люкс». В сравнении с моей крошечной каютой на шестерых, в трюме, с двухъярусными лежанками, без туалета и даже умывальника, начальственная каюта выглядела впечатляюще.

Директор ткнул пухлым пальцем в кнопку на стене, и тут, деликатно стукнув в дверь, на пороге образовалась бледноватая девушка.

— Принеси посуду и приборы, — распорядился директор, придирчиво оглядел заставленный всевозможными яствами и напитками стол и удовлетворенно кивнул: — Закуски пока хватит. С горячим потом разберемся.

По скромному моему разумению, заготовленной закуски хватило бы на полк голодных солдат.

Посуда и приборы были тут же извлечены девушкой из резного шкафа, стоящего в трех метрах от директора, и я неприязненно подумала: вот ведь барин, сам не соизволил достать, обязательно надо кого-то в услужение позвать.

И еще я подумала: меня, рядовую пассажирку, он бы на порог не пустил, если бы не Борис, который меня привел, а значит, как бы выдал мне особый мандат.

Борис для директора был и впрямь персоной значительной, потому что хозяин «люкса» прямо-таки исходил на любезность. На меня это тоже распростирилось, но ровно до того момента, пока я не завела шарманку про своих англичан, которые буквально завтра, с утра, будут встречать корабль в лондонском порту.

Нет, директор вовсе не перестал быть радушным. Но это радушие из благостного перелицевалось в напряженное.

— Н-да... я в курсе... видел твое заявление... читал... все понимаю... решение будет принято... вот завтра с утра и будет... Но пока ничего не могу сказать наверняка...

Он бубнил, ерзал на диване, криво улыбаясь, неопределенно поводя глазами...

— Вам надо посоветоваться? — совершенно неделикатно прервала я этот бубнеж, на что директор мгновенно взвился:

— Я полностью отвечаю за все, что касается участников нашего кризиса! За весь кризис отвечаю именно я! — польхнул он праведным гневом.

Мне стало нехорошо: вот ведь дура! Убаюкалась на мягких подушках шикарного дивана, обмякла от диковинных деликатесов, расслабилась под душевный разговор... А Борис? Лицо непроницаемое, взгляд отрешенный... «Это не по моей части»...

Я судорожно заскрежетала мозговыми извилинами, пытаюсь сообразить, как выкрутиться из неловкой и просто опасной ситуации. Но тут вдруг дверь без предупреждающего стука распахнулась и в каюту буквально вломился человек в белом халате. В руке он держал блестящую металлическую коробочку, в которой обычно кипятили шприцы.

— Все! Делайте что хотите, но я с ним сделать ничего не могу! — выпалил он тоном человека, дошедшего до последней черты, и обессиленно привалился к косяку.

— Ему опять плохо?! — обескураженно вскрикнул директор.

— Ему все время плохо, а сейчас совсем хреново! — с мстительной обреченностью припечатал человек в белом халате.



Директору, кажется, самому стало плохо. Он обмяк, растекся рыхлым телом по диванным подушкам, нервно затеребил пальцами утратившие розовость щечки, запричитал слезливо:

— Ну как же так, а?! Вы же судовой врач... Вы же должны что-нибудь... Укол... У вас же уколы хорошие...

— Хорошие, — зло подтвердил доктор. — Только он не дается! И даже брыкается! Вот, — местный эскулап похлопал себя по бедру, — здесь синячина здоровенный! Еще не хватало, чтобы в морду заехал!

— Он с ума сошел? — обалдел директор и боязливо, словно сболтнув страшную-престрашную тайну, покосился на меня с Борисом.

— Ерунда! — отмахнулся врач и устало вздохнул. — Обычное дело. Когда у людей тяжелая форма морской болезни, они часто ведут себя неадекватно. И перво-наперво отказываются от медицинской помощи. Этот ваш заместитель еще ничего, а бывают и похуже. В прошлом круизе один парень в меня бутылкой с недопитым ликером швырнул. Я едва увернулся. Но ликером весь испачкался. От меня потом дня три воняло, отмываться не мог. — Он покрутил в руках коробочку со шприцем, будто прикидывая, не запулить ли ею в кого-нибудь, и подытожил: — В общем, так: ставить укол он не дает категорически, а силком я не буду. Мне проблемы не нужны.

Как пишут в таких случаях, «повисла тяжелая пауза».

Непонятно, сколько бы она висела, когда и на кого рухнула, если бы во мне вдруг не выиграло человеколюбие вперемешку с честолюбием. Трое мужиков «при исполнении» не могут сообразить, что делать с четвертым «при смерти», ну так я, обычная женщина и рядовая туристка, возьму все в свои руки.

— Давайте свой шприц и показывайте, куда идти! — заявила я решительно.

Директор уставился на меня с испугом, Борис — с интересом, а врач — с удивлением.

— Вы медик? — спросил доктор.

— Нет. Но уколы ставить умею, с шести лет. Причем очень хорошо, — не столько похвасталась, сколько успокоила я.

— Извольте, — хмыкнул врач. — Здесь рядышком! Буквально через стенку!

— Как?! Вы что?! — всполошился директор и принялся лихорадочно вцепляться взглядом то в Бориса, то в доктора, будто пытаясь впихнуть им всю полноту собственной ответственности. Однако те натянули на лица выражение абсолютной нейтральности — дескать, вы называете себя самым главным, вот и решайте.

Директор растерялся — причем так явственно, что мне даже стало его жаль. Впрочем, совсем чуть-чуть: он с самого начала мне не понравился — эдакий павлин с наклеенными перьями.

— Идемте! — скомандовала я и двинулась к выходу.

Борис и врач зашагали за мной, словно почетный караул, а директор поплелся, как паж, которому доверили нести тяжелый шлейф.

В соседней каюте люкс, в освещенной лишь бледным ночником спальне, на широкой кровати лежало совершенно несчастное существо.

Эта несчастность выпирала из скомканного одеяла, прикрывающего скрюченное кривым роголиком тело; проступала влажным бисером, прилипшим к бледной полоске проглядывающей меж подушек щеки; сочилась из полуприкрытого глаза, взирающего на меня одновременно истомленно и удивленно. Второй глаз, как и почти все лицо, скрывался в постельных складках, словно боясь узреть божий свет.

Иными словами, не конкретный человек, а нечто неопределенное, но совершенно точно — несчастное.

— Мы сейчас сделаем укольчик, — промурлыкала я.

— Не-е-ет! — простонало существо и слабо заворчалось.

— Да, — сказала я тоном любящей матери, которая твердо вознамерилась спасти от гибели любимое дитя.

— Не на-а-до! — запротестовало «дитя» и попыталось забиться чуть ли не под матрац, но я эти поползновения пресекла — сцапала за первую подвернувшуюся часть тела, откинула край одеяла, отдернула трусы и вонзила шприц в полуобнаженную ягодицу.

— Ой! — взвизгнул директор.

— А-а-ах! — выдохнул его заместитель.

— Весьма профессионально, — оценил доктор.

— Ну вот и все. — Я ласково похлопала по уколотеЙ попе, натянула назад трусы и нежно погладила по влажной голове. — Теперь вам будет гораздо лучше.

— Спа-си-бо-о... — прошептал страдалец и затих.

— С ним правда все будет хорошо? — боязливо осведомился директор, обрацаясь к врачу.

— Пренебреженно! — заверил доктор и кивнул в сторону двери: — Пойдемте отсюда. Пусть он поспит.

Мы едва ли не на цыпочках прокрались в коридор.

— Мне тоже пора спать, — сказала я. — Завтра утром в Лондон приходим... — И вопросительно глянула на директора: дескать, я спасла вашего товарища, так, может, и вы для меня что-нибудь сделаете?

— Да, кстати, — мгновенно сообразил Борис. — Надо бы положительно подумать насчет ее англичан...

— Подумаем, подумаем... — буркнул директор и, словно опасаясь, что решительная девица в моем лице и его за что-нибудь сцапает, скрылся в своей каюте, даже не попрощавшись.

Борис развел руками:

— Если бы твои англичане были допущены на корабль, это было бы в моей компетенции. А все, что за бортом... Извини. У нас свои правила.

* * *

Шторм закончился к утру так же решительно, как и начался. Только что море бесновалось, дыбилось, щерилось, угрожало разнести наше судно вместе с его полумертвыми обитателями к чертовой матери и вдруг раз — и успокоилось. Словно устало, выдохлось и плюнуло на нас последней свинцовой волной.

И так же разом, как в сказке «Спящая красавица» (один поцелуй, и готово), ожили, взбодрились, развеселились пассажиры.

Мы подходили к Лондону. Вычеркнув из своего путешествия полуторасуточный штормовой кошмар, туристы готовились к новым, исключительно приятным впечатлениям.

К концу завтрака корабельное радио сообщило, что мне следует зайти в каюту «Беатриса».

— Зачем тебя вызывают? — насторожился наш бдительный руководитель группы.

Я пожалала плечами, с сожалением посмотрела на кофейник — отведать любимого напитка мне явно не светило — и спросила:



— А что за «Беатриса» и где она находится?

— Это каюта люкс на самой верхней палубе. Там каюты руководства, — с легким придыханием сказал наш руководитель, который хоть и сам значился начальником и, в отличие от нас, простых смертных, обитал не в трюмной каюте целым коллективом, а тоже на палубе, но все же котиrowался пониже — на уровне обычной одноместки.

— Может, это из-за моих англичан? — обрадовалась я.

— Может, — поджал губы старший по группе. — Только ты не очень-то радуйся. Сейчас знаешь какая международная обстановка? — Он посмотрел на меня с суровым упреком. — Я бы на твоём месте вообще не вылезал с этой дурацкой затеей.

— Но я уже вылезла... — напомнила я.

— Вот и зря... — многозначительно изрек наш предводитель.

Я поднялась на верхнюю палубу, постучала — дверь открыл невысокий крепкий лет тридцати пяти, с редующими и, вероятно, потому коротко стриженными волосами и выразительными карими глазами, которые он сфокусировал на мне. Взгляд был такой, словно крепкий хотел рассмотреть сквозь мой лоб заколку, прицепленную на затылке.

Вдруг строгий «фокус» стал расплываться, и одновременно начали расплываться губы.

— Это... вы?!

Полуулыбка... удивленный взлет бровей... наполняющийся теплом взгляд... Ну прямо как в кино: крупный план — на героя снисходит озарение.

— А это... вы? — воскликнула я.

Еще несколько часов назад полумертвый, человек выглядел собранным, бодрым и довольным.

— Ну и ну! — Он расхохотался, раскинул руки, словно в попытке меня приобнять, но все же от объятий удержался, просто сжал мою ладонь и с чувством потряс: — Володя! Просто Володя! И давай на «ты»! В конце концов, глупо разводить официозы с девушкой, которая видела твою голую задницу!

— Да ничего я особенного не видела, так... пяточек для укола, — изобразила я легкий смехок.

— Все равно! — Он подхватил меня за локоть, едва ли не потащил к креслу, приткнутому к столу. — Мне с утра рассказали, какой я был невменяемый! Как от всех отбрыкивался! Я, конечно, был очень плохой, даже не ожидал. Я, понимаешь, сроду на корабле не плавал. Даже по реке. Вот чуть и не помер! Кстати, кофе хочешь?

— Хочу.

Чудный кофейный аромат вольно плавал по каюте.

— А ты молодец! Они-то все церемонились, а ты — нет. Спасибо тебе.

Володя разлил кофе в чашки, я отхлебнула глоток... О-о-о! Это был совершенно необыкновенный кофе, какой на корабле я ни разу не пила.

— Зря они церемонились. Особенно директор. Он сам чуть не помер... но не от качки, тут он вполне даже ничего был... а от перепуга за тебя. А я ведь случайно оказалась под рукой. Чистая случайность.

— Да, случайность. Но очень удачная. А они церемонились, ясное дело... — Володя несколько секунд помолчал, затем махнул рукой. — Ладно, не буду от тебя скрывать. Я, конечно, формально заместитель директора по круизу, но фактически... В общем, я — майор КГБ.

Мне стало смешно. Третий майор! Один, Сережа, — дома. Другой, Борис, — на борту. А теперь еще и Володя...

— Значит, это ты решаешь, встретиться мне с англичанами или нет? — спросила я.

Володя кивнул.

— Ну и?..

— А что тебя с ними связывает?

Я рассказала — что. Без занудных деталей, но вполне внятно, дабы удовлетворить справедливый интерес сотрудника КГБ. Потом мы еще минут сорок болтали обо всем на свете — эдакий задушевный треп с вполне милым майором. Он и правда был очень милым. Как будто сто лет знакомым. В принципе, я догадывалась: вполне вероятно, этой милости и этой знакомости его научили в какой-нибудь школе КГБ, но в данном случае это не имело значения, тем паче что он сказал:

— В общем, так. Встречайся со своими приятелями на здоровье. Сейчас поднимутся пограничники, ты первой пройдешь контроль, твои англичосы наверняка уже ждут тебя на пристани. Только в одиннадцать вечера будь на борту. Завтра тоже можешь отправляться в свободное путешествие, но на борт — не позднее девяти. В полночь мы будем отчаливать.

— Володечка, спасибо! — произнесла я прочувствованно и не удержалась — чмокнула его в щеку. Майор КГБ прыснул.

Я выпорхнула (иначе и не скажешь!) из каюты и, как бабочка на иголку, напоролась на руководителя своей группы. В отличие от предыдущей руководительницы Марии, пасторальной пастушки, которую забросили на английские пастбища выгуливать отборных сибирских овечек и тем напугали до тряски, нынешний начальник был опытным пастухом, свято верящим, что место овечек — в загоне, где они будут пусть не очень сыты, зато наверняка целы.

— Ты общалась с Владимиром? — спросил он строго.

— Общались, — подтвердила я.

— И каков итог?

— Мне разрешено и сегодня, и завтра быть с моими английскими приятелями.

— Н-да? — Начальник закаменел лицом. — Сейчас разберусь, — грозно пообещал он, сцепил пальцы в кулак, размахнулся и, повернувшись ко мне спиной... деликатно постучал в дверь. Тук-тук... извольте позволить потревожить...

Володя возник на пороге с веселым возгласом:

— Ты чего-то забыла?

Он явно подумал, что это снова я, но, обнаружив на переднем плане совсем другого субъекта, пусть и слегка смущенного, но не лишенного воинственности, веселье притушил, уставился вопросительно.

— Владимир! Я категорически против! — припечатал бдительный «пастух» и кивнул в мою сторону. — Я ее не отпускаю! Она останется в группе!

То бишь в загоне.

Взгляд Володи стал туманным.

— Ты против? Ты не отпускаешь? — уточнил Володя почти ласково, тщательно проговаривая короткое «ты».

— Да! — выписал «противник» и «неотпускальщик» жирный восклицательный знак.



Туман рассеялся, обнажив крутые остроконечные скалы. Ударил узкий луч солнца, тут же превратившийся в молнию. Тихий шелест травы затих в преддверии бури... Это было еще то зрелище!

— А ты — это кто? — спросил Володя тоном, которым можно было бы в мгновение превратить кипяток в ледяную глыбу, и посмотрел взглядом, каким запросто можно было пробуровать вечную мерзлоту. — Кто ты есть, чтобы быть против и не пускать?

— Я?.. — опешил вожак туристической стаи. — Я!.. — Голос возвысился, судорожно звякнул, не удержался и скатился вниз: — Руководитель группы...

— А я... — Володя пару секунд помолчал и припечатал: — А кто я — ты прекрасно знаешь. И если я сказал, что она пойдет к англичанам, значит — пойдет!

И с силой захлопнул дверь, успев мимолетно подмигнуть мне.

* * *

Через неделю после возвращения из круиза я зазвала к себе домой на кофе Сережу.

— Представляешь, что было потом?! Наш великий предводитель группы до конца круиза разговаривал со мной полупшепотом и озираясь! Он явно решил, что я какой-нибудь разведчик, засланный к англичанам под видом советской туристки. И боялся, что ему надают по башке за то, что чуть не сорвал выполнение важного государственного задания!

Сережа захохотал, причем в очередной раз, потому как в моих «путевых заметках» было немало хохм. Но самой сочной для него была история про коллегу Володю с его, как выразился Сережа, исколотой задницей.

— Не исколотой, а уколотой. Только раз! И совершенно не больно! — уточняла я. — И вообще! Представляешь, как мне повезло?! Окажись Володя таким же бойким и стойким, как директор круиза, и не окажись я такой же бойкой и стойкой, и не натолкнись на меня Борис... В общем, не сойдишь все в одно... мои англичане любовались бы только бортом нашего корабля.

— Да, — согласился Сережа, — ты везунчик.

Позже я впала в некоторое сомнение. Только ли стечение обстоятельств (а оно было, конечно, самое фантастическое, такое никакими хитроумностями не подстроишь!) стало причиной столь душевного отношения ко мне Володи? Или же, получив челобитную от некой туристки, он, прежде чем рухнуть под натиском шторма, успел навести соответствующие справки, причем не исключено — у того же Сережи как свидетеля моего прежнего английского путешествия?

Впрочем, это уже не имело никакого значения. Я замечательно провела два дня с Машей и Арчи, которые не подозревали, что радостью нашего общения они обязаны КГБ.

После того круиза я никогда не видела пассажирского помощника капитана Бориса и замдиректора круиза Володю — милейших майоров госбезопасности — и ничего не слышала о них. Что с ними стало, когда закончилась прежняя жизнь и наступила новая, а КГБ переименовали в ФСБ? Не знаю.

А у Сережи все сложилось благополучно. Дослужившись до полковника, он ушел в 1990-х в отставку, успешно занялся бизнесом, а теперь живет спокойной жизнью. И мы по-прежнему в прекрасных отношениях.

Окончание в следующем номере.

Валерий ИВАНЧЕНКО

В ПОИСКАХ УВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Записки читателя

I.

Наверное, каждый знает, что такое «читать с увлечением».

Одно дело — мучительно разбирать фразу за фразой, силясь уловить их смысл и понять, зачем ты, собственно, это делаешь и что рассчитываешь получить. Или наоборот, пробегать глазами бесконечную череду гладких слов, засыпая от их очевидности, избыточности и ненужности.

Другое — проваливаться в текст, уже не замечая ни букв, ни грамматики. Напрямую, почти телепатически схватывать мысль автора, с нетерпением следуя за игрой его ума или фантазии.

Правда, каждого читателя увлекает свое. Большая часть населения с удовольствием заглатывает примитивные боевики и слащавые мелодрамы, халтурно сляпанные по простому рецепту из стандартного набора слов и деталей. А есть чудачки, способные с восторгом погружаться в бессмысленную с виду заумь, находя в путаных синтаксических конструкциях отзвуки идей, некогда посещавших их головы. Именно поэтому не следует путать «увлекательное чтение» с «легким» (называемым также «чтивом»). Легкость восприятия — лишь одна из составных успеха, да и не всякого она может увлечь. Конечно, для многих увлекателен сам процесс узнавания напечатанных слов, но с некоторым опытом это умение перестает радовать само по себе.

Бывает и чтение универсальное, приобретшее славу, опробованное и оцененное многими, в том числе и считающими себя квалифицированными книголюбителями. Чаще успех такого «бестселлера» кратковременный, раздутый неким не всегда объяснимым психозом, и уже год спустя эту книгу мало кто помнит, а случайно открыв ее в приступе ностальгии, читатель не может сообразить, что же такого особенного в ней тогда находили. Кто сейчас вспомнит Айтматова, подарившего нам в начале 1980-х слово «манкурты»? А ведь в какой моде был! Кто станет перечитывать перестроечные хиты Рыбакова, Аксёнова, Приставкина, Дудинцева? Я уж не говорю о бестселлерах нулевых, раскрученных Константином Рыковым, о котором пойдет речь ниже. Хотя у Глуховского, одного из авторов таких бестселлеров, до сих пор есть читатели, и это феномен, требующий объяснения.

В некоторых случаях слава со временем не сдувается, успех живет в поколениях, книга становится классикой. Только в качестве развлечения классика тоже не вечна. Мало кто станет сейчас читать ради удовольствия «лонгселлеры» Рабле, Сервантеса или даже Дюма. Сам-то я успел в детстве оценить «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо», но вот Майн Рид и Фенимор Купер уже при мне были непроходимо скучны.

Кстати, характерно, что книги, считавшиеся захватывающими в прежние годы, со временем переходят в разряд поучительного чтения для подростков. Подростки внушаемы и любопытны. Самые дальновидные авторы вроде Роулинг сразу опираются на эту надежную аудиторию. Не только для подростка, но и для любого начинающего читателя увлекательность — это не требование, а всего лишь бонус. Главное другое — чтобы книга заинтересовала. Интерес — это обещание. В поисках обещанного кем-то восторга он может долго и усердно мусолить что-нибудь трудночитаемое, и даже — во что трудно поверить, но часто именно так и бывает — этот свой интерес в итоге отыщет. На подобном внушении, например, была построена не только популярность Паоло Коэльо, но даже — покушусь на святое — Карлоса Кастанеды.

II.

Школьные годы мои пришлось на 1970-е, и буквально все эти семидесятые я непрерывно искал, что бы такое мне почитать. (Первую книгу я прочел еще до школы, и это был роман «Незнайка на Луне», который сразу задал высокий уровень требований.) Я регулярно посещал три библиотеки (две районные и одну областную). Но библиотеки в то время были устроены таким образом, что в свободном доступе находились лишь те книги, которые никого не интересовали. Неинтересные книги можно было брать домой. Интересные же давали подержать в руках только в читальном зале.

В зале библиотечного абонемента я первым делом обшаривал полку только что сданной и еще не расставленной по местам литературы. Там можно было случайно отловить нечто пользующееся у посетителей спросом. И лишь не найдя среди возвращенного ничего примечательного, отправлялся бродить между стеллажей. Среди признаков искомого выделялась потрепанность — чем книга зачитаннее, тем почетнее. Впрочем, разваливающийся ширпотреб в картонных, а то и бумажных обложках тоже доверия не внушал. Мечтой были большие (и по толщине, и форматом) тома в ледериновом, хуже — в тканевом переплете, с тисненными надписями и рисунком снаружи, с множеством иллюстраций внутри. Такие книги я сейчас покупаю у букинистов, не раздумывая и не глядя на цену. А потом нахожу внутри библиотечный штамп. В мое время библиотеки их прятали. Но можно было встретить объект вождения в домах некоторых знакомых.

Домашние книги — тема особенная. Был у меня одноклассник, у которого в книжном шкафу стояли три полки «золотой рамки»¹, но, увы, в них можно было в лучшем случае только порыться, ничего не вынося за порог. Как-то в поездке ночевали у дальних родственников, обладавших двадцатипяти томником БСФ². Я перебирал эти томики весь вечер, и согласился бы остаться в гостях еще на пару недель.

¹ Так называли «Библиотеку приключений и научной фантастики».

² Библиотека современной фантастики.



Своего «Незнайку» я потерял в переездах. Зато во времена тех переездов мы как-то целый год прожили в чужой московской квартире (я тогда был второ-классником). И целую стену в комнате, отведенной хозяевами нашей семье, занимал книжный стеллаж. Любые печатные издания в советское время делились на общедоступные и престижные, последними могли обладать только социальные слои, имевшие доступ к привилегированному потреблению. Приютившие нас люди были далеко не простыми, хоть и приехали, как и мы, из провинции. Ничего особенно для себя интересного у них на полках я не нашел, стояли там, главным образом, собрания сочинений и полная серия БВЛ³ в гляцевых суперобложках. Однако была там еще и кое-какая фантастика, каковой факт определил мои пристрастия на годы вперед. Найденные книги были малопонятны, но до жути страшны.

Там я нашел, например, сборник красноярцев Сергея Павлова и Николая Шагурина «Аргус против Марса», в котором не понял решительно ничего, но был поражен зловещим миром, открывшимся в тех немудреных, как потом выяснилось, произведениях. В первом выпуске молодоговардейского альманаха «Фантастика, 1965» меня напугал рассказ Бориса Зубкова и Евгения Муслина «Бунт», написанный, как я понял годы спустя, совершенно в духе мастеров американского хоррора, да и повесть Зиновия Юрьева «Финансист на четвереньках» отличалась особенной капиталистической мрачностью. Самым страшным оказался «Глиняный бог» Анатолия Днепровца, включенный в детгизовский «Мир приключений» за 1963 год, там еще были впечатляющие иллюстрации Юрия Макарова. Повесть рассказывала о врачах-убийцах, делающих из людей неуязвимых кремниевых зомби. После того чтения я всю жизнь избегаю любой медицины.

В прочитанном я тогда понимал далеко не все, и это обстоятельство придавало самым простым текстам завораживающую глубину. Например, у Евгения Велтистова мне даже больше его «Электроника» запомнился малоизвестный «Гум-гам», написанный для совсем уже младших школьников. Там мелкий пацан знакомится с неким играющим полубогом, который обитает в летающем доме за облаками, изредка спускаясь на землю. Мне казалось, что этот сюжет открывает в окружающем скучном мире головокружительные возможности. Сказочной условности для меня не существовало, я все понимал буквально. Прочитав в «Продавце приключений» Георгия Садовникова историю с выращенным на грядке космическим кораблем, я закопал в цветочный горшок какую-то маленькую игрушку и довольно долго ее поливал, следя, не увеличивается ли она в размерах.

В раннем чтении я не гнался ни за какой увлекательностью и мог ради интереса читать явную тягомотину. Интерес заключался в скрытой за текстом тайне, наградой были эмоции. Детские книги меня окрыляли, «взрослые» доставляли сладкую жуть. Тайну я чаще всего придумывал сам, опираясь на картинки и не очень понятные, но волнующие фрагменты, выхваченные взглядом с раскрытых страниц.

Помню первый попавший мне в руки журнал «Техника — молодежи», это был пятый номер за 1971 год. Там было окончание повести болгарина Димитра Пеева «День моего имени». В этой незамысловатой вещице я находил по-настоящему пугающие моменты, которые вспоминал потом долгие годы.

Когда я ходил в третий класс, папа принес домой три номера «Звезды» с «Солярисом» Станислава Лема. Родители прятали эти журналы, чтобы не

³ Библиотека всемирной литературы.

навредить моей психике (хотя на вышедший в том же году фильм Тарковского меня с собой взяли). Журналы я, конечно, нашел и прочел. Да, это было гораздо страшнее, чем фильм.

Другой жуткий роман Лема я тоже прочел школьником в толстом журнале. Это был «Насморк», он публиковался в «Знамени».

Одну из самых увлекательных и волнующих книг своего детства я принес из библиотеки случайно. Там был прифронтовой город в начале войны, сбежавшие из дома дети, поздняя осень в горах, поиск сокровищ и шпионы, прячущиеся в подземном лабиринте. Потом начисто забыл автора и название, но пытался найти и вспомнить книгу большую часть жизни. И только недавно нашел: это оказалась «Тайна Золотой долины» Василия Клёпова. Выписав на букинистическом сайте любительское переиздание, я обнаружил, что книга действительно неплохая, но написана с заметной иронией, которую я совершенно тогда не считывал. Кроме легкого разочарования ревизия «Тайны» Клёпова принесла еще кое-что: укрепила меня в понимании рецепта увлекательного чтения, о котором я расскажу чуть позже.

Вернемся к библиотекам. Библиотека была, например, у отца на работе (он служил в ведомственном вузе), и в ее фондах, помимо специальной литературы, имелось немало худлита. Сначала папа носил мне тома из собраний Жюль Верна, Конан Дойля, Уэллса, а потом ему попались братья Стругацкие. Это были первые издания 1960-х — «Молодой гвардии», «Лениздата», «Детской литературы». Стругацкие надолго стали для меня идеалом чтения не только увлекательного и не только интересного («тайна» была одним из девизов их творчества), но еще и обогащающего внутренний мир. Все школьные годы они были доступны исключительно в библиотеках. Более поздние их книги я ходил читать в Областную детскую на улице Некрасова, возле «Березовой рощи», а уже в старших классах дожидался появления номеров журнала «Знание — сила» с их новыми повестями в библиотеке на улице Лежена, возле тогдашнего своего дома.

Надо еще сразу уточнить насчет «тайны». Без нее нет настоящего интереса и увлечения, но в тайне важен масштаб. Например, я мало ценил и ценю детективы. Да, они построены на загадке, однако детективная загадка, в отличие от настоящей тайны, слишком приземлена. В этом жанре я куда больше поиска разгадок ценю «бытовую», если так можно сказать, остросюжетность — не только поступки, но и обыденную жизнь персонажей, построенную на обязательности приключений. В детektивах мне в первую очередь интересны экстремальные человеческие типы и психология героя, поставленного в необычные обстоятельства. Объяснение сплетенных автором интриг здесь только бонус. Какой интерес в детективах Бориса Акунина, убери оттуда демонических персонажей и центральную фигуру Фандорина?

Зато в фантастике — не во всякой, а в той, которую я люблю, — там тайна глобальна, она имеет мировоззренческое и даже миростроительное значение, она покушается на самые основы нашего бытия. А потому и цена конфликта, движущего сюжет, необыкновенно высока.

Одной из наиболее доступных приключенческих книг в Новосибирске 1970-х была выдержавшая много изданий повесть местного беллетриста Михаила Михеева «Тайна белого пятна». Ее зачин (находят тело геолога, убитого стрелой с каменным наконечником) произвел на меня при первом чтении впечатление, сходное с эффектом от финала второй главы «Собаки Баскервильей»:

«Мистер Холмс, это были отпечатки лап огромной собаки!» Здесь «бьется» всё: и внезапная жуть, и ожидание чего-то невозможно-необыкновенного. Но по мере развития сюжета (и у Конан Дойля, и у Михеева) неизбежно появляется рациональное объяснение тайны, и оно, разумеется, разочаровывает, разом приземляя наши раздутые ожидания. Без таких ожиданий нет интереса и нет увлечения, раздувать их — один из главных секретов искусства манипуляции читателем. Но, к сожалению, редкому автору удается соответствовать обещанному и не разочаровать нас в итоге, а уж удивить и прыгнуть выше, чем можно было предположить, — задача для редкого мастера.

Восьмидесятые годы стали для меня периодом романтическим, я был студентом, занимался спортивным туризмом, жил в деревне, работал в гляциологических экспедициях. В чтении моем сложился в то время круг авторов, которых я считал «своими». Они соответствовали моему тогдашнему взгляду на мир и поддерживали интуитивно сформировавшуюся систему этики и эстетики. Этика говорит о должном (отличает хорошее поведение от плохого), эстетика — дает ориентиры по части привлекательного (разводит красивое и безобразное). В учителя я тогда себе выбрал Михаила Анчарова, Александра Грина, Олега Куваева. Они увлекали не столько сюжетами, сколько правильным тоном и верными оценками. Разумеется, не обошлось без Хемингуэя.

Во второй половине 1980-х были впервые напечатаны большим тиражом новые и запрещенные старые вещи Стругацких: «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди», «Град обреченный», «Волны гасят ветер». Читать братьев было по-прежнему увлекательно, но они больше не учили молодежь правильному. Наоборот, в соответствии с наступившим временем, они сеяли сомнения и вносили в головы смуту.

Заметим, что для темы, которую мы рассматриваем, идеологическая эволюция и месседжи творчества Стругацких не особенно интересны. Куда важнее, что они первыми (вскоре их начинание подхватили и детективщики братья Вайнеры) стали, сначала интуитивно, потом сознательно, опираться в своей работе на ремесленные принципы популярных англоязычных авторов. То есть обратились к собственно технологии создания увлекательности. Показательно, что, когда идеологические послы стали брать верх (сказалась еще и старческая упокоенность признанных мастеров на давно добытых лаврах), условная «читабельность» стала падать. Позднеперестроечный роман «Отягощенные злом» ориентировался уже не на Дэшила Хэммета с Рэймондом Чандлером, а на отечественную диссидентскую традицию, и читать его с увлечением были способны только записные поклонники авторов. Две книги, написанные Борисом Стругацким в одиночку, и вовсе эзотеричны. Я перечитывал их несколько раз, моментально забывая сюжет. Та же история с поздними романами Вайнеров.

К концу 1980-х я позабыл о существовании библиотек. Во-первых, открыл для себя существование книжных спекулянтов, которые сначала тусовались в закрытом помещении, арендованном «клубом книголюбов», а после выползли со складными столами на улицы. Во-вторых, издательства меняли ассортимент массовых тиражей, и кое-что интересное стало попадать в магазины. К тому же в книжных открылись пункты обмена, где можно было поменять ненужный советский детектив на нужного Воннегута. В-третьих, наступила короткая золотая эпоха журналов. Внезапно сняли запреты, и быллой самиздат стали печатать не только толстые, но и сравнительно тонкие периодические издания. «Смена» публиковала «Сказку о тройке» Стругацких, «Наука и религия» — «Путешествие



в Икстлан» Карлоса Кастанеды. «Юность» и до перестройки была интересной, жаль, что поздно к ней пристрастился. На журналы массово подписывались, их покупали в киосках. Но в начале 1990-х эпоха сменилась.

III.

Если детское чтение 1970-х открывало мне фантастические горизонты нашего мира и обещало миры иные, если в восьмидесятые годы книги обнадеживали возможностью необыкновенной судьбы, то девяностые стали временем неприятных открытий, фрустрации и книжного эскапизма.

Свободный рынок торговли книгами вошел в страну стремительно (интересующихся отсылаю к мемуарам основателя «Топ-книги» Михаила Трифонова «От гаража до психбольницы», опубликованным на «Дзен.ру»), издательский рынок тоже не замедлил появиться, а вот свои по-настоящему коммерческие писатели стали всплывать в России только к 1995 году. В первые годы капитализма на лотках продавали всякую дрянь, изданную кооперативами: ужасные кустарные переводы и подделки отечественных графоманов — собирательного Петухова в фантастическом палпе и Шитова-Бабкина в криминальном. Хотя были и перепечатки советских изданий, и переведенная профессионалами классика западной фантастики и детектива. Нижегородское издательство «Флокс», рижский «Полярис», питерский «Северо-Запад» с 1992 года наперегонки выпускали научную фантастику и фэнтези от Хайнлайна и Саймака до Говарда и Желязны. «Кэдмен» принялся наводнять прилавки Стивенем Кингом.

Но в середине десятилетия вдруг появились новые, неизвестные мастера жанров, к тому же перешли в массовую литературу многие авторы, состоявшиеся еще в советское время.

Помню, как купил летом 1996-го книгу Сергея Лукьяненко, спутав его с уже известным мне автором Лукиным. Это была дилогия «Линия грез» — «Императоры иллюзий», выпущенная издательством «Локид». Ничего подобного я отродясь не читал! Текст, как я теперь понимаю, был очень технологично, «от ума» сделан и полон заимствований. Космический антураж взят из компьютерной игры Master of Orion, персонаж — от Рэя Олдриджа, технологию бессмертия еще Шекли придумал, а сюжет сводился к заурядному квесту. Но я не видел, как это сделано, чувствовал лишь результат — роман захватывал с первой фразы и не отпускал до конца. Да, в отличие от Стругацких, Лукьяненко не прятал подтекстов и не особо стремился духовно обогащать читателя или тревожить его вопросами, у него работали простые приемы и царили простые страсти. Однако ж они работали — и хорошо.

Интересно, что в следующем своем романе «Осенние визиты» Лукьяненко задумал сыграть на поле Стругацких, напустил в и без того путанный сюжет многозначительной мистики в духе «Отягощенных злом». Эксперимент провалился — содержание «Осенних визитов» имеет свойство вылетать из головы еще до конца чтения.

С 1994 по 1996 год в разных издательствах огромными тиражами вышли романы Данила Коредцкого «Антикиллер» и «Пешка в большой игре». Автор, офицер МВД и преподаватель профильного вуза, дебютировал с криминальными повестями еще при советской власти. В девяностые он одним из первых понял, как теперь надо писать. Его первые бестселлеры — это многофигурные полотна в духе Тома Клэнси и Фредерика Форсайта, наполненные насилием,



сексом и колоритными деталями из жизни преступного мира и силовых ведомств. Разнузданная фантазия сочетается у него со знанием фактуры. При полной свободе выражения, его сочинения не лишены нравственного посыла, сформулированного в милицейской присяге. Литературные достоинства автора невелики, Корецкий не ставит задачи копаться в мотивациях персонажей и выставлять на обозрение социальные язвы, но у автора, несомненно, есть ясная позиция, и читать его в то время было куда интересней, чем читать в 1980-е братьев Вайнеров.

Можно наглядно проследить эволюцию читательско-издательских требований в восьмидесятые-девяностые на примере творчества советского автора детективов Николая Леонова. Его первые повести об оперуполномоченном уголовного розыска Лье Гурове публиковались в журнале «Юность» и даже активно экранизировались. Но в разгар перестройки стало заметно меняться содержание расследуемых книжным сыщиком дел: от простых грабежей и злоупотреблений герою пришлось перейти к борьбе с коррупцией, наркомафией, организованной преступностью. Интеллигентному с виду, физически заурядному Гурову понадобилось срочно сменить имидж: накачать мышцы при помощи штанги, подрасти и раздаться вширь, постичь боевые искусства и научиться стрелять без промаха. В поздних книгах герой предстает вылитым Джеймсом Бондом. Он не стеснен в средствах, ездит на лучших машинах, ни одна женщина не может устоять перед ним. В сочетании с милицейскими познаниями в области человеческой психологии и добротным литературным стилем, поставленным еще настоящими редакторами, новый антураж романов Леонова убойно действовал на читателя.

Другой пример удачной адаптации автора старой школы к новой реальности — Виктор Пронин, советский писатель третьего ряда, сотрудник журнала «Человек и закон», дебютировавший в 1960-е годы. Известный фильм Говорухина «Ворошиловский стрелок» снят по повести Пронина 1995 года, однако еще в 1993-м он выпустил роман «Банда», немедленно ставший народным бестселлером. Огромные тиражи, множество переизданий, семь продолжений и телесериал в трех сезонах. Под неслыханную популярность автора были переизданы и все его старые вещи. Сюжеты «Банды» стандартны для палп-фикшена девяностых, оригинальным можно считать лишь то, что главным героем стал не лихой опер, а умный следователь прокуратуры. Секрет успеха в другом — Пронин умел писать профессионально: создавать образы персонажей, показывать живую речь, радовать точными деталями. У него было свое лицо, он умел расположить к своей прозе. В условиях, когда читателей уже тошнило от безобразно сляпанных бандитских боевиков, на его книги не могли не накинуться.

Интересен случай москвича Анатолия Афанасьева, члена Союза писателей с 1975 года, друга Александра Проханова. Его городская проза отличалась оригинальностью еще в семидесятые-восьмидесятые, а по ходу перестройки в ней появлялось все больше гротеска и горькой иронии. Переходным стал роман 1993 года «Первый визит Сатаны», в котором сошлись бытописание эпохи, криминал и сатира. За следующие десять лет (Афанасьев умер в 2003-м) он выпустил более двух десятков увлекательнейших книг, полную библиографию которых не найти в интернете. «Из тонкого лирика вырос беспощадный разгребатель грязи, социальный сатирик, мастер антиутопий», — писал в некрологе Владимир Бондаренко, отмечая, что позднее творчество Афанасьева замалчивали все участники литпроцесса — как толстожурнальная публика, так



и обозреватели массовой литературы. Народ Афанасьева раскупал безо всякой рекламы, следуя «сарафанному радио», и читал с большим удовольствием — автор не только умел увлекать и пугать, но и великолепно владел родной речью, рассказывая о самых жутких вещах (обычный его сюжет — бессилие маленького человека в жерновах криминала и власти) усмешливым сказовым языком. Писательская манера Афанасьева весьма близка к творчеству Сергея Алексева, о котором мы тоже расскажем. «Помню, в “Новом мире” какой-то изощренный эрудит и эстет — академик, уставший от окружающей и ненавистной ему действительности, написал, что “в современной прозе я ничего не читаю, кроме романов Анатолия Афанасьева и Сергея Алексева”», — отмечал Бондаренко в упомянутом некрологе.

Не надо думать, что любой крепкий прозаик, окончивший Литинститут, мог бы увлекать своими сочинениями массы, стоило ему лишь захотеть. Пытались многие, получилось у единиц. Можно вспомнить Михаила Попова, попробовавшего себя чуть ли не во всех популярных жанрах, но так и оставшегося малотиражным автором маргинальных издательств. А ведь он подходил к делу серьезно. Что уж говорить о всяких постмодернистах, имитирующих бульварщину с фигой в кармане. Владимир Тучков со своим «Танцором» или Вячеслав Курицын с «Матадором» повеселили тусовку, и на том дело кончилось, народ их читать не стал.

Важной вехой в становлении новой массовой литературы стала книжная серия «Русский проект», основанная в 1996 году издательствами «ОЛМА-пресс» и «Нева». В первых же книгах серии вышло несколько романов «шантарского цикла» красноярца Александра Бушкова, самый знаменитый из которых — «Охота на пиранию». Еще во второй половине восьмидесятых автор был известен как молодой фантаст, сочиняющий незаурядные (на общем тогдашнем унылом фоне) рассказы и повести, но по большому счету не хватавший звезд с неба. Однако совершенно не фантастическая «Охота на пиранию» стала бестселлером десятилетий, обзавелась бесчисленными сиквелами и приквелами и задала новый уровень допустимого. Известная формула — непобедимый герой в безнадежных обстоятельствах — реализовалась на фоне дикой сибирской природы, воспетой другим красноярцем — Виктором Астафьевым, собственно, «пиранья» и получилась астафьевской «Царь-рыбой» наоборот. Но дело не только в формулах, у Бушкова есть узнаваемая индивидуальность, выраженная как в образе рассказчика, представляющего всесторонне познавшим жизнь брутальным героем, презирающим «интеллигенцию», так и в реальном умении продумывать детали и правдоподобно их подавать.

В «Русском проекте» выходили книжные циклы, охотно экранизируемые на телевидении. Иногда публикация шла одновременно с появлением телеверсии, как в случае с Андреем Кивиновым («Улицы разбитых фонарей»). Здесь вышла сага о «бандитском Петербурге» Андрея Константинова, трилогия Юлии Латыниной «Охота на изюбря», вышел «Черный ворон» Дмитрия Вересова. Всё это были авторы необычные, умные, ироничные, принесшие в масслит каждый свое. Кивинов никем не превзойден в жанре криминальной трагикомедии. Латынина умела тогда писать исключительно по-мужски, сочетая сложную экономическую фактуру с выверенной интригой. Вересов стал мастером остросюжетной семейной драмы. Конечно, они производили низкую литературу, работали на потребу публики, но умели делать это хорошо, гораздо лучше других.

Неудачи «Русского проекта» были нечасты. К ним можно отнести, например, книги Олега Маркеева (он же Олег Фомин: пытался под разными фамилиями стартовать в серии дважды). Сделаны они были вроде бы по всем канонам политического триллера, видно, что автор думал скрестить Юлиана Семёнова с Дэвидом Морреллом и Робертом Ладлэмом, но читать их решительно невозможно. Это наглядное свидетельство той простой истины, что никакая писательская технология не может заменить на пути к успеху врожденных (или нажитых) даров — ума, чутья и таланта.

Именно в «Русском проекте» обрел новую жизнь писатель Сергей Трофимович Алексеев. Уроженец Томской области, Алексеев стал профессиональным литератором почвенного направления на рубеже 1970—80-х годов. В советских издательствах выходили его романы «Материк», «Хлебозоры», «Крамола», «Рой» (по последнему в 1990 году снял фильм режиссер Владимир Хотиненко). После 1991 года Алексеев исчез с литературного горизонта, и можно было подумать, что он, как положено русскому почвеннику, запил горькую. Но вдруг в 1995-м на всех книжных лотках страны появляется выпущенный огромным тиражом роман «Сокровища Валькирии», на обложке которого стоит его имя. Понятно, что Сергеев Алексеевых пруд пруди, но нет, это именно он, Сергей Трофимович. И вот уже прошло двадцать семь лет, а «Сокровища Валькирии» со многими продолжениями, как и все другие его романы, до сих пор не сходят с книжных прилавков.

Алексеев, как и Бушков, не раз признавался в расположении к нему военных, силовиков и спецслужб. Его роман о спецназе «Удар “Молнии”» был в свое время лучшей книгой о чеченской войне, а киноповесть «Дождь из высоких облаков» — едва ли не единственным художественным произведением о трагедии «Норд-Оста». Но прославило его обращение к исторической конспирологии. Говорят, что созданный им литературный мир, где смешались хранители арийских тайн и старообрядцы-скрyтники, тайные общества и вековая борьба спецслужб, лег одним из камней в основание современного язычества — родноверия. В сущности, Алексеев создал собственную версию всего происходящего в России и мире, причем версию для русских комплиментарную. Это, конечно, достижение, но надо ли говорить, что решающим фактором успеха опять-таки стал литературный талант. По сути своего дара Алексеев — писатель-деревенщик, склонный к живописанию природной стихии, цельным персонажам и сказовой манере повествования. И вот на контрасте, на столкновении любимой читателем традиционности с модным нарративом, замешанным на историософско-конспирологических теориях, он и выехал в ряды топовых авторов.

Как у типичного деревенщика, у Алексева проблемы с сюжетостроением. Он умеет завязать историю, но не может довести до развязки, в лучшем случае доводит до какой-никакой кульминации. Как в бесконечном круговороте крестьянской жизни развязкой не становится даже смерть, так и большинство книг Алексева имеет открытый финал, иногда кажется, что он обрывает рассказ, потому что ему надоело рассказывать. Такая провальная, казалось бы, тактика ничуть не отталкивает и парадоксальным образом устраивает постоянного читателя, ведь в каждом тексте любимого автора тот видит лишь фрагмент тайного мира, и чем меньше ему показывают, тем шире простор для домыслов.

В 2003 году вышла примечательная книга Алексева «Сокровища Валькирии: правда и вымысел». По форме это была его автобиография, по сути — апология придуманной им вселенной. Настоящие, проверяемые факты из

его жизни смешивались там с чудесами, свидетелем которых будто бы становился сам автор, начиная с раннего детства. Уже молодым человеком он взялся за расследование этих чудес и фрагмент за фрагментом стал открывать великую тайну. Это отличное чтение, жаль, что обрывается книга, как всегда, на самом интересном моменте.

Как и Афанасьева, Алексеева демонстративно не замечали ни критики, ни обозреватели, не упоминали даже в негативном контексте. Как сам он рассказывал, права на экранизации его книг скупались мгновенно, но снимать никто даже не собирался — это был заговор. В книгоиздании, впрочем, заговор не работал, книги его без проблем печатали сначала в ОЛМА, после в АСТ, и продавались они хорошо. С 2017 года Алексеев предпочитает издавать новые книги самостоятельно, и вряд ли он финансово проиграл.

IV.

Говоря о чтении 1990-х годов, нельзя не остановиться на Стивене Кинге, ведь он не только три десятилетия приносил издателям сказочные барыши, но и стал образцом и ориентиром для нескольких поколений российских писателей, даже в пантеоне фантастов умудрившись подвинуть авторитет братьев Стругацких. Понятно, что многих начинающих гипнотизировала его успешность — выходец из низов, гик-очкарик, трудяга, добившийся всего сам. Но опытные авторы завидовали не деньгам и даже не умению придумать беспрюгрешный сюжет, а его литературным способностям. В отличие от других литераторов-миллионеров вроде Майкла Крайтона или Джона Гришэма, Кинг — писатель, так сказать, «настоящий», без скидок на жанровость. Сколь бы ни воротили нос эстеты и снобы, считающие, что настоящая литература невозможна без особенного языка, тонких душевных движений или хотя бы уловленного духа времени, Кинг по факту куда одаренней многих представителей высокой словесности. Он не Набоков и не Фицджеральд, но отлично владеет словом, понимает в людях и, главное, умеет залезть в душу не зараженному снобизмом читателю.

Первый перевод Кинга был напечатан в СССР в 1984 году, в журнале «Иностранная литература», первая книга — в 1987-м. Есть мемуары переводчика Вадима Эрлихмана о том, как король ужасов захватывал рынок в России (точнее, ушлые издатели захватывали перспективную тему). К концу 1992 года в России было издано всего четыре романа Кинга из трех десятков, уже вышедших в мире. А уже в 1993-м одно только издательство «Кэдмен» выпустило более тридцати книг тиражом до трехсот тысяч каждая. К 1994-му существующие книги Кинга закончились, и следующие десятилетия их уже переводили по мере появления новых романов на свет.

Сам я долгое время игнорировал модного автора чисто из упрямства, из врожденного консерватизма, однако в какой-то момент все же не устоял. Для первого знакомства мне досталось украинское издание «Сияния» — с безобразной полиграфией, с любительским переводом без признаков корректуры, да еще и под названием «Странствующий дьявол» (издатели тогда часто заменяли скучные названия на более, как им казалось, эффектные; «Кладбище домашних животных» продавалось как «Кровавые игры», «Томминокеры» стали «Проклятьем подземных призраков»). Но даже в таком чудовищном виде текст меня захватил и пробрал. Удивительное дело: я как бы прозревал замысел сквозь коряво переведенные фразы — чистая телепатия. Я понял, что нашел

своего автора, и в итоге прочел у него почти всё, хотя очередных томов «Темной башни» в нулевые приходилось дожидаться годами.

Чем отличается стиль Стивена Кинга? Недоброжелатели сетуют, что он страшно многословен, подразумевая, что неплохо бы ему научиться себя сокращать. Да, слов у него много, но все эти слова — строго по делу. Поразительно его умение описывать события нескольких минут, а то и секунд на десятках страниц, но оно не имеет ничего общего с «высокой» скукой, наводимой на читателей Прустом и Джойсом. Растянутые мгновения Кинга пробегаются влет, без возможности остановиться, и не беда, если какое-то количество слов в этом беге будет потеряно. Тексты Кинга имеют высокий запас прочности, именно потому для них не критичен дурной перевод, телепатия все равно сохраняется. Слог Кинга прост и кристально ясен, все им описываемое предельно наглядно, персонажи детальны и объемны. Впрочем, о технологиях мы поговорим отдельно, потом.

Разумеется, от Кинга в восторге не все. У меня был знакомый химик, который читать его просто не смог, сказал, что это какая-то дребедень. Как ученый и человек практического ума, он предпочитал книги Василия Головачёва, там для него все было и понятнее, и увлекательнее.

Новый век начался с воцарения в масслите Бориса Акунина. Первые его книги о Фандорине появились в 1998 году, но заметили их только в двухтысячном, с появлением «черной» серии издательства «Захаров». Успех их складывался из множества факторов, среди которых и отсутствие настоящего детектива, и тоска читателя по ясности, и потребность в герое, и запрос на эскапизм, и даже рост монархических настроений, но захватывал читателя в первую очередь акунинский слог. Помимо необходимой внятности и прозрачности, манера повествования строилась на нехитром трюке — сочетании видимой старомодности с ироническим взглядом из нашего времени. Стилизация Акунина, с одной стороны, походила на знакомую из школьной программы классику, создавая ощущение не самого примитивного текста (чай, не Донцова), с другой же стороны, она вызывала некоторое чувство превосходства, такого снисходительно-доброжелательного любопытства, с которым человек будущего может взирать на это милое, забытое всеми старье. Читать было легко и забавно, а дальше уже захватывала грамотно построенная история.

Продолжения фандоринского цикла появлялись, хотя и с большими перерывами, почти до конца десятых годов, но к беллетристическим опытам Акунин к 2011 году уже охладел. Другие его проекты — «Магистр», «Пелагия», «Жанры», «Авторы» — пользовались всё меньшим успехом. Борис Акунин был последним российским автором, умевшим делать бестселлеры для самых широких масс и, главное, производить их регулярно, в рабочем порядке.

V.

В середине нулевых в России появились не только литературные агенты, но и продюсеры, первым из которых стал известный медиаделец Константин Рыков. В 2006 году он на спор раскрутил и сделал бестселлером ничем не примечательную повесть виноторговца Сергея Минаева «Духless», а в 2007-м озабочился созданием собственного издательства. Его «Популярная литература» не собиралась, подобно другим издательствам, брать рынок книжным валом в расчете на то, что какая-то часть изданий хорошо продается и покрывает убытки.



Была придумана новая стратегия: выпускать мало названий, но максимально вкладываться в продвижение каждого. Рыков был уверен, что агрессивная реклама продаст что угодно, и на первых порах это действительно оправдалось. Вторым его, после раскрутки Минаева, достижением стал вывод в топовые авторы Дмитрия Глуховского, чей роман «Метро 2033», будучи изданным еще в 2005-м в «Эксмо», прошел никем не замеченным, а в «Популярной литературе» переиздавался большими тиражами на протяжении трех лет. Хорошо «выстрелил» также открытый «Популярной литературой» фантаст Сергей Тармашев, получивший собственную серию. Другие авторские проекты большой прибыли не принесли, и тогда Рыков создал проект межавторский.

Идея «проектов» овладела в конце нулевых многими издательствами. Смысл заключался в том, чтобы поручить разработку одной литературной вселенной неограниченному ряду авторов. Работать они должны были под руководством продюсеров, серийно и как можно быстрее, а издаваться в одинаковом оформлении под брендом проекта. На западе такие межавторские циклы книг практиковались давно, чаще всего они использовали уже кем-то придуманный мир, либо проект стартовал с произведения или ряда произведений известного автора. Да и в России еще в девяностых и начале нулевых выходили продолжения известных саг Стерлинга Ланье, Колина Уилсона, Роберта Говарда, написанные отечественными фантастами под «иностранными» псевдонимами. С 2009 года дело было поставлено на промышленные рельсы. У «Эксмо» набирал обороты «S.T.A.L.K.E.R.» (по компьютерной игре), «Популярная литература» запустила «Этногенез» (там, если кто не знает, одним из сквозных персонажей выступал Лев Николаевич Гумилёв), АСТ развивал «Метро». Во всех этих проектах участвовало немало по-настоящему хороших, проверенных авторов, но результат, как правило, выходил так себе. Нет, там были большие тиражи, небывалые гонорары, и раскупались книги отлично. Но это был сугубо нишевый продукт, ориентированный на точно просчитанную аудиторию. Чужие за этими книжками не ходили. Потому и авторы не сильно старались, понимая, что стараний их не оценят. Закат золотой эры книгоиздания был еще впереди, но тенденция на рубеже нулевых и десятых определилась: читатели сегментировались, расходились по разным углам.

В первые десятилетия капитализма велико было социальное расслоение общества, и чтение хотя и объединяло, но не обходилось без собственной иерархии, обусловленной не только разностью вкусовых запросов. Так, линейка женского детектива «Донцова — Полякова — Маринина — Устинова — Дашкова» демонстрировала, помимо возрастания художественного уровня авторов от простого к более сложному, еще и некие социально обусловленные тематические особенности. Донцова, скажем, была интересна домохозяйкам пенсионного возраста, Полякова — продавщицам и работницам ЖКХ, Маринина — чиновницам районного уровня, Устинова — дамам света, Дашкова — доцентам и кандидатам наук.

В десятые годы наши люди в массе своей перестали, с одной стороны, бедствовать и отдавать банкам квартиры, а с другой — быковать и кичиться несправедливо нажитым, все стали жить более или менее ровно, да и в культурном плане сблизилась благодаря телевидению и интернету. Однако разнообразие телепрограмм и доступность любого видеоконтента в Сети позволили выбирать культурное потребление по собственным прихотливым вкусам. Если прежде народ разделяли материальные возможности, образ жизни, уровень культуры, то

теперь пошло разведение по интересам. Вместо страт возникли кружки. Это отразилось и в чтении. Хотя оно и начало превращаться из всенародного занятия в редкое хобби, единства это читателям не прибавило. Мало того что в своем сжимающемся сообществе они, как и прежде, делились на обывателей, аристократов и фриков, но все эти градации уже и внутри себя разбежались по предпочтениям.

Надо сказать, что на рубеже первых десятилетий нашего века еще появлялись авторы, чьи книги при благоприятном стечении обстоятельств могли бы увлечь всю читающую публику, включая филологов и пиарщиков, вахтеров и бабулек с тележками.

В 2006 году кооперация «Яузы» и «Эксмо» выпустила две необычные книги «шпионской» тематики (в аннотации упоминался Джеймс Бонд). Первая называлась «Бог не звонит по мобильному», вторая — «Афганская бессонница», автором значился некто Николай Еремеев-Высочин. Текст резко дисгармонировал с заявленным (джеймс-бондовским) содержанием. Книги были написаны отличным языком, в авторе чувствовалась незаурядная культура. Притом романы были остросюжетные и действительно рассказывали о жизни разведчика-нелегала, но рассказывали с таким проникновением в психологию и обстоятельства, какого достигали разве что Грэм Грин и Джон ле Карре.

Вокруг книг поднялся некоторый шум. Топкниговская газета «Книжная витрина» поместила большую рецензию и интервью с автором, признавшимся, что скрылся под псевдонимом. Чуть позже собственной рецензией и вторым интервью отреагировал обозреватель «Афиши» Лев Данилкин. Выяснилось, что автор книг — Сергей Костин, известный тележурналист-международник, автор документальных фильмов, человек обширных познаний.

С подачи Данилкина первый роман переиздала в 2008 году «Популярная литература», у нее он стал называться «В Париж на выходные», в авторах же почему-то значился главный герой — Пако Аррайя. Там же вышел третий роман — «Рам-рам», на котором уже стояло имя Сергея Костина. Однако без продвижения тридцатитысячный тираж не продан, а Рыков увлекся «Этногенезом».

В 2011 году Костин уже собственными силами переиздал «Афганскую бессонницу» и выпустил еще два романа: «Смерть белой мыши» и «По ту сторону пруда» (последний в двух книгах, вышел в 2013-м). Его романы не только сочетали беллетристические достоинства (эмпатия, убедительный антураж, увлекательность) с высоким литературным уровнем, но к тому же еще достоверно и занимательно рассказывали о чужих странах, не хуже путеводителя. Тем не менее никакого ажиотажа вокруг них не возникло, и на том дело кончилось. Уникальный автор для рынка пропал.

Опять-таки в 2006 году в издательстве «Захаров» появились на свет две книги некоего Кирилла Шелестова — «Укротитель кроликов» и «Пасьянс на красной масти». Забегая вперед, скажем сразу: всего книг было пять, последняя вышла в 2012-м. Пенталогия представляла собой эпос девяностых годов из жизни бизнес-элиты губернского города Уральска. Схемы-откаты-захваты, криминал, политическая борьба — все описывалось подробно, с тонким знанием деталей, с психологическими портретами участников и нюансами их личной жизни. В художественном и сюжетном плане сделано было необыкновенно хорошо, даже с оглядкой на русскую классику. Особенно давались автору обстоятельные сцены публичных многофигурных скандалов — нельзя было не



вспомнить самого Достоевского. Герой-рассказчик — пресс-секретарь и консьерже мафиозного олигарха — выглядел натуральным Аленом Делоном из фильма «Смерть негодяя». Потом вроде выяснилось, что за псевдонимом Шелестов стоит бывший самарский политехнолог Александр Князев, но это не точно. Таких книг о подоплеке провинциальной политики еще не появлялось, куда там Юлию Дубову или Юлии Латыниной. Но опять же ни шума, ни популярности, ни даже выдвижения на литературную премию не было. Несколько рецензий (одна даже Виктора Топорова) — и всё. Ну что тут сказать.

В 2007 году попробовал себя в написании бестселлера прозаик Игорь Сахновский — автор нестоличный, известный в узких кругах и не особенно плодовитый, но талантливый, умный и к тому же имеющий о себе высокое мнение. Его небольшой роман назывался «Человек, который знал всё» и пользовался настоящим успехом. Год спустя режиссер Мирзоев снял по нему одноименный фильм — к сожалению, как и всё у этого режиссера, бездарный. Но книгу раскупали и читали с восторгом. Беспроектный сюжет, тонкий иронический стиль, покушение на святое. К сожалению, до истинного бестселлера роман не дотянул, возможно, из-за лени, а скорее всего — от снобизма автора. Слишком лаконичный, слишком короткий, он обрывает заманчивые ходы, отказывается закручивать сюжетные линии и заканчивается там, где нормальный автор написал бы: «Конец первой части». Сахновский всем доказал, что может, если захочет, но желания у него как раз не было, и больше он таких опытов не повторял.

Разумеется, я многое упускаю, точнее, намеренно упускаю: в нулевые — начале десятых много что объявляли бестселлерами, причем как в элитарной, так и в массовой страте. Но все эти Улицкие-Рубины или, с другой стороны, Зотовы-Рои — продукты опять-таки нишевые, к ним надо себя приучать, массы ими не увлечешь. Можно посмотреть хотя бы списки премии «Национальный бестселлер» или годовые отчеты того же Данилкина — там есть интересные и шумевшие книги, но книги эти далеко не для всех. Ближе других к званию народного автора подошел, может быть, Алексей Иванов — в «Географе», «Блуде», «Золоте бунта», однако уже в «Ненастье» он скатился в бульварщину и дурновкусие, а после стал клепать псевдоисторические буффонады. «Библиотекарь» Михаила Елизарова был роман, казалось бы, хоть куда, но детям и государственным служащим его нельзя было открывать. Или вот «Красный бубен» Владимира Белоброва и Олега Попова — прекрасная народная книга, но слишком уж... реалистичная.

VI.

Последние десять лет пребываю в том же состоянии, что и в школьные годы, — ищу, что бы интересного почитать. Нет, у меня полно непрочитанного и на полках, и в электронной книге, на годы хватит, и очередь обязательного чтения не убывает. Но чтение уже — как работа, приходится себя заставлять, и хочется увильнуть. А такого, чтобы все бросить и погрузиться, — такого почти не осталось. Сейчас (как выразилась Мария Галина, один из любимых мной авторов) изготавливают макеты романов в натуральную величину. Именно так, причем каждый моделист-конструктор работает на свою референтную группу. Сергей Самсонов с Александром Иличевским бетонируют книжные плиты для кучки экспертов, а Захар Прилепин и Гузель Яхина стараются на нужды народа. Даже любимейший Эдуард Веркин с двумя кирпичами недавнего «снарка снарка» —

тот же конструктор. Хотя и сам я нахожусь в его целевой группе, и книга мне, безусловно, понравилась — но истина именно такова: не роман, а макет.

Многое зависит от издателей, которые перестали искать новые тексты, отказались рассматривать самотек и принимают теперь исключительно пришедших с рекомендацией. Издательское поле разделилось на политические сектора с разной идеологией и разным доступом — как к инструментам продвижения, так и к выделяемым государством бюджетам. Редакторский корпус потерял профессионализм. Именно из-за редакторской нерадивости было загублено издание веркинского «Острова Сахалин», потенциального международного бестселлера.

Кое-что стоящее изредка получается выловить среди сетевого самиздата, благо есть знающие люди, которые эти залежи мониторят. Время от времени кто-нибудь из уважаемых друзей начинает бить в рельсу: открытие! Талант объявился! Верить им, бежишь, проверяешь. Не доверяя первым страницам, читаешь главу-другую. Но — нет, может, он и талант (ведь все относительно), но определенно не тот талант, которого ждешь.

Повезло этим летом — удалось прочесть по-настоящему увлекательный роман с ресурса «ЛитРес». В нем ясно видны две вещи, которые крайне редки не только в самиздате, но и среди книг ведущих издательств — незаурядные способности автора и проделанная им большая работа. Беда одна — во-первых, роман по-настоящему неформатный, для него трудно подобрать жанр и аналог, во-вторых, он большого размера — как «Анна Каренина». Обе причины делают невозможным его издание в настоящее время.

Даже в те времена, когда самотек еще принимался, никакие редакторы никогда не читали неизвестный текст целиком. Они изучали первый абзац, если он устраивал — несколько первых страниц, потом открывали наугад в середине. И только если результаты поверхностной экспертизы превосходили все ожидания, отдавали текст какому-нибудь рецензенту. Так же поступают и современные «ридеры». Не открою секрета, сказав, что в большинстве случаев нескольких абзацев хватает для заключения. Они показывают уровень авторской подготовки, его способности и потенциал.

В первых абзацах никому не известный автор должен сделать то, что Чак Паланик называет «созданием авторитетности». Во-первых, он должен продемонстрировать свои профессиональные умения. Попросту доказать, что может писать чуть лучше, чем в состоянии это делать всякий грамотный человек. Нет ничего хуже вывода «так может любой». В устах дилетанта подобное утверждение бывает ошибочным, но профессиональный читатель знает, чем обычная грамотность отличается от таланта или наработанной квалификации, он сразу видит, чего стоит автор, понимает, что стоит за искусственной сложностью или обманчивой простотой. Показывая свой уровень, автор может подражать признанным образцам, это не возбраняется, даже приветствуется, важно только выбрать ориентир по зубам и оценивать результат трезво. Обычно люди думают, что изображать Хемингуэя проще, чем Набокова, и, наверное, это действительно так. Не стоит только подражать Лазарчуку, подражающему Стругацким, которые сами подражали Хемингуэю.

Во-вторых, автор предъясвляет свой способ повествования, а если текст написан от первого лица, то сразу знакомит с рассказчиком. К сожалению, в начале подавляющего большинства самиздатовских текстов автор сразу показывает, что его рассказчик — «малолетний дебил» (в терминологии небезызвестного Гоблина) и что сам он, автор, никак не собирается дистанцироваться от своего



персонажа. Полагаю, писатели с площадок самопубликаций вроде Author.Today хорошо представляют потребности своей аудитории и неукоснительно следуют правилу, что рассказчик не должен быть умнее читателя.

В-третьих — и это тоже относится к «созданию авторитетности», — автору следует доказать, что он немного разбирается в том, о чем пишет. Если он начинает с описания какой-либо профессиональной или даже просто специфической деятельности, будь то стройка, осмотр места происшествия полицией, да хотя бы обычные сборы в дорогу, — хорошо бы ему вникнуть в неочевидные детали и убедить в собственном исчерпывающем знании этого дела. Убеждают всегда нюансы. В идеале читатель должен изумленно воскликнуть: «Да откуда он это знает?» При этом необязательно самому иметь большой опыт, достаточно изучить вопрос и хорошо подумать. Даже если речь идет о некоей неведомой космической технике, не стоит нести первую пришедшую в голову банальную чушь, надо показать профессиональную работу героев — откройте «Я, хобо» Сергея Жарковского, вот уж кто умел это делать. И даже приступая к изображению заведомо выдуманного фэнтезийного мира, хороший автор не забудет показать незаурядную сложность его устройства и свое глубокое погружение в эту сложность.

Надо постараться также не допустить сразу на первых шагах фактического или логического ляпа, даже просто натяжки. Эти моменты часто не заметны самому автору, но здорово портят впечатление. У большинства сочинителей найдется на первой странице нечто такое, до чего непременно докопается критически настроенный читатель.

Если вы не автор с именем, для вас губительно начинать текст с подробного пейзажа, развернутого портрета, отвлеченных рассуждений или беспредметного диалога. Адепты энергичной прозы учат, что не должно быть ни одной необязательной фразы, каждая обязана либо работать на развитие сюжета, либо характеризовать персонаж. Первые абзацы в идеале содержат экспозицию и завязку истории. Они знакомят с сеттингом и действующими лицами, дают настрой и, как минимум, интригуют. Посмотрите первый абзац «Момент истины», первую страницу «Капитанской дочки».

Заинтересовывают читателя не столько придуманные события, сколько дух книги, он должен почувствовать что-то знакомое и волнующее. Это тонкая вещь. А каков дух текстов Author.Today? В лучшем случае текст стерилен, а чаще от него разит комнатой неряхи-подростка: приторным парфюмом и запахом несвежих носков, свежести там днем с огнем не отыщешь.

Очень плохо для беллетриста, если читатель путается в многофигурных сценах. Вроде бы сделано все как надо: участники сцены представлены, кратко охарактеризованы, их роли ясны. Но вот они начинают взаимодействовать, и — ничего не понятно. Приходится не раз возвращаться к началу фрагмента, перечитывать и пытаться разобраться, кто что сказал, кто что сделал, кто как отреагировал и зачем. А уж если начинается экшен, быстрые перемещения, драка какая-нибудь — тут уж при всем желании и любых усилиях не восстановить, «кто на ком стоял» и в какой последовательности. Удивительно, но такие провалы характерны даже для как бы популярных и будто бы уважаемых авторов. Тогда как у Стивена Кинга, Акунина и даже Бушкова нам все всегда ясно. Каждый персонаж имеет свой узнаваемый голос и поступает именно так, как ему свойственно, не ошибешься.

Заинтересовать первыми страницами — дело важное, а для малоизвестного автора критически важное. Но вся работа еще впереди. Главное в увлекательном чтении — это история, а для построения и донесения истории до читателя простых рецептов не существует. То, что мы называем секретом успеха того или иного автора, относится всего лишь к его собственному способу выделиться, к чертам его индивидуальности. Но вся авторская индивидуальность есть малозначимая, в сущности, надстройка над ремеслом сочинителя и рассказчика историй.

Об этом ремесле и его технологиях написано множество книг. Лучше всего сущность истории, ее разновидности, структура и способы создания изучены и разложены учителями сценарного мастерства, ведь кино — самое технологичное из искусств. Самый авторитетный учебник по сторителлингу принадлежит Роберту Макки. В теории общей мифологической природы историй Макки опирается на книги Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» и Кристофера Vogлера «Путешествие писателя» — эти работы интересно читать, но в прагматическом плане они не очень полезны. Да и учебник Макки необязательно изучать, достаточно ознакомиться с популярным его изложением, которым, по сути, является книга Александра Митты «Кино между адом и раем».

В структуре линейной истории нет ничего сложного. После экспозиции, в которой мы знакомимся с протагонистом, а часто сразу и с антагонистом, наступает побуждающее происшествие, ставящее перед героем выбор: менять свою жизнь или нет. Понятно, что после первоначального отказа и колебаний он вступает в конфликт и терпит первое поражение. В настоящей истории важно все время обманывать ожидания читателя, который ждет победы добра, но постоянно «обламывается». Ясное дело, что читатель не круглый дурак и обманывается совершенно сознательно, ибо таковы правила. Добро может победить лишь в самом конце, проиграв перед тем многократно. Поэтому первый акт сменяется вторым, а второй — третьим, причем ставки каждый раз повышаются. Когда на кон, наконец, поставлено все, а шансов на успех уже, кажется, нет — только тогда можно сыграть кульминацию и перейти к развязке.

Стоит ли говорить, что авторы с Author.Today не балуют своих потребителей развязками. Могут сляпать завершение на скорую руку, когда уже нет сил продолжать, но это для них равноценно авторскому поражению. Пока сердце бьется, им надо идти вперед.

За счет чего история становится увлекательной? Есть две причины — эмпатия и ожидание. Эмпатия — переживание за другого, у читателя это переживание направлено, как правило, на протагониста и его группу. Попросту говоря, читатель болеет за «наших». Кто не увлекался сериалом «Ходячие мертвецы», у того нет сердца. «Наши» там — друзья и дети бывшего полицейского Рика Граймса, за них беспокоиться больше, чем за собственное здоровье. Отовсюду им угрожают опасности, и даже когда обстоятельства у них складываются хорошо, все равно продолжаешь ждать чего-то плохого. Это саспенс — крючок, на котором торчишь, не в силах нажать на «стоп» и заняться своими делами.

Не так давно прочел увлекательный роман Виталия Смышляева «Страна яблок». Там тоже, как в «Ходячих мертведах», почти все люди на Земле умерли и маленькая сельская община выживает среди неизвестности и врагов. Эмпатия автору удалась — очень скоро все его персонажи (кроме некоторых нехороших) становятся тебе как родные. Автор же тебя умело пугает, намекая на то, что все закончится нехорошо. Тут бы и бросить по здравом рассуждении: чего зря

нервы себе трепать? Но нет, скорее, скорее дочитываешь до конца. Такое называется манипуляцией, и для писателя это высокое умение.

Третья составляющая увлекательности — это тайна. Она работает на разных уровнях, но всегда связана с читательскими ожиданиями. Всякий по ходу чтения невольно прогнозирует, чего следует ждать. Бывают очевидные сюжеты, развитие и развязку которых можно предсказать в точности. Но даже в таком случае сохраняется некоторая интрига: читатель уже догадался, что будет, но не знает, как именно это произойдет (или хотя бы — как это будет подано). И если автор не совсем прост, он может читателя удивить.

Сочинители приключений часто возводят непредсказуемость в принцип. Как в кино: если герои боевика придумали план, можно быть уверенным, что все у них пойдет не по плану. То же и в книгах — закладывая сюжетные повороты, авторы применяют прием «но вдруг...». Необходимость следовать за случайностями блестяще опроверг Владимир Богомолов. В «Моменте истины» его герои прежде всего работают головой: продумывая операцию, они заранее предусматривают все возможное, на каждую случайность у них есть свой вариант противодействия. Богомолов, разумеется, уникал, он писал свою книгу десятилетиями, выезжая на местность, рисуя схемы и промеривая расстояния рулеткой. Но есть недавний пример следования его тактике. Фантаст Андрей Круз, человек сложной биографии и обширных познаний, тоже отказывался от приключенческой непредсказуемости. Сериал про ходячих мертвецов был для него постоянным объектом насмешек, а его собственные персонажи всегда дружили с головой, и все у них поэтому получалось.

Так вот, про тайну — она может лежать и в основе сюжета, быть причиной основного конфликта. В высокой литературе тайна заключается в экзистенции, в основах человеческого бытия. В литературе попроще она призвана захватывать воображение, действовать на эмоции. Хороший текст погружен в неизвестность, он полон загадок, разгадывать их — увлекательная игра. Писатель манипулирует читателем, отвечая на второстепенные вопросы, но повышая при этом степень неразрешимости вопроса самого главного, оставленного на развязку. Часто запутанность такова, а ожидания столь высоки, что, кажется, невозможно развязать сюжет без обмана и разочарования. И действительно — многие авторы, что называется, сливают финал или, еще хуже, делают его открытым. Часто вопрос, сумеет ли автор выкрутиться, остается главным стимулом к чтению. Высший класс показал в свое время Булгаков в своем главном романе. Там, если помните, герои в итоге умерли, как и следовало ожидать. Но судьба их на том не закончилась, да и все другие линии получили должное завершение.

Придумать историю мало, важно еще ее правильно рассказать, и рассказчику не обойтись без так называемой «драматургии». По искусству драматургии тоже есть признанные учебники, например, Лайоша Эгри. Хотя, может быть, проще внимательно посмотреть какой-нибудь драматический сериал, например «Клан Сопрано» (обязательно — в переводе Дмитрия Пучкова 2020 года). Если совсем просто, драматургия — это искусство создавать и использовать в сюжете напряжение между персонажами (в широком смысле можно считать персонажем любую действующую силу, даже природную стихию). Суть в том, что у каждого действующего лица драмы есть своя история и свои, вытекающие из нее, устремления. При столкновении разнонаправленных устремлений возникает конфликт. Конфликт — это бензин, на котором едет сюжет.

К сожалению, для создания драматургии придется оживлять буквально каждого персонажа. Надо придумать ему прошлое, озаботиться его физическим состоянием, характером, обосновать, чего именно и зачем персонаж добивается. А потом еще суметь убедительно изобразить столкновение персонажей друг с другом, что невозможно без владения живой прямой речью. А затем надо просчитать и увидеть последствия столкновения в виде неминуемых изменений во внутреннем мире героев, а ведь эти изменения влекут за собой пересмотр всего уже принятого за аксиому. Сложнейшая математика, замучаешься формулы рисовать, а положишься на интуицию — ерунда выйдет, скажут — нежизненно. Наверное, вы уже поняли, что создание драматургии — это неподъемный труд, который никакими сетевыми подписками на Author.Today не окупится.

В любой деятельности главное — мотивация. В отличие от приятного самовыражения, создание настоящей книги — долгая тяжелая работа, и хорошо бы понять, что именно может сейчас подтолкнуть к ней талантливого, способного человека. Мне ясны мотивы тех, кто участвует в формальном околосредовом движении, вращающемся вокруг толстых журналов, союзов, министерств культуры, конкурсов и фестивалей. Для провинциалов — это возможность поднять свой статус и самооценку, найти круг общения. Для столичных жителей — еще и путь в привилегированную тусовку, допущенную к бюджетным источникам, грантам, синекурам, заработкам на «курсах литературного мастерства». Мечты стать топовым автором с серьезными гонорарами сразу отменяем как фантастические, это даже не выигрыш в лотерею, такая избранность должна закладываться еще до рождения. Но если отбросить стремление к материальным, административным и символическим благам, останется кое-что важное — желание оставить след.

Нам известны примеры современников, уже по факту вошедших в большую историю литературы без протекции и по праву. Это не только Виктор Пелевин, это, скажем, Александр Терехов или, возможно, Алексей Иванов в лучших вещах. Мы знаем культовые для определенного круга книги, переиздающиеся регулярно («Дом, в котором...» Мариам Петросян, трилогия Андрея Лазарчука и Михаила Успенского). Есть, наконец, мощные произведения, приобретшие славу в Сети и лишь потом воплощенные на бумаге, из недавних — «Золотой ключ» Михаила Харитонова.

Правда в том, что «настоящее» своего читателя рано или поздно найдет, даже и без всяких с его стороны специальных усилий. Какой-нибудь кладовщик выкопает тусклый алмаз в каменеющих слоях самиздата, смахнет пыль, удивится и поделится со своим кругом, а там пошло-поехало. Непременно найдутся доброхоты, которые будут разбрасывать внезапный шедевр по всему интернету с криками «Налетай!». Популярность, как всякая сетевая мода, придет и схлынет, но те, кому надо, узнают, запомнят и передадут.

Конечно, все желают своему детищу блестящей судьбы «Мастера и Маргариты». Но есть ведь еще вариант «Места» Фридриха Горенштейна — великого русского романа с негромкой славой. (Кстати, роман необыкновенно увлекательный, и все составляющие — эмпатия, ожидание, тайна — в нем налицо.)

Если уж дана тебе редкая способность что-то уникальное сделать, надо пытаться сделать. Бог даст — получится. А если и правда получится — то не пропадет.

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

ШКОЛА ШТУЧНОСТИ

О книге Т. Самойо «Ролан Барт. Биография»¹

Биография Ролана Барта, написанная Тифен Самойо, начинается с пролога, где описывается смерть Барта в парижской больнице Питье-Сальпетриер. Возвращаясь со званого обеда у Франсуа Миттерана, решившего привлечь к своей предвыборной компании знаменитых интеллектуалов, философ попал под грузовик и домой уже не вернулся.

Точно так же начинается недавно вышедший в издательстве Ивана Лимбаха роман Лорана Бине «Седьмая функция языка», в котором автокатастрофа с Бартом служит для запуска криптологического детектива с участием самых известных филологов и философов своего времени.

Таким странным образом Бине как бы делится с нами своим нечаянным удивлением, исподволь констатируя: Париж 1980 года был непропорционально богат авторами первого ряда, титанами мысли, открытия и достижения которых до сих пор во многом определяют культурный облик современной цивилизации.

Роман Бине глубоко ностальгичен. Авантюрная интрига и детективный сюжет не в состоянии скрыть авторского разочарования от нынешних времен, богатых лишь середняками и последышами великих. Кажется, структурализм и постструктурализм были последними жизнеспособными школами европейской мысли, после чего их удаля резко пошла на убыль. И если созвездье имен парижских интеллектуалов образца 1980 года можно сравнить с роскошью и разнообразием итальянских художников Высокого Возрождения или русских поэтов Серебряного века, то Ролан Барт не случайно оказывается центральной звездой на карте этого неба. Бине заворачивает фабулу вокруг имени Барта, так как все прочее легко увязывается с его беспрецедентно многогранной творческой деятельностью.

В самом начале своего толстого тома Самойо констатирует, что Барт постоянно становится героем либо персонажем многочисленных книжных новинок, причем не только литературоведческих, но и беллетристических. Во введении

¹ Тифен Самойо. Ролан Барт. Биография. Перевод с французского Инны Кушнарёвой и Анны Васильевой, под научной редакцией Инны Кушнарёвой (серия «Интеллектуальные биографии»). Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. *Ролан Барт* (1915—1980) — французский философ, литературовед, эстетик, семиотик, представитель структурализма и постструктурализма.

к биографии она перечисляет массу эпитетов, связанных с описанием жизни и смерти Барта, уточняя:

Объяснение здесь лежит в стремлении придать его жизни континуальность, одновременно постоянство и продолжение, а еще в игре между эссе, автобиографическими фрагментами и желанием написать роман, которую придумал сам Барт.

Романа он так и не написал. Вроде начал что-то складывать из подготовительных записей (основной способ черновой работы Барта схож с набоковским, и архивы его содержат тысячи до сих пор не опубликованных карточек), но на самом пике формы («писатель — тот, для кого письмо всегда в будущем, тот, кто только собирается писать...») попал под грузовик.

Впрочем, если читать книги Барта одну за другой, как это предлагает Самойо, складывается что-то вроде той самой *Vita nova*, которую он задумал незадолго до своей гибели после смерти мамы, этого главного события его жизни, насыщенной не столько внешним действием, сколько внутренними интеллектуальными исканиями.

Самойо спрашивает себя: «Как можно описать жизнь, в которой не было ничего, кроме письма?» — и отвечает на это своим монументальным трудом, где обстоятельства складываются в книги. Для того чтобы понять «подлинного Барта», доверять его трудам следует до определенной степени:

...Он не любил фиксировать свои тексты, делая из них книги. Почти все его книги — результат заказа или стечения обстоятельств. Он предпочитает временный и актуальный формат... Для удобства Барта часто рассматривают через его книги, что может исказить перспективу. Если восстановить настоящую хронологию его мысли, проследив процесс ее производства по журнальным публикациям, и рассматривать книги скорее как случайные, чем запланированные, перед нами предстанет гораздо менее самоуверенная и окончательная фигура.

Одна из важнейших задач, поставленных перед собой Самойо, — показать адогматичность бартовского мышления, воплотившуюся в межеумочной жанровой природе его самых известных книг и эссе, вроде «Нулевой степени письма» и «Удовольствия от текста». Сам он после выхода работы «Ролан Барт о Ролане Барте» называл этот жанр «третьей формой» («романическое как способ монтажа реальности, как письмо жизни»), а Лидия Гинзбург, применительно уже к нашим палестинам, — «промежуточной литературой», столь любезной современности с ее блогами и соцсетевой словесностью.

Тем более что все книги Барта действительно носят промежуточный характер — каждая из них служит предисловием для нового этапа, творческого, научного и личного. Барт резко, порой радикально менялся после выхода очередных своих текстов, оставляя далеко позади себя только что сделанные открытия примерно так же, как ракета-носитель сбрасывает отработанные топливные баки.

«Для того, кто пишет, кто выбрал письмо, мне кажется, не может быть иной “новой жизни”, кроме как открытия новых практик письма...» И если человек — это стиль, то принципиальная фрагментарность, текучесть большинства бартовских произведений, будто бегущих законченности и последней определенности (формулировки его зачастую делаются по принципу «клади рядом»), идеально выражает характер этого странного человека, постоянно ускользающего от определений на любых уровнях.



Лишь поначалу, делая первые шаги на критическом поприще и анализируя «Постороннего» Камю, Барт понимает литературу как «осознанное производство, способное выдержать политические и эстетические взгляды общества». Впереди увлечение «драмой абсурда» и «новым романом», разочарование в существующих, даже самых продвинутых, формах беллетристики и попытки создания собственного дискурса вне каких бы то ни было жанров. Это и «нулевая степень письма», и «третья форма», и, наконец, «романное без романа», когда знакочислитель выходит в жизнь и становится жизнью.

Писатель, по Барту, — это мученик своего фантазма, пытающийся воплотить его в текстах. Само по себе письмо, особенно лишенное жанровых признаков и воюющее с ними, утопично и не имеет места. Это осуществление фантазма есть территория полнейшей вменяемости, которую заполняет личность уже не писателя, но читателя.

На каком-то этапе Барт начинает ставить знак равенства между «чтением» и «письмом». В «Саде II» он замечает:

Следовательно, наиболее глубокий подрыв (контр-цензура) состоит не в том, чтобы обязательно говорить вещи, шокирующие общественное мнение, мораль, закон и полицию, но в том, чтобы изобретать парадоксальный (свободный от всякой доксы²) дискурс: *изобретение* (а не провокация) является революционным актом: последний может свершаться лишь в основании нового языка.

Кто он, критик или философ, публицист или самоописатель, преподаватель или публичный интеллигент? Литератор или медиазвезда?

И то, и другое, и третье, и четвертое. При этом Барт — совершенно асоциальный тип («политическое есть то, что препятствует желанию»), сумевший, будучи уже звездой европейских медиа, пропустить не только парижские волнения 1968 года, но даже немецкую оккупацию Франции во время Второй мировой войны. Рано открывшийся туберкулез (притом что всю жизнь он курил как паровоз) заточил юного Барта в горных санаториях. Наподобие тех, что Томас Манн воспел в «Волшебной горе» и которые сам он, с ссылками на тот же роман, описывал в лекционном курсе «Как жить вместе?» — в среде локальных замкнутых социумов, пытающихся поработить человека общим расписанием.

Современному человеку невозможно ускользнуть от сети общественных учреждений, формирующих сознание с раннего детства (детский сад — школа — армия — высшее образование). Однако Барт, лишенный отца, героически погибшего на войне, сумел ускользнуть не только от этого конвейера, но даже от основополагающих фрейдовских схем. Отсутствие отца, при гипертрофированной любви к матери, лишило его не только эдипова комплекса, но и проблемного сверх-я, всю жизнь нависающего над правильно воспитанными сыновьями.

Судить обо всем, даже о самом важном, следует максимально спокойно и отстраненно. Барт не зря пережил шок, оказавшись в Японии, после чего увлекся дзенем, начал учить японский и написал «Империю знаков», одну из своих самых вдохновенных книг, в которой, помимо прочего, переосмыслил жанр травелога.

² Докса — общепринятое мнение.

Японская сдержанность вошла в него как влитая, как осуществленная утопия, как давным-давно чаемый прообраз. Не случайно один из самых последних своих семинарских курсов Барт посвятил определению «нейтральности».

Будучи, как любой западный человек, заложником жестких бинарных позиций и противопоставленных друг другу парадигм рациональности, в своем фантазме он воображал силы, способные их обойти. В письме, в своей манере давать интерпретации, как и в моральном поведении, он нашел такие образы действий и речи, которые позволяли не застывать — смыслу в категориях, языку — в определенности, бытию — в устойчивых идентичностях. Не женское и не мужское, не активный и не пассивный залог в грамматике. Не занимать чью-то сторону в двусторонних конфликтах в политике. Нейтральное, являющееся прежде всего утопией, определяет глубинную сущность Барта не меньше, чем его способ обращаться с языком, телом, жестом так, чтобы отнять у них авторитаризм застывшей сущности или определения. Отсюда его пристрастие к порогам, вестибюлям, простенкам, ко всем тем промежуточным местам, в которых никто по-настоящему не находится, через которые следуют, не задерживаясь.

За исключением разве что таких адогматических чудачков, каким являлся Барт. Этот особенно значимый урок важно заполучить в нынешней беспокойной России, кажется, навсегда рассеченной одиозным бинарным мышлением, отсутствием полутонов и оттенков...

В понимании Барта нейтральное не негативно, оно не является невыразимым или нейтральным. Его положительная сила в том, что оно борется со всякого рода запугиванием: высокомерием, тотальностью, мачизмом, окончательными суждениями. Оно приглушает, не отменяя, успокаивает, не усыпляя, дает возможность выразиться более тонко и менее напыщенно. В этом его странная способность к прояснению. Вместо того чтобы представлять мысль в резком свете ее иллюзорной умопостигаемости, нейтральное заставляет ее лучиться, отбрасывать отблески, справляться с пустотами и отсрочками, местами и моментами, уклоняющимися от смысла.

Апофеоз беспочвенности, который Барт, вслед за Шестовым, недеklarативно (манифесты для него — чересчур) воплощал в быту и в работе — не самое лучшее условие для комфортабельной жизни, однако идеальная погода для творчества.

Писатель — это «тот, кто ищет свое “я”», кто «вдобавок заполняет это ожидание созданием произведения, которое производится за счет самого его поиска и чья функция — осуществление проекта писать посредством уклонения от него».

Читать истории о титанах минувших времен увлекательнее и интереснее, однако опыт людей из эпох, максимально приближенных к нашей (напомню, что Барт умер в год московской Олимпиады 1980 года), дает больше пищи для размышлений. И пища эта более предметна, поскольку цивилизация развивается в сторону постоянной стандартизации жизни: разброс между «гением и злодейством», богатством и бедностью, возможностями и представлениями о хорошем и плохом лишается прежней амплитуды.

Поскольку все мы невольно оказываемся внутри территории очередных ограничений и уточнений, биографии великих современников помогают сделать



нам собственный выбор — ведь они были ограничены (типизированы, стандартизованы) примерно так же, как и их ближайшие последыши.

Одной ногой Барт стоит в мифологизированном «окончательном прошлом» прустовского Комбре и манновской «Волшебной горы», но другой — оказывается участником предвыборной компании Франсуа Миттерана, то есть совсем близко к реалиям нынешней геополитической ситуации. В его «Мифологиях» вполне представимы главы о парниковом эффекте и Грете Тунберг.

Работая в Румынии и в египетской Александрии, Барт мается в поисках своего места и собственного метода.

Барт давно понял, что ему нелегко будет получить должность в университете, но теперь он встретил людей, находящихся в том же положении, борющихся за существование вопреки всему, стремящихся превратить свою маргинальность в источник силы. Александрия дала статусу отнесенного на обочину одионочки опору в обществе...

С другой стороны, ночью все кошки серы, человеческая природа неизменна, любые времена создают примерно одинаковые пороги трудностей для всякой подлинно творческой единицы, идущей к самореализации по бездорожью.

Даже если это современный Барту Париж.

Хотя работа его не раздражает, Барт разрывается между необходимостью иметь средства к существованию и желанием найти место, которое лучше бы соответствовало ему символически и интеллектуально. Из-за этого он становится вялым и слабозвоным. Он мечтает о более свободной работе, которая оставяла бы ему как можно больше времени...

Конечно, человеческая природа остается неизменной, зато социальное пространство форматируется и схематизируется все сильнее и конкретнее и в конечном счете защищается от контрастов и возможностей творческого радикализма.

Теперь мы знаем Барта в каноническом и максимально законченном виде, а если идти по биографии, раскрываются особенности его формирования, причем из слабой, совершенно проигрышной (бедность, неполная семья, болезни) позиции.

Видимо, когда человек изначально оригинален, ему остается только нести свой неформат по жизни — чем дальше, тем сильнее забирая в сторону и все сильнее отличаясь от современников. Однако социальная матрица, из которой вынужден выпутываться любой оригинал, у всех времен и народов примерно одна и та же, как бы ни назывались ее составляющие.

Книга Тифен Самойо показывает жизнь Ролана Барта как безостановочный интеллектуальный слалом, пришпиленный к нашему материальному миру лишь отдельными, отнюдь не реперными точками. Это полка разнокалиберных трудов, большая часть которых появилась по воле случая, из-за стечения обстоятельств.

Вслед за Сковородой Барт мог бы констатировать, что век ловил его, ловил, да не поймал. Ведь нельзя же, в самом деле, приписать дорожное происшествие со сбившим нашего героя грузовиком, шофер которого так и не был наказан (Барт умер в больнице Питье-Сальпетриер через месяц после наезда от воспаления легких), мстительным козням мировой закулисы.

Назар ШОХИН

КРУГИ ЕВРАЗИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ МИХАИЛА КУРЗИНА

Курзин, Михаил Иванович (1888—1957) — советский живописец, график, педагог.

В 1904—1907 гг. учился в Казанской художественной школе, в 1908—1909 гг. — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в 1910—1912 гг. — в частной художественной школе (студии) в Санкт-Петербурге. Участник Первой мировой войны.

В 1918—1920 гг. преподавал в Алтайских губернских художественно-технических мастерских, состоял в Алтайском художественном обществе. В 1919 г. совершил поездку в Туркестан и Китай.

В 1921—1922 гг. преподавал в Высших художественно-технических мастерских.

В 1923 г., живя в Крыму, был арестован, но выпущен на свободу.

В 1924—1936 гг. жил в Ташкенте. Художник в Ташкентском русском оперном театре им. Я. М. Свердлова, организатор группы «Мастера Нового Востока», председатель Ассоциации работников изобразительного искусства Узбекистана.

В 1936—1945 гг. был осужден по статье 66-1 УПК Узбекской ССР за «контрреволюционную агитацию», приговорен к пяти годам тюрьмы и трем годам поражения в правах; отбывал наказание на Кольме.

В 1945—1948 гг. жил в городе Бухаре (Узбекская ССР).

В 1948 г. вновь был арестован и осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей, этапирован в Сибирь.

В 1954 г. вернулся в Ташкент. Первого мая 1957 г. умер от рака.

Реабилитирован посмертно в 1960 году.

При арестах его имущество изымалось органами НКВД, и большая часть его творческого наследия утеряна.

Произведения М. И. Курзина хранятся в Государственном художественном музее Алтайского края, Государственном музее искусств Казахстана им. А. Кастеева, Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Омском историко-краеведческом музее, Новосибирском государственном художественном музее, Галерее современного искусства ARTSTORY, Бухарском государственном архитектурно-художественном музее-заповеднике, Государственном музее искусств Узбекистана, Каракалпакском государственном музее искусств им. И. В. Савицкого, Галерее изобразительного искусства Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана, частных коллекциях.

Михаил Иванович Курзин принадлежит к плеяде талантливых советских художников, творческой группе молодых интеллектуалов, выпускников профессиональных школ 1920-х годов, преимущественно лирико-романтической

ориентации, работавших между периодами авангарда и тоталитарного искусства. Среди учителей М. И. Курзина были Г. А. Медведев (руководивший Казанской художественной школой), К. А. Коровин (в Московском училище живописи, ваяния и зодчества), М. Д. Бернштейн (в художественной студии в Санкт-Петербурге), другие знаменитые художники. Учениками М. И. Курзина признавали себя П. И. Басманов, Е. Л. Коровай, В. П. Маркова, Е. А. Лысенко, А. Г. Гуляев, многие другие известные российские и узбекские художники. Известно, что М. И. Курзину покровительствовал и содействовал в организации творческих поездок за границу А. В. Луначарский. Его знал по «Окнам РОСТА» В. В. Маяковский. Считается, что М. И. Курзин — единственный советский художник, который был репрессирован трижды.

О М. И. Курзине, считавшем себя барнаульцем, написано, на первый взгляд, много. Однако весь массив публикаций представляет жизнь и деятельность Курзина фрагментарно — до сих пор нет ни цельной монографии о живописце, ни его научной биографии, ни даже отдельной статьи в русскоязычной Википедии (на момент написания этого очерка). Основная причина — сфокусированность специалистов второй половины 1980—90-х годов на непростом характере и трагической судьбе Михаила Курзина. Эти акценты, расставленные в угоду западным меценатам и иностранным любителям искусств, сослужили делу исследования творчества художника плохую службу.

Задача автора этих строк сравнительно оригинальна (позволим себе такую нескромность). Во-первых, показать, как творческие люди, подобные Курзину (и вообще сибирская творческая интеллигенция), мощным живительным потоком хлынули на южные окраины СССР, в Среднюю Азию; в частности, в считавшуюся мусульманским центром дореволюционной России Бухару. А во-вторых — доказать благое, до сих пор ощущаемое влияние этого потока.

* * *

Считается, что Курзин родился в Барнауле, но по другим данным — в Шадринске Курганского уезда Тобольской губернии. Главной шадринской культурной достопримечательностью конца XIX века была открытая в 1876 году земская библиотека. Факт, свидетельствующий о возможных причинах творческого рывка ряда талантливых уроженцев этих мест.

Есть данные, что семья Михаила была купеческой. Возможно, она была связана со старообрядческим родом промышленников и меценатов Морозовых, что потом ставилось в вину Курзину. Курзинская династия принадлежала к староверам-кержакам — людям с «тяжелой поступью», носителям севернорусской культуры, «путешественникам поневоле».

Курзины принадлежали к религиозно-консервативной среде. Связь с меценатами Морозовыми (если Курзин-старший был действительно связан с Морозовыми) не противоречит этому. Последние тоже были строгих нравов.

* * *

Сейчас пока трудно сказать, почему М. И. Курзин стал художником и почему он стал специализироваться на портрете. Одна из первых сохранившихся и находящихся ныне в Государственном художественном музее Алтайского

края больших работ Курзина называется «Портрет Н. С. Гуляева» (1913). Персонаж полотна — архивариус Алтайского округа, краевед, археолог, отец художника Вадима Николаевича Гуляева (1890—1943), с которым позже Михаил Курзин отправится в Ташкент. В Государственном музее искусств имени И. В. Савицкого (г. Нукус) хранятся и другие полотна М. И. Курзина этого периода: «Алтай, июль», «Моя дача» и «На Алтае». Все они датированы 1914 годом.

Интересно проследить жанровое родство картин Курзина 1920-х годов, выставленных в Омском государственном историко-краеведческом музее (ОГИКМ) и Музее Савицкого.

В ОГИКМ хранится живописный «Портрет», выполненный стилизованно, в значительной степени гротескно, а также графические листы «Две головы», «Лицо», «Портрет», «Пейзаж с фигурой»... О каком-либо портретном сходстве персонажей этих картин с реальными прототипами говорить не приходится. Модерновый стиль кисти характерен и для курзинских полотен из Музея Савицкого «Капитал», «Старое», «Провинциальные артисты в Бухаре». В произведениях налицо причудливая композиция и полуфантастические элементы. Причем последняя из картин показывает, что интерес Михаила Курзина к Бухаре существовал задолго до его бухарской ссылки в 1946 году.

* * *

Свидетельством значимости фигуры Курзина в культурной жизни республики является факт, что художник был одним из руководителей Ассоциации работников изобразительного искусства Узбекистана, основанной в 1929 году. Приехавшие из других регионов художники курзинского круга имели опыт создания подобных структур (например, Алтайского художественного общества в 1918 году).

В курзинской биографии налицо факт налаживания региональных и межрегиональных культурных связей. Считается, что учрежденное в 1926 году с участием Курзина другое художественное объединение — «Мастера Нового Востока» — согласовывало свою деятельность с обществом художников «Новая Сибирь», работавшим в 1926—1931 годах в Новосибирске. Например, в 1929 году Курзин организовал в Сибири (предположительно, в Ачинске) выездную выставку «Мастера Нового Востока», на которой были представлены около ста живописных и графических произведений авторов из Узбекистана. В Новосибирском государственном художественном музее хранится относящееся к 1920—1925 годам полотно «Желтый закат».

После поездки в Пекин (1919 год) Курзин, вдохновленный каноном древнекитайской живописи «черная тушь превыше всего», сумел добиться необычайной выразительности в изображении силуэта, привнеся этот элемент в свои картины, живописующие быт современной ему Средней Азии.

Восточные мотивы Курзина было бы некорректно рассматривать без связи с работами его друзей и его первой супруги — художницы Елены Коровай (1901—1974), которая провела детство в Харбине и некоторое время прожила в Барнауле. Стоит отметить, что Е. Коровай оставила после себя уникальный цикл картин о жизни старой Бухары (1930-е годы).

* * *

Бухарская ссылка Михаила Курзина (1946—1948 годы) изучена мало, поэтому стоит подробнее остановиться на этом периоде жизни живописца.

В далекой Бухаре еще до приезда сюда Курзина в 1946 году работали известные приезжие художники: казанец Павел Беньков (1879—1949) и астраханец Петр Котов (1889—1953). Места их рождения указываем, чтобы подчеркнуть близость к мусульманской культуре. В 1920—30-х годах Курзин уже дружил со знаменитыми бухарцами — председателем Совнаркома Узбекистана, журналистом по основной профессии Файзуллою Ходжаевым, профессорами-историками Мусой Саиджановым и Аббасом Алиевым, основоположником современной таджикской литературы Садриддином Айни, одним из основоположников современного узбекского театра Алимом Ходжаевым, а позже, в конце 1940-х, — с Героем Советского Союза учителем Азимом Рахимовым и другими представителями местной творческой интеллигенции.

Как явствует из архивных материалов, в конце 1940-х остро нуждавшийся в деньгах Курзин получил заказ от Бухарского краеведческого музея на написание картин, посвященных героям войны и труда, архитектурным достопримечательностям, новостройкам города. Считается, что Курзин работал вместе со студентами местного педагогического института, многому их научил, а его произведения вошли в золотой фонд краеведческого музея.

Послевоенный город представлял из себя необычное зрелище: наконец-то налаженный водопровод в оазисе пустыни; отправлявшаяся на весь осенний период собирать хлопок интеллигенция; часть оставшихся здесь эвакуированных из России, Белоруссии, с Украины, живших в закрытых в годы воинствующего атеизма средневековых медресе, и... вновь открытое в 1946 году первое и единственное на весь Советский Союз медресе Мири-Араб.

Именно в 1946 году появляются на свет очень интересные для современных краеведов курзинские работы «Панорама Бухары» (с изображенной на ней главной площадью старой части города — в таком виде ее сейчас уже, к сожалению, нет) и «Старая Бухара» (с исчезнувшими немного позже улицами напротив зимнего дворца эмира). Написанные раньше или позже бухарского периода деятельности Курзина полотна «Бухара», «Бухара, купола» (1955), «Бухара. Мечеть», «Галерея мечети. Бухара» (оба полотна без указания года) хранятся в Музее Савицкого.

* * *

В годы бухарской ссылки героя нашего повествования и, наверное, отчасти благодаря ей появляются на свет политизированные произведения исторической направленности: «Беседа», «Митинг по случаю объявления земельной реформы», «Митинг на Регистане», «Эпизод восстания Восе», «Взятие города Гиссара», «Боевой план», «Вывоз на арбе убитых», «Наказание дехканина», «Калинин в Бухаре», «Портрет Куйбышева» и другие, написанные крупными свободными мазками.

Еще более интересна созданная Курзиным галерея древних архитектурных достопримечательностей Бухары: «Старая Бухара», «Ансамбль Пои Калон», «Мечеть Магоки Аттори», «Мавзолей Саманидов», «Медресе Улугбека», «Городская стена города Бухары» и др.

И наконец, совершенно уникальна курзинская галерея портретов народных умельцев и мастеров (ювелира, миниатюриста, вышивальщицы, золотошвеи, каменщика, ткача по шелку, чеканщика по меди, мастера по ганчу, резчика по дереву, мастера по шелку и др.). По свидетельствам очевидцев, с материалами для живописи в послевоенной Бухаре было трудно. Для многих своих полотен М. И. Курзину приходилось использовать оборотную сторону исписанного картона. Среди этих портретов особенно выделяется настоящее украшение коллекции бухарского музея — портрет художника Садриддина Почтаева (1873—1948), которого часто называют «последним миниатюристом Востока».

Одним из первых в Средней Азии художник Курзин начал практиковать публичное портретирование. Он делал наброски и этюды с людей не только в городских парках и скверах, но и в узких закоулках старой Бухары.

* * *

Однако далее судьба Михаила круто поменялась не в лучшую сторону. Считается, что Курзин в 1948—1956 годах находился в ссылке в селе Ярцево Енисейского района Красноярского края, по иронии судьбы населенном староверами часовенного согласия, куда был сослан из-за нарушения обязательства не покидать место очередной ссылки в Бухаре. Вопреки запрету, он самовольно выехал в Ташкент для встречи с семьей, где и был задержан с последующей отправкой в Сибирь. Подтверждением тому может служить картина «Река Галактиониха», написанная Курзиным в 1949 году и хранящаяся в Музее Савицкого. Название реки у села Ярцево говорит о знакомстве нашего живописца с Красноярским краем.

Возможно, Ярцево было не единственным местом ссылки Курзина. Об этом свидетельствует принадлежащий Михаилу Ивановичу и хранящийся в Новосибирском государственном художественном музее крупноплановый набросок одноэтажного бревенчатого дома — «Моя квартира в Шушенском» (сентябрь 1954 года). Этим же годом датируются и хранящиеся в Музее Савицкого картины «Шушенское время Ленина», «Шушенское. Первая квартира Ленина», «Квартира Ленина», «Шушенское. Дом-музей Ленина», «Вход в квартиру Ленина в Шушенском» и ряд других. В свою очередь, в Государственном музее искусств Узбекистана без указания даты в каталоге упомянут холст «Село Шушенское», а в каталоге Музея Савицкого — полотна «Шушенское», «Осень под Шушенским» и ряд других.

...В Бухаре до сих пор бережно хранят память о Михаиле Курзине. Старожилы вспоминают, что коллеги обращались к нему «Михаил ибн Иванович», а в родной Сибири по-татарски — «Бухарай», подразумевая караванщиков знаменитого древнего торгового маршрута с Оби и Иртыша в Бухару. Когда в конце 1980-х — начале 1990-х музеи получили относительную самостоятельность, Бухарским государственным историко-художественным музеем-заповедником первым делом был издан необычный для этих мест отдельный цветной каталог работ Курзина. Сведения о российско-узбекском художнике размещены и в других изданных упомянутым учреждением каталогах. В 2021 году в честь Курзина, за его вклад в культуру Бухары на городской Аллее памяти было специально высажено дерево.

Возвращаясь к заголовку данной статьи, стоит отметить, что «живописный» Туркестан осваивался Михаилом Курзиным и некоторыми его земляками через ощущение трех кругов евразийской культуры: «барнаульского», включавшего в себя творчество алтайцев, хакасов, бурятов, казахов; «казанского» (в Казани художник учился); «китайского» (в этой стране художник работал по путевке Анатолия Луначарского — в Музее Савицкого сохранились 26 курзинских листов, посвященных традиционному китайскому театру, известному как пекинская опера).

Вместе с наследием туляка Василия Рождественского (1884—1963), пермяка Виктора Уфимцева (1899—1964), пермячки Нины Кашиной (1903—1985), саратовки Зинаиды Ковалевской (1902—1979) и ряда других современное искусствознание по достоинству оценивает вклад М. И. Курзина в распространение экспрессионизма, в развитие национальных школ натюрморта, в прогресс плакатного искусства Узбекистана и Таджикистана.

Сегодня требуется уделять более пристальное внимание как картинам Курзина, хранящимся в отдаленных друг от друга местах, так и его запискам, с необходимой состыковкой картин и текстов, чтобы были сведены «концы с концами». Важно более внимательное, беспристрастное, системное отношение к историческому наследию художников курзинского круга. Это нужно прежде всего для развития национальных школ живописи в республиках Центральной Азии.



АВТОРЫ НОМЕРА

Акулова Янга родилась в Омске. Окончила Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, училась в Литературном институте им. Горького. Работает редактором компании Relod (российского представителя издательства Оксфордского университета). Публиковалась в «Литературной газете», журналах «Горожанка», «Cosmopolitan», «Юность». Автор нескольких романов. Живет в Сергиевом Посаде.

Бавильский Дмитрий Владимирович родился в 1969 году в Челябинске. Писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист. Окончил Челябинский государственный университет, аспирантуру при ЧелГУ по специальности «зарубежная литература». Занимал различные должности в региональных и федеральных периодических и сетевых изданиях. Работает на стыке литературы и эссеистики. Член Союза российских писателей. Действительный член Академии русской современной словесности. Живет и работает в Москве и в Челябинске.

Виноградова Ирина Геннадьевна родилась в 1973 г. в Подмосковье, окончила филфак Орехово-Зуевского пединститута, позже — факультет истории искусства Российского государственного гуманитарного университета. Работает преподавателем, экскурсоводом. Автор методической литературы по экскурсоведению, серии путеводителей «Взгляд с теплохода». Художественные произведения печатались в ряде альманахов, сборников и периодических изданий. Лауреат и дипломант литературных конкурсов. Живет в Москве.

Гончаров Юрий — инженер, химик-технолог. Независимый исследователь. Прошел путь от рабочего до директора завода союзного значения. Был офицером Советской армии, работал в частном бизнесе, в системе «Газпрома», специалист по строительству и эксплуатации газопроводов. Автор статей по истории Гражданской войны в Сибири. Живет в Барнауле.

Иванченко Валерий родился в 1963 году в Магадане. Окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. Работал обозревателем газеты «Книжная витрина». Член жюри и номинатор литературной премии «Новые горизонты». Живет в Барнауле.

Корниенко Игорь Николаевич родился в 1978 г. в Баку. Работал в СМИ г. Ангарска. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Октябрь», «Сибирские огни» и многих других. Автор двух книг прозы. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Ангарске.

Корякин Сергей Васильевич родился в 1974 г. в Новосибирске. Окончил Новоси-

бирский электромеханический техникум, Новосибирское медицинское училище № 4, Новосибирский государственный педагогический университет. Работает медбратом по массажу. Публиковался в журнале «ЛитОгранка», межавторских сборниках. Живет в Новосибирске.

Ладыгин Игорь — кандидат технических наук, экономист, независимый исследователь, член Ново-Николаевского военно-исторического клуба и Международного общества историков Первой мировой войны. Автор ряда статей на военно-историческую тематику в различных российских и зарубежных журналах. Живет в Новосибирске.

Левит Ирина Семеновна родилась в 1956 г. в Новосибирске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Работала корреспондентом газеты «Советская Сибирь», главным редактором экономического еженедельника «Российская Азия», ведущей программы на радио «Вести ФМ», пресс-секретарем губернатора Новосибирской области, начальником управления информационной политики аэропорта Толмачево. Автор более десяти романов и повестей, вышедших в издательствах «Эксмо», «Молодая гвардия», «Новь», «Вече». Живет в Новосибирске.

Родионова Ирина родилась в 1995 году в Новотроицке Оренбургской области, педагог-психолог по образованию. Обладатель литературных премий им. Левитова, им. Рычкова и спецпремии им. Аксакова. Публиковалась в литературных журналах «Роман-газета», «Звезда», «Аврора», «Бельские просторы», «Гостиный Дворь», «Симбирск» и других, а также в сборниках рассказов. Живет в Новотроицке.

Шохин Назар (Баходир Эргашев) родился в 1962 г. Окончил философский факультет Ташкентского государственного университета. Работал в редакциях республиканских газет и журналов Узбекистана. Ряд коротких рассказов опубликованы в изданиях России, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, других стран. Доктор философских наук, профессор. Живет в Ташкенте.

Яковлева Екатерина Викторовна родилась в 1986 г. в городе Заполярном Мурманской области. Окончила Мурманский гуманитарный институт. В настоящее время работает в городской больнице скорой медицинской помощи в должности психолога. Публиковалась в журналах «Наш современник», «Север», «Наша молодежь», в «Литературной газете» и других изданиях. Автор двух поэтических сборников. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Стихи переведены на китайский, арабский, норвежский языки. Член Союза писателей России. Живет в Мурманске.



МАГАЗИН продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:
антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 21.12.2022. Дата выхода № 1 за 2023 г. в свет 23.01.2023.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,98. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.